



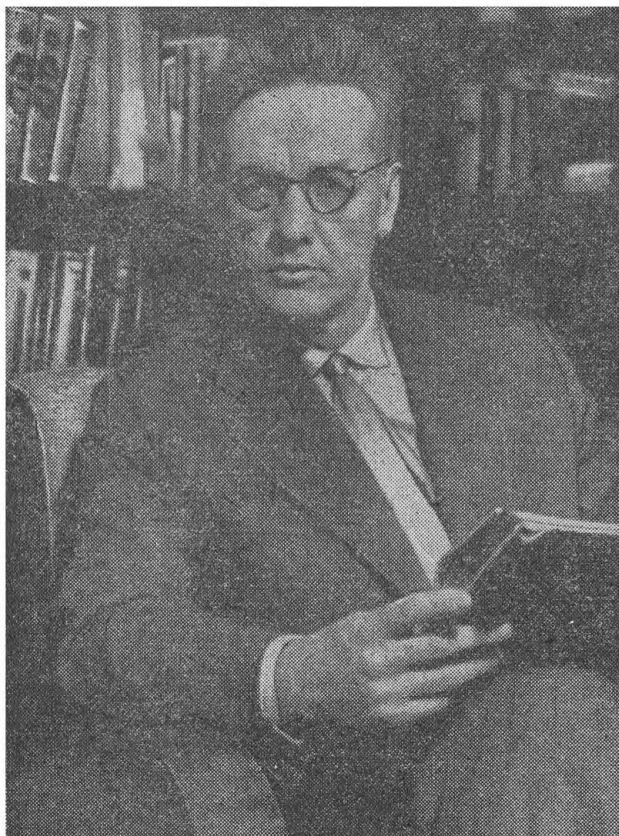
Николай
ЗАДОРНОВ

Могусюмка
и Гурьяныч



Scan Kreyder - 31.05.2019 - STERLITAMAK

БАШКИРСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО





Николай
ЗАДОРНОВ

Могусюмка и Гурьяныч

Повесть

Редакционная коллегия:

*Бикчентаев А. Г., Даминов Д. А., Рахимкулов М. Г.,
Сафуанов С. Г., Филиппов А. П., Чванов М. А.*

Предисловие М. А. Чванова

Николай Павлович Задорнов

Могусюмка и Гурьяныч
Повесть

Редактор А. П. Филиппов
Художник С. В. Моджар
Художественный редактор А. А. Астраханцев
Технический редактор Г. К. Зигангирова
Корректоры Л. И. Семенова, Л. Г. Ифанова

ИБ № 2062

Сдано в набор 04.03.83. Подписано к печати 18.07.83.
Формат бумаги 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 2. Гарнитура ли-
тературная. Печать высокая. Условн. печ. л. 14,70. Учетн.-из-
дат. л. 16,28. Усл. кр. отт. 14,91. Тираж 100 000 экз. Заказ № 85.
Цена 1 руб. 20 коп.

Башкирское книжное издательство. Уфа-25, ул. Советская, 18.
Уфимский полиграфкомбинат Госкомиздата Башкирской АССР.
Уфа-1, проспект Октября, 2.

Задорнов Н. П.

3—15 Могусюмка и Гурьяныч. Повесть. Уфа: Башкир-
ское книжное издательство, 1983.— 280 с. (Серия:
«Золотые родники»).

Содержание повести известного советского писателя, лауреата Государ-
ственной премии СССР Н. Задорнова тесно связано с дореволюционной жизнью
башкир.

3 $\frac{4702010200 - 85}{M121(03) - 83}$ 127—83

84Р7

© Башкирское книжное издательство, 1983.
предисловие, оформление

НАЧАЛО ПУТИ

Шеститомное собрание сочинений лауреата Государственной премии СССР Николая Павловича Задорнова, выпущенное в 1977—1979 годах издательством «Художественная литература», открывает предисловие Л. Швецово:

«Николай Павлович Задорнов родился в 1909 году в г. Пензе, детство провел в Сибири. Еще в школе увлекался театром, работал в передвижных труппах. В 1935 году перешел на газетную работу, начал писать очерки».

Следующий абзац уже о новом периоде жизни писателя:

«В Комсомольск-на-Амуре Н. Задорнов приехал в 1937 году...»

«В 1935 году перешел на газетную работу, начал писать очерки» — всего строчка в биографии писателя. Но что стоит за ней?

А стоит многое. И хотя, как свидетельствует примечание, «в настоящее собрание сочинений Н. П. Задорнова вошли шесть романов, посвященных истории открытия и освоения русскими Приамурья», говорить об этом периоде жизни писателя одной строчкой, и то лишь мимоходом, все-таки непростительно, потому что в эти годы им был сделан первый шаг в литературу, и не просто шаг, а была написана повесть, которая, правда, была издана только в 1957 году, и потому многие полагают, что она написана Н. П. Задорновым уже зрелым мастером, автором таких широкоизвестных произведений, как «Амур-батюшка», «Далекый край», «Первое открытие». И шаг этот, наверное, был нелегким: вдруг бросить театр и взяться за новое дело; и — не просто перейти на газетную работу и начать писать очерки, как свидетельствует Л. Швецова, а попробовать написать повесть. И не просто повесть на основе пусть еще небольшого, но своего жизненного опыта, как чаще всего начинают, а повесть историческую, с глубокими народными характерами, проецируемыми в прошлое и будущее, словом, произведение, которое определит весь дальнейший творческий путь писателя.

«С благоговением садился я за дощатый стол в нашей комнате нового бревенчатого двухэтажного дома. Из широкого окна в синеве зачинающегося рассвета проступали очертания строящихся доков су-

достроительного завода», — писал Н. П. Задорнов в послесловии к шеститомнику. Эти строчки относятся уже к Комсомольску-на-Амуре. Но, читая их, я вижу Николая Павловича за широким столом в старинном деревянном доме в Белорецке над прудом, в окно которого видны трубы и здания старинного железодельного завода, помнящего Пугачева и Хлопушу, и пишет первые главы своей первой повести, о которых потом через много лет скажет:

— Многие главы впоследствии, хоть частично, но переделывались и переписывались. Лучшие же главы те, которые написаны в Белорецке над обрывом, они позже не подвергались никакой переработке.

А повесть эта называется «Могусюмка и Гурьянич». Она рассказывает о жизни Белорецкого завода после отмены крепостного права. Может, кого покоробит такое определение — «о жизни завода», но я не оговорился, потому что в понятие «завод» того времени, и особенно на Урале, входило не только собственно производство в сегодняшнем смысле, заводом назывался и сам городок или поселок, и даже местность вокруг него, и был у завода свой особенный уклад жизни, и норма общественных отношений, и свой фольклор. То есть завод того времени — и кровь, и плоть, и духовная жизнь трудового человека. Завод в корне изменил и жизнь окрестных башкир. И повесть эта — о поисках народного счастья. О слепых попытках приблизить его, выливающих в стихийный протест бунтарства, даже разбойничества. О дружбе русского и башкирского народов, прошедшей испытания еще в пору пугачевщины, о силах, пытающихся помешать ей.

И тут есть странная закономерность. Разумеется, писатель в Н. П. Задорнове жил и раньше, еще до приезда в Белорецк. Но почему первый толчок, побудивший взять в руки перо и заставивший навсегда бросить дорогую ему профессию актера, к которой столько стремился, случился именно здесь? Этому способствовала особенная, неповторимая красота здешних мест? Да, наверное. Особенная, неповторимая самобытность народных характеров и исторических событий, связанных с Белорецком и его окрестностями? Да, конечно. Но все-таки, наверное, все это не самое главное, ведь Н. П. Задорнов провел свое детство, — а детские впечатления, несомненно, самые яркие, самые дорогие, — в Сибири, и не просто в Сибири, а в Забайкалье, крае, не менее особенном и неповторимом как природой, так и народными характерами и историческими событиями. «Детство мое прошло в городе, — напишет впоследствии Николай Павлович, — которому жизнь дали ссыльные декабристы, а потом, в Иркутске, я застал еще живыми людей, помнивших декабристов».

Но, повторяю, есть тут какая-то странная закономерность, что, например, Сергей Залыгин, родившийся в Башкирии, под Стерлитамаком, напишет роман о Сибири, ставший заметным явлением в современной советской литературе, а прекрасный роман о национальном герое башкирского народа Салавате Юлаеве, сподвижнике Емельяна Пугачева, напишет Степан Злобин, родившийся в Москве, и историческую

повесть об одном из самых старых и самобытнейших заводов Южного Урала, о следующей странице дружбы русского и башкирского народов, яркими представителями которых были Гурьяныч и Могусюм, напишет сибиряк Николай Задорнов.

Но все же — почему литературные памятники Салавату Юлаеву и Емельяну Пугачеву, Могусюму и Гурьянычу созданы не писателями, родившимися и живущими в Башкирии, не будь им в обиду сказано, и, разумеется, глубже знающими этот материал?

Может быть, чем глубже, чем лучше знаешь материал, тем труднее писать? Пожалуй. Но это вовсе не значит, что легче писать, плохо зная материал. Тут дело в другом — видимо, свежим взглядом, когда в тебе накопился достаточный духовный и жизненный багаж, легче заметить, увидеть то самобытное, неповторимое, присущее только этому краю, что писателю, живущему здесь, иногда кажется если уж не обычным, то по крайней мере привычным. Но к этому особому взгляду готовит писателя вся его предшествующая жизнь, весь его предшествующий опыт, пусть связанный с другим краем. Тем более, если тот край очень похож на Башкирию.

Весной минувшего года Николай Павлович Задорнов приезжал в Уфу в связи с подготовкой этой книги к печати, мы пытались на улице Аксакова найти дом, в котором он жил после Белорецка, работая корреспондентом «Красной Башкирии».

— Почему все это произошло именно в Белорецке? — переспросил он сам себя. — Конечно, это случайность, что я оказался в Башкирии, и тем более уж — в Белорецке. Режиссер Андреев в Москве на бирже труда формировал группу для Уфы, и вот с ней впоследствии я и оказался в Белорецке. Я был очарован этим городом. Как он органически вписался в природу, его непритязательной с виду, но своеобразной деревянной архитектурой, кружевами его наличников. Его самобытностью, особым складом характера его людей. И в то же время он так был похож на Забайкалье, и так были похожи на сибиряков уральцы! И золотые прински под Верхним Авзяном, на материале которых я впоследствии написал свой первый очерк для «Красной Башкирии», так походили на золотые прински Забайкалья. Но было и другое, особенное, что было присуще только Белорецку, только истории этого края, только его людям.

«Верный своим принципам работы, Задорнов объехал все места, связанные с Невельским», — писала Л. Швецова о времени начальной работы Н. П. Задорнова над романами о славном русском мореплавателе и землепроходце.

Я хочу добавить, что эти принципы исторической достоверности, непосредственной авторской причастности и скрупулезности Н. П. Задорнов вырабатывал еще при работе над первой своей повестью, это шло, наверное, прежде всего от врожденной наблюдательности и любознательности, ну а потом — от сознательно выработанной гражданской ответственности за взятую тему.

Целиком захватившая его работа над повестью не мешает газетной работе. Если для некоторых писателей работа в газете — это вынужденный и зачастую обременительный труд на хлеб насущный, и мы не вправе их упрекать в этом, у каждого своя творческая судьба, свой метод работы, свой метод сбора материала и подход к нему, я привожу этот пример здесь не как свидетельство достоинства или недостатка того или иного метода, а просто как факт, свидетельствующий об особенностях творческой манеры Н. П. Задорнова, ярко проявившейся уже в работе над первым своим произведением. Работа в небольшой городской газете кроме хлеба насущного дала ему столь дорогую возможность встретиться с гораздо большим кругом самых разных людей. Он понимал, что эту возможность ему не может дать никакая другая профессия. В качестве корреспондента «Белорецкого рабочего» он объехал окрестности Белорецка, неоднократно побывал на золотых приисках, рудниках, побывал не только в окрестных деревнях, но и на дальних кочевках башкир, поднялся на Ямантау, эти командировки позволили ему услышать удивительные как русские, так и башкирские легенды и сказы. Увидеть яркий, самобытный уклад жизни уральских сел Кага и Верхний Авзян, особенностью которых было, что, становясь рабочими, их жители в то же время продолжали пахать и сеять, то есть оставались крестьянами, и у них никоим образом губительно не рвалась связь с природой, и, может быть, поэтому здесь родилось так много цельных и ярких характеров, прекрасных легенд и песен.

«Творчеству Н. Задорнова присущ пафос интернационализма, через все его книги проходит тема дружбы русских с малыми народностями, населяющими Дальний Восток», — читаем мы далее в предисловии Л. Швецово́й.

И опять-таки — эта особенность творчества писателя ярко проявилась еще в первой повести, мало того — именно этому и посвящена повесть — дружбе русского и башкирского народов, объединенных не только общей землей и общим рабством, но и светлой думой о будущем. И удивительно, каким образом, прожив в Башкирии столь малое время, писатель сумел так глубоко постичь душу этого народа, его психологию, его обычаи, характер, его страстные порывы, порой заблуждения, в поисках лучшей доли. Писатель глубоко полюбил этот народ, и важно, что он счастливым образом сумел избежать упрощенности в его изображении, поверхностной идеализации. Это тоже — признак таланта, исторической ответственности и гражданской совестливости. И в повести «Мюгосюмка и Гурьяныч» нет восторженного или, наоборот, снисходительного сюсюканья, романтического умиления, неискреннего заигрывания, чем иногда, при отсутствии гражданской ответственности или просто таланта, грешили некоторые наши книги.

И нет в повести Н. П. Задорнова исторической идеализации отношений между башкирами и русскими того времени. Как раз наоборот — в ней прослежен тот сложный, а зачастую и драматический путь от настороженности, взаимного недоверия к взаимопониманию, к взаим-

ной помощи, к взаимовлиянию культур, дружбе, которая выльется потом в истинное братство народов.

В центре повести — дружба двух стихийных народных бунтарей, «разбойников» не по призванию, а по обстоятельствам — русского рабочего мастера Гурьяныча и башкира Могусюма, людей каждый посвоему ярко талантливых, но вынужденных и тот, и другой по сути дела закопать свои таланты в землю. Это — как бы осмысление социально-исторического продолжения дружбы Пугачева и Салавата в послекрепостное время.

Читая «Могусюмку и Гурьяныча», невольно вспоминаешь «Хаджи-Мурата» и «Казак» Л. Н. Толстого. Несомненно, работая над повестью, Н. П. Задорнов испытывал влияние великого русского писателя и мыслителя, его гуманистических идей. Но выразилось оно не в подражании, не в эпигонстве, а в социально-историческом и нравственно-философском осмыслении народной драмы — честном, вдумчивом, гуманном.

Как уже говорилось, об этой повести нет даже упоминания ни в предисловии Л. Швецово́й, ни в послесловии автора к шеститомному собранию сочинений. Сам Николай Павлович, строго подходя к своему творчеству, видимо, считает повесть еще юношески несовершенной — может быть, поэтому он решился опубликовать ее только почти через двадцать лет после написания и то только после некоторой доработки. Но, как бы то ни было, в этой повести, как на ладони, подозревает об этом или не подозревает автор, высветились принципы всего его дальнейшего творческого пути, принципы и краеугольные камни его нравственно-философской позиции.

Особо хотелось бы сказать о социально-исторической объективности оценки писателем общественных сословий, прослоек, групп дореволюционной России, которые были далеко не такими однородными и однозначными, как трактуют их иные художественные произведения, в которых истинная социально-историческая объективность подменена вульгарным социально-историческим шаблоном. Это происходит в разных случаях по разным причинам: в одних — неверно понятой и трактуемой писателем гражданственности, в других — узостью кругозора и недостатком таланта, в третьих — под влиянием, невольным, может быть, некоторых без конца повторяемых образов отечественной литературы и потому уже давно ставших штампом.

И в этом смысле приятно отметить, что молодой писатель еще на самых первых шагах своего большого пути не пошел на поводу этой ложной неисторической традиции.

Например, как набил нам оскомину если уж образ купца, то обязательно толстого, жадного, жестокого, все гребущего под себя. Да, были такие. И слава тому художнику, кто первым в отечественной словесности изобразил его, хищника. Но и беда его. Потому что по его пробитому следу пошли подражатели и просто плагиаторы. Чего проще — меняй только фамилии да губернии. И в результате купечество в целом, как

социальная прослойка общества, получила искаженное и даже извращенное представление у многих наших современников. А ведь было и другое купечество, оставившее благодарный след в истории экономического и военного становления нашего государства, его культуры и искусства. Достаточно назвать былинного Садко, купца Афанасия Никитина, ходившего за три моря — в Индию, купца Федота Алексеева, «товарища» Семена Дежнева в его историческом плавании из Северного Ледовитого океана в Тихий, купца Сибирякова, субсидировавшего экспедицию Норденшельда, вторым после Дежнева прошедшего Северным морским путем, нижегородского купца Кузьму Минина, легендарного руководителя народного ополчения. И как тут не вспомнить купцов Мамонтова и Морозова, заслуги которых в становлении русского искусства невозможно переоценить, еще одного купца Алексеева, ставшего великим деятелем русского театра Станиславским, и купца Нестерова, сделавшего все возможное, чтобы его сын стал великим русским художником.

Именно с этих исторических позиций написан Н. П. Задорновым образ купца Захара Булавина, который вместе с учителем Иваном Пастуховым пытается помочь рабочим, зажатым недалекой заводской администрацией в хитроумные экономические тиски, которые в результате мешают даже интересам заводского производства. За это Захара Булавина лютой ненавистью ненавидят его «коллеги» по торговому делу. В конце концов, желая жить своим трудом, он порывает с купечеством.

Как нам набил оскомину «типичный» образ офицера старой русской, или, как еще чаще называют, царской армии: жестокого, ограниченного, даже тупого исполнителя чужой воли. Да, были и такие. И писатели были обязаны рассказать нам о них. Но были и другие офицеры. Офицеры 1812 года, и декабристы были царскими офицерами, и большинство русских путешественников и землепроходцев, как, например, Г. Я. Седов и Н. М. Пржевальский, были офицерами старой русской армии, кадровыми офицерами старой русской армии были и многие легендарные командиры и комиссары Красной Армии, как, например, Тухачевский, Якир, Каменев, Кадомцев...

И чрезвычайно важно, что на поводу ложной исторической традиции, по проторенной дорожке облегченной, даже соблазнительной схемы в изображении старого офицерства не пошел молодой писатель. У него в пору, когда в литературе были так в ходу закоренелые вульгарно-социологические штампы, хватило гражданской ответственности и мужества внимательно присмотреться к офицерам карательного отряда, прибывшего на завод, не показать их однородной жестокой массой, а приглядеться, подумать, кто из них каратель по убеждению, а кто — по принуждению, а может, и более — сам находится в роли ссыльного, угнетенного, которого, в свою очередь, заставляют угнетать, карать других.

Н. П. Задорнов ясно дает читателю понять, что не может быть других отношений, кроме взаимной ненависти, между жандармским офицером Дроздом и сосланным на Урал — нет, не за революционные убежде-

ния, просто за дерзость, сказанную командиру Семеновского гвардейского полка — молодым офицером Алексеем Керженцевым, хотя они повязаны одним делом — поимкой «бунтовщиков» Могусюма и Гурьяныча, более того — Керженцев в таежной стычке ранен Могусюмом.

«Пуля попала Керженцеву в плечо,— пишет Н. П. Задорнов.— Врач вынул ее. Через несколько дней Керженцев был на ногах. Жил он вместе с товарищами в Нижнем поселке. Булавин, встретивший отряд в горах еще до схватки и познакомившийся с Керженцевым в пути, явился на завод вместе с войсками. Он приглашал Керженцева остановиться в своем доме. На вид казалось, что купец симпатичный человек, но молодому человеку не понравилось, что Булавин ехал жаловаться в город на своих односельчан. «Доносчику — первый кнут», — на этом правиле Алексей был воспитан».

В свою очередь, «Захару этот офицер нравился тем, что зла никакого к Могусюмке не питает, хотя и ранен им. Он видел в этом признак большой силы и характера».

Но только ли аристократическое воспитание и юношеский романтизм причиной тому?

«Однако скоро явились причины, — поясняет Н. П. Задорнов, — из-за которых Алексей Николаевич переменял свое мнение о Булавине и даже сожалел, что не остановился в его доме.

По прибытии в завод молодого офицера заинтересовала здешняя жизнь, он стал доискиваться до причин бунта, узнал о Могусюмке все подробности, а потом и о Гурьяныче. Подобный тип бунтаря из народа не встречался ему никогда...

...У Керженцева был двоюродный брат, в прошлом тоже офицер, оставивший службу, — известный революционер, сосланный в Сибирь. Хотя Алексей далек был какому бы то ни было революционному движению, но, как и большинство русских интеллигентов, с наслаждением читал Некрасова, полагал позором ссылку Чернышевского и считал революционеров людьми долга, готовыми к жертве на благо народа. Теперь — тоже в ссылке, по сути дела, — Алексея стал занимать вопрос, что же представляет из себя тот народ, ради которого идут на жертву лучшие русские люди, каковы их идеалы, что он хочет, как мыслит свое будущее освобождение и желает ли его, как сам добывается действительной воли.

Керженцеву казалось, что здесь, в глубине Урала, где когда-то бушевала пугачевщина, и теперь бродили какие-то силы».

И невольно к Керженцеву тянулись другие офицеры отряда:

«И начальник отряда капитан Верхоленцев, и высокий и щеголеватый поляк поручик Маневич, и хорунжий Сучков слушали с интересом, хотя сами они усмиряли бунт и наводили тут порядок.

В том, что происходило на заводе, каждый из них видел что-то свое. Поляк Маневич — поработенную Польшу. Хорунжему всегда казалось, что Москва и Питер зря обижают казаков и теснят их. Капитан Верхоленцев, убежденный монархист, замечал, что за последнее

время, несмотря на все либеральные благодеяния, простой народ продолжал бунтовать, жил хуже прежнего. В получаемых свободах народ, по мнению Верховенцева, усматривал право высказывать недовольство и безобразничать».

Вот вам мысли, настроения и искания русского офицерства середины прошлого века, далеко не однородного как по своему происхождению, так и по своему социальному положению, убеждениям. Эти различия по мере обострения общественных отношений в России будут усугубляться, обостряться и найдут свое трагическое завершение в драме гражданской войны. Будь они все моложе, герои Н. П. Задорнова, и если они не сложат головы в окопах первой мировой войны, можно предположить, что офицером белой контрразведки кончит свой бесславный путь Дрозд, рядовым офицерского полка белой добровольческой армии в штыковую атаку защищать старую Русь пойдет капитан Верховенцев, и если чудом останется жить — будет помирать от ностальгии в Стамбуле или Константинополе, страшный путь исканий шолоховского Григория Мелехова пройдет хорунжий Сучков...

Но вернемся к главным героям повести. Критика много писала об образе Егора Кузнецова из романа «Амур-батюшка». М. Зорин, автор книги о Н. П. Задорнове, вышедшей в Риге, считает этот образ «новой фигурой в современном историческом романе». При чтении «Могусюмки и Гурьяныча» невольно приходит мысль — не вырастает ли этот образ из образа Гурьяныча, наипервейшего кузнечного мастера («Его железо особого сорта, и полоски эти на заводе называют «гурьяновками»), ведь даже фамилия-то у Егора — Кузнецов. Та же широта души, природная талантливость, непримиримость к несправедливости, дружба с представителями других угнетенных народов России.

Да не только схожесть характеров. Вспомните, что говорит Гурьянычу одинокая Варвара, у которой в курене он скрывается от ищущих его стражников: «Потом, присев на лавку и ласково глядя на Гурьяныча, стала говорить, что вот, мол, в Сибири места очень хороши и люди селятся там, кто где хочет, и никто там не спрашивает, кто пришел и откуда, и кем был раньше. До этого нет никому никакого дела. Нет там господ, а чиновники редки, и есть места, куда никакой чиновник не доберется».

А вспомните, чем кончается повесть: «Впоследствии Гурьян выздоровел, живя у башкир, тайно вернулся на курень, женился на Варваре, ушел с ней и ее дочкой в Сибирь».

Вот с такими мыслями я приглашаю вас прочесть или вновь перечесть повесть Николая Павловича Задорнова «Могусюмка и Гурьяныч», и, может быть, после этого несколько в ином свете откроется для вас и все его дальнейшее творчество: и романы, которые уже здесь упоминались, и которые вы, возможно, до этого считали написанными ранее «Могусюмки и Гурьяныча», и роман «Капитан Невельской», и «Война за океан», и «Золотая лихорадка», и «Цунами», и «Синода», и недавно опубликованный в «Новом мире», а затем вышедший отдельной книгой в «Советском писателе» роман «Хэда», и те романы, которые нас в будущем ждут...

Михаил Чванов

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ЗАВОД

Глава 1

ГРОЗА

Саксачьи овчины, тяжелые цибики чая, канаусовые ткани, выбойку, верблюжью шерсть тюками, шерстяные ковры азиатской работы закупил Захар Булавин у бухарцев и киргизов.

Насмотрелся на ярмарке разных чужестранных товаров, привезенных из-за степи меднолицыми купцами в тюбетейках и полосатых халатах. Ездил для потехи на верблюде, ходил на басурманскую гулянку слушать горестную протяжную плясовую с барабанным боем. Но озорства избегал и пьяным, как другие уральские купцы, не напи-вался.

...В воздухе парило, влажный жар томил путников, кони ленились бежать рысью. Долина стрекотала тысячами звуков. За лугом виднелись горные вершины, увенчанные округлым каменистым куполом — Яман-Таш, как старинной татарской шапкой.

После смерти родителя, лавочника, возившего по башкирским деревням и в заводский поселок цветные ситцы, краски для самотканых сукон и холстов, наследник его поставил дело по-своему. Старую лачугу сломал, взял из конторы отцовский капитал, лежавший у завода на сохранении, пустил деньги в оборот.

На базаре выстроил новую лавку, заказал мастеру портяного сарая* в заводе железные створки и болты для дверей и окон, закупил под Косотуром на Златоустовском заводе тяжелые замки.

Поставил в новом селении пятистенный дом с горницей в четыре окна. Зажил с молодой женой на славу.

Начал ездить на сибирские ярмарки. Из Ирбита привез материй с узорами, янтарных бус, кашемировых шалей.

* Так называли механический цех.

Возвратился домой на завод, распродал товары и заработал чистыми по восемь гривен на рубль.

Удача окрылила его. Хотелось еще хватить денег, охота была поглядеть чужие стороны. Забрал с собой приказчика, покатил в степь.

Отвез Захар на продажу полосового железа. В обратный путь на меновом дворе загрузил наемные подводы низовских мужиков красным товаром. Низовцы — жители околзаводской деревни. Заводские говорят про них, что это народ-зверь.

Свой человек — приказчик Санка присматривает за оставшим в пути обозом. Был он еще мальчиком привезен на завод отцом Захара из чужих краев. Вырос Санка в доме у Булавиных и на всю жизнь приучен был благодарить хозяев за кусок хлеба.

— Лучше чужого в лавке держать, чем наших варнаков, — говорил покойный лавочник, — здешних к своей лавке не приучишь.

Вырос Санка верным приказчиком Булавина. Был он человек сильный, способный по суткам работать без устали. В дороге при перевозках умел сохранить товар, а в лавке был незаменим: торговал быстро и ловко, хорошо умел считать, знал, с кем и как надо обойтись.

...Тройка остановилась. Лошади махали головами, взмыленные, усталые от подъема на холм. Начались лесистые отроги восточного склона хребта.

— Нынче придет мой обоз, народ сбежится смотреть на товары, богатые башкиры глаза проглядят и без обновы не уйдут из лавки. Это им не владимирский офеня*... Конец приходит сарпинщикам, коснякам, венгерцам** ...

...С вершины по крутому спуску тройка пошла упираясь, весело рванула у подножья, и тарантас покатился по накатанной пыльной дороге. Въехали в кустарник. Прозрачный ключ струился в чаще черемушника. Ветви низко нависли над головами. Ямщик хватал их и отгибал в стороны.

Из прохладной пади поднимались в гору вязкой от песка дорогой по опушке соснового леса.

Подул свежий ветер. Закачались ветвистые бровицы. Кустарник на обрывах гнул к земле.

Из-за леса поползли облака, подернутые синевой. Небо обволакивалось со всех сторон.

* О ф е н я — бродячий торговец.

** Названия бродячих торговцев.

— Быть дождю, — проговорил Захар. — Останови-ка коней, — тронул он кучера и полез из тарантаса. Разгреб сено, достал дорожный чепан крестьянской шерсти.

Ямщик проворно слез с облучка и суетливо пособлял купцу одеваться. Помог Захару залезть обратно, сам надел старый армяк, перепоясался мочальной веревкой, вскочил на место, тронул вожжами коней, озираясь на небо.

— Ну-ка, пошли...

Ветер налетал рывками, шумы волнами заходили в вершинах, деревья застонали, зашатались, лес зарокотал. Солнце скрылось, и небо затянуло тучами. Все кругом потемнело.

Издалека послышался раскат грома.

— Гроза, — молвил ямщик, оборачивая бородатое лицо.

— Вороти к Трофиму на кордон, — приказал Булавин.

Мужик приударил по коням. На перекрестке свернул с большой дороги на проселок.

Снова прогремел гром. Купец и крестьянин, сняв шапки, перекрестились. Из-за каменных гребней гор появилось черное облако. Захар, ухватившись за кушак возницы, оглядывал небо.

По краям грозовой тучи плясали лохматые обрывки облаков. Туча шла низко и быстро. Вокруг становилось все темней и темней.

Избушка лесника была недалеко, и дорогу кучер знал хорошо. Не впервой завозил он путников к Трофиму.

— Но-но, лодырь, ходи, — дернул старик коренника.

Не dokonчил он последнего слова, как молния переполоснула тучу наискось, разбежалась зигзагами вниз, столб огня упал в чашу леса, и невдалеке от проселка треснула и запылала высоченная кондовая лесина. Гром покотился по всей туче и грянул над тарантасом купца коротко, но с такой силой, словно на небе выстрелили из громадной пушки.

Кони шарахнулись в сторону.

— Ну-ну, окаянные, запугались!.. — хрипло кричал ямщик.

Нахлестанная тройка помчалась вперед. Тарантас за-трещал на колдобинах и буераках. Слышно было, как по лесу приближался ливень. Пылающая сосна озаряла дорогу красноватыми отблесками.

Вот туча начала заволакиваться дождем, западали, зачастили крупные капли, снова сверкнула молния, грянул гром.

Тарантас вылетел на поляну. За протокой чернела избушка лесника. Тройка неслась к жилью, кони летели во

всю прыть, чую пристанище. Ямщик только натягивал вожжи.

Налетел ливень, захлестал потоками воды, заплескался в тарантасе. Дорожный чепан Булавина и армяк возницы мгновенно вымокли.

Проехали мостик через рукав речки — лесник жил как бы на островке, — остановились у сторожки. Трофим, седой, но еще крепкий старик, выбежал встречать путников, накрыв голову и спину мешковиной.

— Здравствуй, здравствуй, любезный! Скорее в избу пожалуй, а тут уж мы с ямщиком управимся, — приговаривал он, помогая купцу выбраться из тележки.

Дождь хлестал вовсю. Булавин захватил кожаную сумку с деньгами и дорожными вещами, скинул в сених намокший чепан и вошел в избу.

Там были двое башкир, не знакомых Булавину. Один из них лежал на лавке. Он с тревогой привстал, когда вошел Захар. Лицо у него рябое, а черные густые брови у переносицы приподнялись вверх, отчего выражение лица было жалобное. Оглядев купца, он успокоился и снова прилег, повернувшись лицом к стене.

Другой сидел на полу у печи и озабоченно осматривал старое кремневое ружье. Краснощекое лицо его выражало энергию и упорство. Близ табурета лежали мешочки с порохом и с пулями, шомпол, пыжи, сумка, охотничий нож. Все изобличало в нем охотника, завернувшего на перепутье к старому зверобою Трофиму, у которого было много друзей среди окрестных башкир.

Захар перекрестился на иконы и, не здороваясь с незнакомцами, пролез за стол, открыл сумку, проверить — не замочило ли дождем перепись товаров, купленных на ярмарке.

Захар был грамотный. Мальчиком он учился в крепостной школе, где из детей заводских крестьян готовили служащих конторы. После закрытия крепостной школы Захара за тридцать копеек в год доучивал церковный пономарь.

Вошел лесник, широкогрудый, коренастый старик с окладистой бородой.

— Давненько не заглядывал к старику, Захар Андреич! Все в своем занятии. Ну, рассказывай, откуда едешь, а я тебе пошабашить соберу щец да каши, баба-то у меня в лесу, с утра ушла, да, видно, бурю в шиханах* просидит.

* Шиханы — скалы.

Из русской печки лесник вытащил горшок со щами, сунул в него деревянную ложку, накрыл широким ломтем хлеба — подал гостю.

— Чем бог послал, не обессудь, Захар Андренч.

— С ярмарки еду, Трофим, с ярмарки, да от непогоды к тебе завернул, а то к ночи хотели быть на заводе, — окая, заговорил Захар.

— Да что ты, любезный, по ночам хребтом теперь не езда. Не ровен час, Могусюмка с башкирцами, слышно, опять в нашей стороне появился.

Снова ударил гром. Лесник и купец невольно взглянули в крошечное окно. Ливень лил с прежней силой. Избушка вздрагивала от порывов ветра.

— Могусюмка нам не опасен, — отвечал купец. — Он у нас на заводе ходит открыто, ему наших трогать не расчет. Могусюмка лошадьми живет, от него лошадникам беда, богатым башкирам, а на заводе какие кони...

— Не говори, Захар Андренч, давеча под Курк-аркой на караван налет был. Нынче по кочевкам ездили городские, читали бумагу; кто изловит Могусюмку, тому награду обещают.

— Разве поймают? — усмехнулся Захар. — Он ловкий...

...Дверь отворилась, в избу вошел ящик. Захар отдал ему отставки щей. Старик уселся у двери, поставил горшок на колени и жадно хлебал варево. Трофим подал кашу.

— А я ныне на сохатых ходил — тебя вспоминал... Под Арвяком на солончаках каждый раз встречаю то табуном, то в одиночку. Солонцы лизать приходят. Отдыхай от ярмарки, да поедем зверя бить в урман* . А, Андренч, как бывало?

Снова налетел порыв ветра.

В лесу раздался треск, и слышно было, как падала лесина. Треск повторился снова и снова, по лесу деревья валились наземь, и гул от паденья пошел по тайге. Дождь затих на мгновение и вдруг полил с новой силой.

— Бушует, — молвил Трофим. — Вот с Хибетом собрался на охоту нынче, — кивнул он на башкира с ружьем. — На Бердагуловском курене житья не стало от медведей. Что ни ночь — то конь задраный. Куренный** обещает нам с Хибеткой награду от заводской конторы, если зверей отвадим. Хибет, выбьем, что ли, косолапых?

* Урман — лес.

** Куренный заведовал выжиганием и доставкой древесного угля на завод.

Тот, кого называли Хибетом, положил ружье на скрещенные ноги, поднял голову и, прежде чем начал говорить, улыбнулся. Лицо его, за миг до этого озабоченное и суровое, мгновенно преобразилось. Глаза сощурились и заблестели лукавством.

— Ружьем стреляем, конечно, возьмем. Зверь куда дается? Наш будет, — молвил он.

— Хибет отчаянный, жизни не жалеет, — говорил Трофим. — Дед у него старик теперь, уж на охоту не ходит. Был Хибет еще мальчишкой, и дед был малость помоложе, так учил его с рогатиной брать зверя. Одна у нас беда, — хлопнул он по плечу охотника, — как деньги в кармане, так на завод: накупит вина и куролесит. Кругом нынче башкиры пьяницы пошли. Своего закона не уважают. Зря контора водкой торгует.

Хибет смущенно отвернулся и снова занялся ружьем.

— Отец у него Бикбай... Знаешь? Иван, ты, поди, знаешь?

— Как же, знаю старого Бикбая, — ответил ямщик. Но знает ли Хибетку — не сказал.

— У Бикбая кочевка недалеко, где башкирская земля начинается. Он теперь совсем переехать хочет. У него шалашик был тут прежде, приезжал только на лето, а нынче лес заготовил, хочет юрту строить. Поближе к заводу...

Трофим зажег лучину. Гроза проходила. Ветер стихал, гром гремел в отдалении. Дождь еще лил, но не так сильно.

Башкирин, спавший на лавке, зашевелился.

— Это кто у тебя? — спросил Захар.

— Проезжий человек. Видно, из дальних башкир, да не то больной, не то напуганный, все молчит, да в углы жметя.

Башкирин на лавке поднялся. Жалобное рябое лицо его, помятое после сна, казалось еще более безобразным.

— Куда едешь? — спросил его Захар.

Тот развел руками и не ответил.

— Чего это ты?

— Бельмэем*, — отвечал башкирин.

— Ну-ка, Иван, — молвил купец ямщику, — спроси, откуда он, куда едет.

Ямщик Иван был родом из Низовки, где все мужики толково объяснялись по-башкирски. Он спросил проезжего: тот что-то буркнул в ответ, поклонился леснику и вышел из избы.

— Озорной башкирец, не хочет отвечать, — сказал Иван.

* Не понимаю (башкирск.).

Захар больше не любопытствовал и стал готовиться ко сну. Из сеней принес чепан, развесил на печи, снял со стены и постелил на лавке полушубок, положил в голову дорожную сумку, снял поддевку, стал молиться на образа.

Хибетка кончил возиться с ружьем и устраивался спать на полу у печки. Пока купец молился, Хибетка затих, чтоб не отвлекать русского. Лучина гасла, в избе становилось темно. Дождь стихал. Помолившись, Захар разулся, лег на лавку, укрылся поддевкой.

Тряская дорога, ливень, буря, лесной пожар утомили купца.

«А жаль, что не добрался ночью до завода», — подумал Захар и представил себе, как бы он приехал на завод, постучал бы в ставень и как бы встретила его жена... У него для Настасьи сережки дорогие куплены у московских купцов на ярмарке.

Сквозь дремоту слышал, как, хлюпая копытами по лужам, кто-то проехал мимо дома.

«Башкирец-то, верно, озорной, если ночью в путь торопится. И конь-то его, поди, ворованный», — мелькали у Захара обрывки мыслей.

Дверь скрипнула. Лесник зашел, задул лучину, кряхтя полез на голбец. Кучер храпел в ногах у Булавина. Хибет ворочался возле печки.

Снова вспомнил о Настасье. Представилось ему, будто плывет она в лодке по пруду. Феклуша гребет, а Настасья правит.

Потом вдруг ударил огонь с неба и попал в новую лавку.

«Слава богу, что обоз-то не пришел домой, а то бы все товары погорели!» — подумал Захар и побежал за водой к колодцу, но и оттуда вылетело пламя. А кругом дома загораются, и выхода нет с улицы...

— Андреич, родимый, проснись-ка, — шевелил купца в потемках кучер.

— Чего тебе? — очнулся Булавин.

— Непокойно здесь, возле кордона в лесу недобрые башкирцы. Ты уж не засыпай, как бы худо не было...

Захар приподнялся, присел на лавке.

— Вышел я коней проведать, — продолжал мужик, — слышу за протокой разговор. Я в стайке притаился. Слушаю: Хибета нашего спрашивают про какого-то Гейниатку: куда, мол, и откуда проехал? Хибет им объясняет: мол, с вечера грозу пересидел у лесника, а уехал к ночи поздно, как прошла буря. Чую, недобрые люди. По раз-

говору видать... Хибетка у них свой человек в здешних лесах. Либо конокрады, либо разбойники. После спрашивали Хибета, кто в избе ночует. Как он сказал, что купец с ярмарки едет, я кинулся тебя будить. Да уж больно крепко ты спишь. Этак ограбят, а ты и не услышишь.

— Много их? — пришел в себя Булавин.

— В потемках не видать, а по голосам человек пять или шесть, а может быть, и больше.

Захар стал всматриваться в окно. Дождь кончился. На небе ярко светили звезды. В лесу было темно. Черные игольчатые ветви елей висели над рекой. По берегу, к мосткам — Захар различил — приближалась ватага людей.

На полатах завозился Трофим.

Булавин отвернулся от окна, пошарил под лавкой, нащупал сапоги, обулся.

Ямщик сидел здесь же на скамейке.

— Ну, Иван, — сказал купец, — наше дело держать ухо востро.

— Зря тревожишься, почтенный, — раздался с полатей голос лесника.

Он торопливо стал слезать, зашлепал босыми ногами по полу.

— Хибет — надежный парень. У башкирцев промеж себя свои дела идут, нам от них не беда. Не встречай их в темном лесу на хребте, а в моей избе от них худа не будет. Я их сейчас погоню. Вам, низовцам окаянным, — обратился он к ямщику, — всюду воров да беда, а сами-то... Ты не тревожься, Захар Андреич, я живо их успокою. — И лесник босой выбежал из избы.

В окне при свете звезд видно было, как он перешел мосток и присоединился к башкирам. Они долго разговаривали, размахивая руками, потом двое отбежали в лес, вывели лошадей. Башкиры вскочили в седла, и вся ватага поскакала через мосток к дому.

— Шабаш, Андреич, пропали!.. — завопил Иван и кинулся закрывать дверь.

— Будет дичать-то, — схватил мужика за ворот Захар. — Сиди помалкивай.

Всадники от мостка свернули в сторону и промчались берегом. Там, где протока сошлась на отмелях с главным руслом, перебрали реку, и вскоре их черные силуэты слились с дремучим лесом на другом берегу.

Трофим и Хибет возвращались молча. Оба прошли за угол избы.

Прокричал петух.

— Ну, слава богу, пронесло! — с облегчением молвил крестьянин. — А все-таки люди недобрые, да и за лешим-то Трофимом слава нехорошая ходит! Я сам не верил, думал, наша Низовка зря баласничают, ан и верно: с волками жить — по-волчьи выть...

— Либо съедену быть, — шутливо добавил Захар, довольный, что все обошлось благополучно.

Из сеней в избу вошел лесник.

— Хибетка где? — спросил Иван.

Трофим молчал. Мимо окна верхом на резвой лошаденке бойко проскакал вслед конной ватаге Хибет.

Захар проводил его взором и стал разуваться.

— Ложись, Иван, зря от тебя беспокойство, — сказал лесник и полез на полаты. — Почивай, Захар Андрейч, не тревожься. Я тебе говорю, спи спокойно.

— Спать-то спи, да глаз не смыкай... — ворчал в темноте Иван.

— Храпи, Низовка!..

В избе затихли.

Лесник поворочался на полатах.

— Наше место свято, — усмехнулся он.

Глава 2

ТАШ-КУШАК

На другой день солнце перевалило за полдень, когда взмыленные, уставшие кони затащили тарантас Захара на вершину хребта под самые утесы.

Отсюда видно далеко вокруг. Внизу прогалины зеленели лугами, а дальше во все стороны тянулись бесконечные горные кряжи, сплошь поросшие дремучим краснолесьем. Только каменные венцы хребтов белеют над тайгой.

— После ненастья-то как выведрило... — обвел рукой небо Иван.

— А ну, остановись, — тронул его Булавин.

У него ноги затекли от сидения, и захотелось поразмяться.

По вершине хребта на много верст сплошным каменным поясом простерлись отвесные обнажения известняков. Башкиры в старину так и называли весь хребет: Таш-Кушак — Каменный Пояс. Через узкий естественный пролом в скалах проходила единственная дорога из города на завод. Около въезда в него под крутизной, в сырой тени угрюмого гребня и стала тройка.

— Обожди, Иван, я на Каменку испить схожу.

— Смотри-ка там... Михайло-то Иваныч в малинниках, поди, уж дожидает! — крикнул вдогонку кучер.

Встреча со зверями неподалеку от большой дороги в те времена на Урале не была редкостью.

Захар полез с дороги в чашу. Сначала он шел по высокой и густой траве, влажной от вчерашнего ливня. Полуденное солнце высушило деревья, но земля еще была мокрой и топкой, как болото. Кое-где попадались вывороченные бурей лесины. Ураган с бешеной силой свирепствовал вчера здесь, на вершине хребта.

Дойдя до приметной скалы, стоявшей особняком от гребня, как каланча у заводской церкви, Захар обогнул ее и забрался на россыпь. Это и была Каменка, широкая «каменная река» — лавина обломков скал, задавившая полосу хребта от венца до подошвы.

Захар по шуму воды отыскал скрытый под россыпью падун и, прыгая по замшелым плитам, двинулся вверх. Вскоре он достиг глубокого провала меж тусклых розовых глыб. На дне его бил родник и ускользал под камни к невидимому потоку, таинственно и глухо бурлящему где-то в глубине россыпи.

Булавин осторожно слез и, утвердившись на шершавых каменюках, стал пить и умываться. Тут до слуха его явственно донесся стук копыт и крики: «Что за чертовщина, — подумал Захар, — откуда тут люди взялись?»

Он осторожно выглянул из провала и осмотрелся. На обрывистом выступе гребня, как раз над Захаром, появился смуглолицый всадник в белом башкирском кафтане. Захар узнал его. Это был Могусюмка. К нему подъехали двое вооруженных башкир в мохнатых шапках. Один из них протяжно заклекотал. Все трое некоторое время всматривались в даль, переговариваясь между собой.

Из леса ответил рог. Всадники резко завернули коней, зарысили над обрывом по каменному гребню Урала и вскоре скрылись за скалами. А с другой стороны за россыпью, в чаще затрещал хворост, послышались голоса.

Захар торопился к тарантасу. Чтобы не выказывать себя трусом, он вылез из провала и пошел по россыпи, время от времени перепрыгивая с камня на камень.

«Нет, быть не может, чтобы они на меня напали. Разве только не узнают?» — подумал он и поехал, чувствуя, что, не разобравши, могут влечь заряд в спину. Тут он быстро перебежал по россыпи и спрыгнул в чашу. Разыскал свой же след и по примятой траве пошел к дороге.



«Якорь его задери! Могусюмка у самой дороги стоит. Как бы не пограбили мои товары. Чем черт не шутит. Дружба дружбой, а табачок врозь. И ежели попадет им мой Санка с товаром, как бы не быть худу. Ведь раз на раз не приходится».

Захар вылез из зарослей на дорогу как раз в том месте, куда глядел, ожидая его, ямщик.

— Ну, Иван, давай погоняй! — сказал он, проворно залезая в кузов. — Трогай, да шибче.

— Эй, вы, эй, пошли!.. — подхлестывал кучер пристяжных.

Отдохнувшие лошади весело побежали по ровной дороге в ущелье. Черные, изветренные утесы, обросшие мхом и лишаями, повисли над головой. Через пролом выехали к другому склону. За грядой лесистых холмов стал виден завод.

Ярко синел просторный пруд, виднелись плотины с белыми водопадами, избенки рабочих. У моста густо дымит почерневшее от времени кирпичное «плавильное заведение» в две печи. За прудом, у нижнего поселка, на взлобок сопки — деревянная церквушка с отдельной звонницей.

Верхнего поселка, где живут Булавины, за ближним лесом не видно...

— Ну, слава богу, скоро и дома, — молвил Иван.

— Обожди хвалиться, не доехал...

— Да уж тут рукой подать. Сколько мы с тобой, Андреич, отмахали?

— Да ты поторопись, Иван, поторопись.

Кучер подергал вожжой, помахал кнутом.

— Да, путь далекий... Бог милостив, авось, целы-здоровы домой воротимся. Довежу тебя, да подамся в Низовку. Давненько дома не был... Обозных дожидать не буду.

— Не боишься?

— Под Ломовкой кого бояться! Лихие люди нашу деревню объезжают... Конокрадов сами ловим. Лошадь пропадет — наши низовские под водой сыщут. Нынче и не слышать, будто бы потише стало на нашей дороге. Да и Низовка теперь не та, что раньше. Мужики ружьями обзаводятся. Только ружей хороших нет: не продают нигде. Да и народу прибавилось: богачи у нас работников держат.

— А башкиры батрачат? Мне Акинфий сказывал: башкиры к нему нанимались.

— Есть и башкиры, но более заводские. Завод-то ведь, вот... Я мальчонкой был, так он с той поры все одинаковый стоит. Народу прибавляется, а работа все та же. Парни-то и идут к низовцам в батраки. Да... Низовка растет, богатеет. — Он щелкнул кнутом по оводу, впившемуся в холку

коренника, потом сел на облучке боком. — А тебе, Захар Андреич, надобно бы лавку открыть у нас. Что твой Санка? Ну, заедет перед праздником. Покуда малец-то распряжет лошадь, да объедет Низовку, да прокричит во все избы, что торговец приехал, — ан, товару-то и нету... После за всякой мелочью низовцу опять в завод на базар собираться.

— Народ у вас, Иван, неладный, — хитро сказал Булавин. — Мне еще отец покойный заказал беречься, как поеду торговать с Низовкой.

— Что ты, Андреич, да разве отцова торговля тебе пример! Старик, царство ему небесное, слова худого о нем не скажу, хороший был человек, но против тебя куда мельче в торговом деле. Ему лавкой хозяйничать, а твое дело — магазин! А про низовцев напраслину несут. Нет, чтоб осмотреть нашу жизнь толково, понять, как она течет, как это деревня обзаводится скотом, конями. А урман корчем, пашни на диких угорьях пашем, лесовщину рубим... уголь жжем... Но, конечно, уж зато за свое добро подеремся, не трожь...

— А лонской* год, сказывают, косняков сгубили. Это дело, за свое добро стоять, а проезжего в куль, да в омут.

— Напраслина, Андреич! Лонской год ничего такого не было. Давно этот грех, конечно, был когда-то, не скрою, переходца сибирского порешили. Ну, да то человек разве? Такая зверина. Он тебя в урмане-то сам за ломаный грош убьет. Да и давнина-то это стародавняя. А про ярославцев зря толкуют. Они сами кого хошь обидят! Ну, дело молодое, наши ребята разбаловались, да и шибанули их... Только все обошлось. Заказали им стороной ездить. А чтоб не забыли заказа, отвезли в деревню да при народе маленько постегали...

— А товар отняли?

— Да какой же у них товар! Кольца, ножи да косы. Одно слово, что товар. Пятеро купцов на пустом возу товар везли...

— Что же с тех пор косняки в Низовку не заглядывают?

— Все равно бываю, везут! Приедут, нашумят, накричат, а после скот падает, коровы дохнут... Ехали как-то великим постом трое. «Откуда?» — спрашиваем. «Елабужские, — говорят, — синильщики, едем к башкирам холсты красить». — «А где же куб у вас, в чем синить-то будете?» — «Куб, — говорят, — у нас еще с прошлого лета у башкиров остался. Там вся красильня». Ну, и не стали мы их задевать.

* То есть прошлый.

Не согрешили в великий пост. Ан после, язви их в душу, мор на скотину напал. Напустили! Вот и не трогай их в другой раз! Знаешь, переходцы всякие бывают. Иной только зовет себя торговцем и разговором на офеню похож, а в самом деле вор, конокрад или с дурным глазом, или болезнь у его на лошади. Нечистый-то дух тоже не дремлет! Оттого, Андрич, нам полный расчет иметь своего купца, чтоб чужие мимо Низовки не шатались. Мы бы их живо отвадили. Есть, конечно, и в Низовке охотники торговлю открывать. Только дело это неспособное, какие они торгоши! Да и собираются долго. Вот один из ярославцев у нас на богатой девке женился. Смотри, упустишь, большого дохода лишишься... — Старик отвернулся и стал править на переезде через ключ. — Думай, Андрич... Санка твой сколько ни ездил к нам, цел остался. Расчет у нас лавку ставить.

— Обдумаю, после в Низовку заеду, на месте потолкую со стариками.

«Дернуло Могусюмку не вовремя бродить возле тракта, — думал Захар. — Долго его не было, а нынче опять объявился. Конечно, ежели у них, как Трофим говорил, промеж себя неспокойно, то обоз пройдет, хотя случиться может всякое. Надежда на Санку с мужиками. Я еще подумаю, да, может, найму людей, да сам выеду обоз встречать. Могусюмке мой товар не надо бы трогать. Он в лавку ко мне ходит, хорошо мы с ним обходились. С Санкой они чуть не приятели, и меня он знает».

...Однажды летом в магазин Захара явился Могусюмка. Он высокий, смуглый. Вошел и уставился как вкопанный на товары. Санка заметил его и учтиво спросил:

— Чего вам показать?

Башкирин помолчал и, склонив набок голову, приглядывался к штуке дорогого малинового шелка. Приказчик снял её с полки и развернул чуть ли не во весь прилавок.

У Могусюмки глаза блеснули. Лицо его, круглое, доброе и серьезное, зарделось.

— Сколько аршин отрезать? — весело спросил Санка.

Могусюмка посмотрел на приказчика, потом на Захара и задумался, наморщив лоб. Вдруг он повернулся и спокойно пошел из лавки: видно, был не в духе.

— Эй, стой, обожди! — крикнул Санка. Бойкий торгош, он никого не боялся, когда имел хороший товар под рукой, и не желал упускать случая познакомиться поближе с Могусюмкой, чуя, что дружба с ним пригодится. — Поди-ка сюда! Да иди, иди, подходи, не бойся. Акша йокх?*

* Акша йокх? — Денег нет?

— Йокх! — решительно ответил Могусюм и покосился на шелк. В добром и кротком на вид башкирине трудно было угадать отважного удалца.

— Ну, ничего... Мы тебе желаем уважение сделать, как много слышали про тебя. Я тебе отрежу материи, а деньги, когда будут, привезешь или передашь мне через своих. Ты только посмотри, ну, посмотри, какой товар! Якши, что ль?

— Ладный! — мотнул головой башкирин.

Санка отрезал конец в аршин десять, свернул, подал:

— Держи, скоро бусы привезем, кольца... Приходи бабе выбирать...

Так и отпустил Санка на свой риск десять аршин малинового шелка. С тех пор Булавин не видал Могусюма. «Не может быть, чтобы обманул он приказчика... Ну, да бог с ним! Это, может, и к лучшему».

Начались заводские пашни.

— Нынче заводские тоже больше хлебов засеяли. Прошлый-то год на этой поляне пустошь была, — заговорил Иван.

— А у вас больше сеют?

— У нас больше. Хотя сказать, что много, нельзя. Вот нынче в степи повидали с тобой хлеба!.. Недаром степной хлеб дешев...

Низовцы не только пашут землю, но и рубят лес, для завода и промышленников возят руду, осенью жгут уголь в огромных «кучах», а зимой возят его в коробах на завод. На низовских богачей батрачат башкиры. Заводская беднота ищет в Низовке кусок хлеба, трудится там за харчи.

По манифесту и по новым законам бывшие горнозаводские крепостные делились на два сословия: на мастеровых и сельских работников. Крестьяне окрестных деревень, Низовки и Николаевки, в недавнем прошлом такие же крепостные, как и заводские, записаны были в сельские. Они стали пахотными крестьянами и получили у завода землю в аренду. Появились в Низовке богатенькие. Некоторые низовцы стали кабалить башкир. Некоторые искали золотишко, зимой ходили на лис и на белок. Были богачи, которые все это старались скупать, чтобы перепродавать.

Заводские жили похуже низовцев.

После манифеста они не хотели принимать уставную грамоту, по которой следовало «мастеровым» платить за землю, считая землю эту своей собственностью. Земля нужна была им прежде всего, чтобы косить сено и кормить скот. Почти все пахали, сеяли хлеб, и это было большим подспорьем. Деньги, даже самые малые, были в те времена редкостью в кармане заводского. Объявили, что придется

ему самому платить за покосы и за пашню и даже за ту землю, на которой стоит усадьба. Правда, объяснили, что за землю надо отрабатывать на заводе.

Начались волнения. Завод встал, люди не выходили на работу. Только домна дымила, как и прежде.

Шли разговоры в народе, что надо бросать старые места, уходить в степь, в орду или к князьям-башкирам или к казакам, там пахать землю, а мастерство бросать: оно никому, видно, не нужно.

Но все же народ остался на месте, не покинул родного завода. Лишь немногие ушли. Но завод стоял, и народ волновался, пока управляющий не объявил льготу заводским. Им разрешили два года пахать и косить те участки, что занимали они издревле. После этого все стихло... Завод заработал. Потом эту льготу продлили еще на несколько лет.

— А я, Захар Андреич,— повернулся Иван на облучке.— на старости лет жениться надумал... На Агафье Косаревой... Мужик-то у нее уж два года как помер, а баба еще подходящая. Нынче вернусь — свадьбу сыграем.

— Низовская? — спросил Захар.

— Как же, наша деревенская,— с гордостью проговорил Иван.

— Тебе лет-то сколько?

— Шестой десяток. Да ведь, сказывают: годы — не уроды... Ты не гляди, что у меня борода седая. Ребята женаты, отделены. Сам хозяин.

Сзади послышался топот копыт. Захар встревоженно обернулся. По дороге скакал конный башкирин. Он быстро приближался. Это был здоровый парень в домотканой кубовой рубахе и в круглой мохнатой шапке. Он поравнялся с тарантасом и спросил Булавина:

— Большая лавка на заводе, ты хозяин?

— Я хозяин,— насторожился Захар.

Иван остановил лошадей.

— Могусям догонять велел.— Он достал из шапки кошелек, туго набитый, и протянул Захару.— Бери, твоя лавка другой мужик есть, приказчик, что ли. Могусямка говорил— ему отдай...

Захар растегнул кошелек. Там были большие серебряные рублевые монеты. Могусямка прислал много денег, гораздо больше, чем стоила материя.

— За что это ему? — спросил Иван.

— Могусямка долг прислал, так, что ль? — обратился Захар к башкирину.

Тот кивнул головой, ударил ногами свою бойкую, горбо-

носю кобыленку и во весь мах поскакал обратно. Потом, обернувшись, осадил коня и крикнул по-русски:

— Эй, прощай!

— Прощай!— отозвался Захар, приподнимаясь в тарантасе.

Башкирин ускакал. Тройка снова двинулась. Вдали за березами показались избы.

— Только денег-то тут больше, чем надо...

— Видно, разбогател разбойник. Ты, Андреич, выброси кошелек-то. Не дай бог хозяин найдется... Знаешь, ведь их дело такое...

-- Как это ты, Иван, башкир боишься? Разве у тебя у самого нет друзей-башкир?

— Пошто боюсь! Есть у меня друзья, ну так то шигаевские, соседи... Изятка, Вахрейка, Кунабайка!

— А ты думаешь, шигаевские с Могусюмкой не ходят? Хибеткин-то отец и ваши-то шигаевские — родня. А Хибетка, видать, Могусюмкин джигит.

Иван приумолк. Он кое-что знал, но помалкивал. Он на кордоне более беспокоился за купца, чем за себя.

«Значит, видели нас, как мы проезжали,— подумал про себя Захар,— но не тронули. Тогда и обоза не тронут». И проговорил вслух:

— А все-таки Санка мужик со смекалкой...

— Как же, при торговом деле,— отозвался Иван.

Захар знал, что среди бедноты башкирской считается Могусюмка не разбойником, а удалым защитником народа. Много разных рассказов ходило про него.

«Гордый он! Свой характер выказывает: мол, не понимай обо мне плохо!»

«Может, понял, что струсили мы, что боюсь я за свой обоз, и вот пожелал показать, что совсем не разбойничает, что не надо бояться».

— Вот бы дружбу завести с таким человеком,— сказал Захар.

— Что ты!— отозвался Иван.

— А чем же плохо?

— Твое дело: я бы не рискнул.— И добавил как бы в оправдание: — А у нас соседи славные, так почему бы не дружить.

— А я слышал, вы у них землю отымаете?

— Не затрагиваем, напраслина! Дашь ему чая, он на лето поляну продаст, сено скосим. Только Акинфий — они жалуются — обижает. Межу будто показывает не там... — осклабясь, сказал старик потихоньку и виновато, словно боясь, что даже здесь, в лесу, Акинфий услышит. — У него

зять — ярославец. Был коробейник, грамотный, а теперь вот второй год женился и поселился в нашей деревне. Они с тещушкой доносят на башкир пишут и возят в город, доказывают, что башкиры землей неверно владеют.

Глава 3

ПОМОЧЬ

В полуверсте от поселка тройка нагнала седого деда с топором за лыковой опояской. Когда тарантас поравнялся с ним, старик снял шапку, поклонился Захару.

— Откуда, дедушка?

— Под Малиновые кручи ходил, нынче у «верхового», у Оголихина, помочь.

Оголихин был старшим из мастеров, «верховым», как его называли, и, по сути дела, управлял всем заводом.

— Рубили бревна для заплата...— продолжал дед.— Новую избу ему ставим... А ты из города, что ль?

— Из города,— ответил Булавин.— Чего в заводе, все ли благополучно?

— Слава богу, все спокойно.

— Залезай в тарантас, подвезу.

Иван обернулся, поглядел на старика.

— Придержи коней,— велел купец.

Дед, путаясь в долгополом армяке, полез в кораб.

— Чего это он тебя с помочи рано отпустил?

Старик уселся поудобнее, вытянул босые ноги, потом обернулся к Захару и деловито возразил:

— Другие еще и завтра домой не уйдут. А я топорик со вчерашнего дня поточил, да и работал с самой зари. К полудню еще разок поточил, да опять работал. Глядишь, и урок справил.

— Ветки, что ль, срубал?

— Пошто ветки? — обиделся старик.— Самые боровицы валил. Васейка* Максим Карпыч мужикам сказал: мол, гляди, как водяной лесины сшибат.

Дед Илья уж много лет как был переведен от кричных молотов на легкую работу — подавать воду для работы колес, за что его и прозвали «водяным».

— Смотри, тебя Оголихин-то обратно к молотам поставит. Старик, мол, еще крепкий, ранее молодых уроки в лесу

* Васейка — давеча.

справляет. А нынче, говорят, на кричных того мастерства уж нет.

— Э-э, зря говорят!— Старик снял шапку, утер потную лысину.— Нынче на заводе такой мастер работает, что еще никогда такого и не было. Он когда кует полоской-то, как игрушкой играет — одно загляденье! У него и железо-то получается не то, что у нас.

— Ты о Гурьяныче, что ль?

— О нем о самом.

— Ну, вот только что он! А другие-то так себе...

Берегом глубокой размывины тарантас подъезжал к поселку. За оврагом на возвышенности тесно лепились друг к другу бревенчатые избышки с прирубными сенями и бревенчатыми заборами.

Окошечки в избенках маленькие, квадратные, с широким одностворчатым ставнем.

— Гляди, какие хоромы Максим Карпыч воздвигает! Захар стал смотреть в сторону, куда показал дед.

— Вон какой вылез!

Из-за изб подымалась крыша нового дома. По ней лазали мужик и мальчонка. Они набивали на балки железные листы.

— Быстро отстроил,— я на ярмарку уезжал, только еще руб начал ставить.

— Всем заводом работаем. Максим Карпыч все торопит. Каждый день помочь да помочь... В очередь артельно ходим. Видишь, и до меня, старика, добрался.

— Угощает за помощь или задаром? — вмешался в разговор ямщик.

— Когда как. Ежели заплотник вовремя на место доставят, сказывал, будет угощать, — старик горько ухмыльнулся.— А когда не угощает. Знаешь кулачище-то у него! — И с сожалением добавил:— Этак ему дом-то задаром поставили. Выбивает из народа этот дом. Колотит мужиков. На побоях растут хоромы-то.

— Вроде барщины!— возмутился Иван.— Какая же это помощь?! У нас на селе помощь — дело соседское, любовное. Избу ли строить, пашню ли убирать, враз соберем мир. Кто сам не выйдет, батраков пошлет. А это какая помощь?— махнул рукой Иван.

— Кабала!— сокрушался «водяной».— Да мне што! Я старик — все стерплю. Пусть-ка другие стерпят. Я не такое видал!.. У нас в заводе говорят: «Вот тебе и воля! Заместо барина на своего мужика батрачь». Барин-то на этикие проделки не пускался. И все грозит: мол, я вас кормлю, платы

с вас за пользование заводской землей не беру и земли ваши, мол, не обмериваю. Век мне будете благодарны.

— Видишь ты!..

— Как же! Он, верно, с землей уж не теснит народ.

— В Низовке, и то слышать, про него сказывали: живет богато, полтораста сарафанов за старшей девкой приданого дает.

— Верно слово,— подтвердил дед.— А какие сарафаны!.. Бабы-то уж видали, про это все говорят. Управляющий-то у него в кулаке. Он всем верховодит.

Тарантас задрезжал по деревянному мостику через овражек. Въехали в поселок. Гуси, гогоча и хлопая крыльями, разбегались в стороны. Заводские собаки кидались с лаем под колеса: учуяли низовских коней.

«Все меняется», — думал Захар.

Он слышал, что скоро на завод привезут машины. Когда-то здесь работала паровая машина, но недолго. Механик не мог ее исправить и уехал. Второй год шли слухи, что везут новые машины. Но поговаривали и о том, что хозяин, живший в Петербурге, хочет продать завод.

— Сказывают, на Авзянском заводе кричные уже сломали, — заметил дед, как бы догадываясь о мыслях Захара.

— Ну что ж, что сломали, — отвечал Захар. — Люди к паровому молоту пойдут.

— Ну, спасибо, Захар Андреич, — сказал «водяной». — Прикажи остановиться.

Тройка встала. Дед вылез, поблагодарил Булавина. Ямщик тронул коней.

— Раб Христов, — показал он кнутом вслед деду, ковылявшему в переулок. — Видишь, он какой? Мне, говорит, все равно! Я, мол, все стерплю! Пусть-ка другие стерпят! На других надеется, что их скорей проймет, чем его. Вот так каждый и терпит. Народ-то и дуреет от таких терпелок. А кому надо, с этого руки греют...

— Ты подкати-ка веселей, — перебил его Булавин.

В этот миг, когда он подъезжал к своему дому, про разбой и безобразия Оголихина думать молодому купцу как-то не хотелось. Наоборот, думалось Захару, что все идет хорошо, все правильно, к пользе народа. Он полагал, что и своей торговлей делает он благодеяние для крестьян. Правда, разные слухи шли по заводу и про Захара. «Но кто не знает, — думал он, — что отец горбом все наживал. Нет, мои деньги не лихие!»

Иван поднялся с облучка, натянул левой рукой вожжи, правой настегал коней.

— Э-э-эй, пошли!..

Тройка понеслась вскачь. Старик правил стоя.

Выехал на Широкую. Улица эта действительно была широкая и прямая. Стали попадаться бабы в синих, «кубовых», сарафанах. На плечах у них коромысла с обручными деревянными ведрами.

По правую сторону на красном порядке высился пятистенный дом Захара.

Иван еще раз хлестнул кнутом по пристяжным, и тройка подлетела к шатровым воротам. Кучер осадил коней. Из калитки выбежала светловолосая молодница. Она кинулась к тарантасу.

— Захарушка, вот и прикатил!— восклицала она.— Вовремя!..

— Здравствуй, Настасья... Иван, захвати вещи.

Пошли во двор. Настасья подбежала к плетню, кликнула в соседний двор.

— Феклушенька!

— Чего тебе, Настасьюшка? — отозвался молодой женский голос.

— Захар Андреич приехал. Беги живо, посмотри баньку да самовар готовы!

Феклуша была женой приказчика Санки. Поженились они несколько лет тому назад. Избу поставили рядом с новым домом Захара. Санка торговал у Булавина, Феклуша помогала Настасье по хозяйству.

— Лечу, лечу, живо, — отозвалась она.

Баня была далеко, за большим белым амбаром, сложенным из похожих на мрамор каменных плит.

В избе Захар перекрестился на образа, помолился об окончании пути.

Изба у Захара сложена из толстых лиственничных бревен, небеленая внутри. Настасья моет стены, как пол. Балки на потолке и брусья стен свежи, всюду светло-желтая, ровно выструганная, как полированная, лиственница.

Просторная горница и кухня обставлены дубовыми скамьями и столами, на стенах расшитые полотенца.

Вошел Иван. Принес сумку, чайник, охотничье ружье, чепан.

— Я уж не стану задерживаться, — сказал он.

— Садись, получай расчет...

Купец и ямщик уселись рядом на лавке. Захар отсчитал деньги, отдал крестьянину.

— Вот тебе за разгон, как уговаривались.

Иван нахмурил лоб и, видимо, с трудом подсчитывал деньги.

— Правильно, что ль?

—Верно, Захар Андреич, правильно будет.

Тогда Захар высыпал в ладонь медных денег, побренчал ими и отдал Ивану.

— Держи, ребятам на пряники. После будешь на заводе, заезжай в лавку, тебе матери отрежу. Рубах сошьешь к свадьбе, — пошутил Захар.

— Благодарствуем, — низко поклонился Иван. Бородатое лицо его при упоминании о свадьбе расплылось.

Старик спрятал деньги за пазуху и подтянул кушак.

— Спасибо, Андреич. В Низовке будешь, милости прошу. А совет-то мой не забывай. Лавку у нас открыть — прибыльное дело.

— После заеду, посмотрю.

— Ну, а покуда прощенья просим. — И Иван вышел из избы.

В окно было видно, как он подбежал старческой трусцой к тарантасу, завалился на сено и, нахлестывая тройку, помчался вниз по Широкой.

Глава 4

НАСТАСЬЯ

— Ну, рассказывай, чего тут у тебя? — спросил Захар. Настасья присела рядом.

— Мы с Феклушей тревожились: на дороге-то, сказывают, шалют.

Захар улыбнулся счастливо, оттого что жена за него беспокоилась.

— Ты не бойся, — сказал он гордо. — Я ведь не один, да и с оружием. А я тебе гостинцев привез!

Булавин вытащил зеленую атласную коробочку. Щелкнул замком. Крышка отскочила, и внутри на черном бархате зазолотилась пара сережек, украшенных алыми камнями.

— Получай!

Настасья бережно взяла коробку и стала рассматривать подарок.

— Камешки-то красные, самоцветы, горят на свету. Играют... — И подумала: «Оголихинские бабы теперь изведутся с зависти».

Захар достал из сумки азиатский платок, затканый золотыми птицами и голубыми цветами.

— А сахару-то привез? — спросила Настя, не желая выказывать ни особого интереса, ни восторгаться подарками. — Я тут с бабами все по ягоды ходила.

— Мешки идут в обозе.

— У меня-то есть еще, а бабы досаждают со всех сторон. Новые-то богачки! Оголихина все сахару да сахару просит. Хочет варенья наварить на всю зиму, сладкое-то любит. Раздобрела, как корова.

— А вот в хребет-то ты напрасно ходила. Слыхала про людей недобрых, а поостеречься не догадалась.

— Да, слышь, у нас под заводом только Могусюмка ходит. А он заводских не трогает. А еще говорят — с Гурьяном побратались они.

— С Гурьяном? — спросил Захар, и глаза его блеснули. Настасья заметила это и чуть-чуть покраснела.

— Мало ли что говорят, — сказал муж. — А вдруг позарятся на русских баб, как раз и украдут. Увезут в степь да продадут.

— Бойки у нас бабы-то, — лукаво улыбнулась Настасья, как бы не решаясь что-то рассказать мужу.

— И то не беда. Пусть их! Дома-то строгость!

— Как же! Дома все смирны. Грозен тятенька, а муж еще грозней! — держа в руке подарки, но не глядя на них и смеясь из-за плеча, сказала Настасья.

— Как же, — отозвался Захар, — так и надо.

— А Гурьян-то, — продолжала Настасья, — все под окнами у нас ходит... Глядит — того и смотри, что глазами бревна прожжет...

— На наш дом глядит? — встрепнулся Захар.

— А в лесу-то встретились с Гурьяном, — продолжала жена. — Так мы уж сторонкой, сторонкой, да поскорей и убралась.

— Так он и в лесу вас встретил? — ревниво спросил Захар. — Сильно он вас испугал?

— Ах, да что ты! Чем же он напугает? Он такой смиренный, он никогда слова худого не скажет! Он смешной...

Захар стал рассказывать, как башкиры догнали его на дороге и отдали долг.

Вошла Фекла, жена приказчика Санки.

— Здравствуй, Захар Андреич! С приездом! Как мой-то там? Жив или его уже в лесу зашибли?

— Жив, здоров. Он с обозом отстал, скоро будет.

Феклуша — женщина молодая, но изможденная работой и постоянными родами.

После бани и обеда Захар сходил в лавку.

По случаю его возвращения собрались знакомые, мастера, торговцы, лабазники. Расспрашивали про ярмарку, про цены на шерсть и железо, про волнения в киргизской степи

— Это все Хива мутит. Смущает этих мусульман,— говорил Терентий Запевкин, зажиточный заводской мастер, узколицый, лысый, с окладистой бородой, которой заросло все его лицо, только виден острый и кривой горбатый нос да узкие глаза.

— Есть знак и на Хиву и на турок,— говорил Захар.— Мне сами же азиаты рассказывали, что из Турции святые выпущены, чтобы смущать мусульман против русских.

— Сколько волка ни корми, он все в лес смотрит,— молвил густым басом Прокоп Собакин, тучный бородатый мужик с обрюзгшим, багровым лицом.

-- Змея укусит,— подтвердил Запевкин.

— Ай, ай, худой человек!— заговорил татарин-торговец Рахим Галимов.— Худой человек...

— Зашел я в городе в азиатскую харчевню,— рассказывал Захар,— с товарищем, с киргизом. Смотрим, сидят татары, киргизы. Какой-то человек, похожий на хивинца, глаза, как у ястреба, что-то рассказывает. Я киргиза спросил: «Что он говорит?» А этот киргиз, старый мой знакомый, еще отцу коней продавал, он мне перевел, что, мол, говорит, как на стене кафтан висит, так, мол, все русские висеть будут.

— Ну, а ты что?— с чувством спросил худой заводской мужик Кузьма Залавин, сидевший у порога на корточках.

— Ай, ай, худой человек!— восклицал Галимов.— Такой человек хватать надо, тюрьма сажать.

— Я подозвал хивинца к себе и спрашиваю: «Что, мол, ты сейчас говорил?» Он сразу струсил, согнулся. Мы с киргизом посмеялись и пошли прочь.

— У меня бы не ушел,— заметил Прокоп.

— Турция мутит,— сказал Запевкин.

— Только башкиры-то не подымутся против русских,— отозвался с порога Кузьма.

— Москвичи говорят, что война с турками будет,— подхватил Захар.

— Ну, а что в степи? Что слышать? Хан-то киргизский...

Пошли разговоры про пограничные новости. Захар рассказал, что будто бы собираются отправлять войска на Хиву.

— Это ведь уж двадцать лет все говорят: мол, на Хиву, на Хиву — да никак не соберутся,— отозвался Собакин.

Потом разговорились про заводские непорядки: шел слух, что скоро будет новый хозяин, что льгота, данная на землю, кончается и больше ее не продлят.

Вечерело.

Мимо проехали ребятишки на конях, подняли пыль, и она стояла облаком в воздухе. Вдали синели низкие волны хребта.

Люди толковали о делах, ждали каких-то событий. Жилось скучно и однообразно, и ум хватался за всякую новость. С самого дня отмены крепостного права все чего-то ждали: кто лучшего, кто худшего. Богатые заводили оружие и замки покрепче и старались вот в такие вечера держаться дружной, хотя в иное время сами готовы были перегрызть друг другу глотки.

Вечером Захар пил чай со свежим вареньем. Слышались глухие удары кричных молотов на заводском дворе. Настя и Феклуша разбирали огромную кучу ягод, ссыпанных из опустевших, докрасна измазанных соком корзин.

А утром, когда Захар ушел, к Настасье собрались бабы.

Настя, коренастая, с широким белым веснушчатым лбом, с румянцем на тугих щеках, со светло-русой, по-девичьи тяжелой косой чуть не до полу, вертелась у зеркала, прикладывая то к груди, то к плечам, то к коленям цветастые материи, привезенные Захаром. Без мужа держалась она куда смелей, смеялась и шутила.

Накинув на плечи кусок шелка, пробежалась по избе мелкими шажками, шлепая босыми ногами по полу, поджимая губы, закатывая глаза и фыркая то направо, то налево.

— Ах, оставьте меня, пожалуйста! Я не заводска, не деревенска, а слободска, городска, орсбургска! Ах, не щиплите меня, не троньте, не щекотите! — взвизгивала она, а бабы покатывались со смеху.

Все они с удовольствием смотрели, как ловко Настя изображает городскую щеголиху.

Глава 5

ГУРЬЯН

Над рекой, над обрывом старый барский дом с фронтоном и колоннадой, оградка, сад. Ржаво-желтые кремнистые утесы падают от его изгороди прямо к воде. А дальше по берегу сосновая роща, потом березник. Река как бы опоясывает тут всю гору с Верхним поселком, с барским домом и с березовыми и сосновыми рощами. Внизу плотина и рядом с ней мост, по которому рабочие ходят на завод. А на той стороне видны доменные печи, сараи, склады, груды руды.

Слышится пение рабочих, тянут «Дубинушку». У моста забивают сваи.

Кипят водопады у плотины на сливном мосту, а дальше река несется вся в пене, бушует и волнуясь, как на камнях.

Правей огромный синий пруд, а за ним Нижний поселок — целое море сухого почерневшего дерева, дощатых и бревенчатых крыш и заплотов.

А за поселком темно-зеленые горы в густых сосняках, а дальше — горы синие, а еще дальше — голубые.

Настя знает, что река Белая вытекает из тех хребтов, что там дремучие леса и в них курени. Там жгут уголь. В горных долинах — луга. Скоро на покос ехать. Захар и Настя сами косят. Фекла и Санка поедут с ними. Там углежогги томят в кучах уголь для заводских печей, и когда едешь на покос, то навстречу попадаются длинные обозы. Черномазые рабочие везут уголь на завод в коробах или прямо на широких телегах.

На заводе все нравится Настасье.

Росла она у отца на степной заимке, носилась по ковыльному полю на диких конях, пахала, жала, ходила за скотом. Никогда не видала она завода, а на синие горы за степью смотрела, бывало, только издали. Чуть виднелись они слабыми полосками, как восходящая туча.

Настя с детства слышала от отца про железные заводы. Бывало, с уважением толковал он про людей, умевших отковать и плуг, и нож, и оружие.

На заводе жила ее тетка. Однажды летом собралась к ней Настя погостить — и зажилась. Отец не неволил любимую дочь. «Коль нравится, пусть погостит у тебя», — передавал он сестре с попутчиками.

Настя живо познакомилась на заводе с девушками. В березовой роще у ограды господского почти пустого дома собирались они летними вечерами, пели старые песни. Новые, мещанские, городские еще не дошли до глухого завода.

Бывало, стоит Настя над обрывом и подолгу смотрит на зубчатые горы, на широкий пруд, слушает звон и лязг, несущиеся с той стороны реки из-под широких черных заводских навесов на столбах.

«А у нас в эту пору все солнцем пожжет, степь пожелтеет», — вспоминает она, и сердце нет-нет, да и затоскует по скудной, но милой и родной сторонке. А с завода уехать не хочется.

Запоют девушки плясовую, и выступит Настя, выйдет в круг, разведет концы платка, и уж все взоры на ней.

Заводским парням понравилась Настасья. Они приносили ей гостинцы, звали погулять. Настасья гостинцев не брала, от подруг не отходила. Парни играли ей на балалайках, выбирали в хороводах.

— Ты еще на заводе поживешь, тебе от наших парней отбою не будет, насмешливо говорили ей подружки

— У нас женихов отбиваешь, лучше поезжай к себе в степь,— полушутя говорила маленькая, пухленькая Олюшка Залавина.

— А что это звенит?— вдруг насторожившись, спрашивала Настя.

— Это кричный молот бьет. Да разве ты не знаешь?

— Да тот раз будто не так бил.

— Тогда мастер не тот работал. Каждый по-своему! Это Гурьян Гурьяныч робит.

— Посмотреть бы!..

— Эка невидаль!

— В заводе дым, копоть, окалина.

— Я в степи жила, кроме киргизов и верблюдов, ничего не видела.

— Хочешь, так ступай на завод робить. У нас есть девки-конононы.

— В заводе не робила, так любо тебе. А ты бы по-нашему с тачкой... Мы гоняли!

— Слава богу, что вырвались!

— При крепостном бы век скоротали в этом заводе.

В пруду поднимали воду. Плотину закрыли. От сливного моста Белая текла слабым ручьем. Из-под воды выступили камни.

Под вечер, в праздник, под скалами, у самой дороги, рассевшись на траве и на камнях, парни играли на бандурках и горланили песню.

— Ах, как тонко Мишутка выводит!— восхищалась Оленька.— Он у нас в церкви поет.

— Пойдемте к нам, девушки,— звали парни. У них наверху составил свой хор.

— А Мишка нравится тебе?— спрашивала Оля у Настасьи.

— Нет!

— И все ей не нравятся!

Подруги пошли вниз к мосту.

— Так не люб тебе Мишка?— дспытывалась Олюшка.

— Нет, не люб,— отвечала Настя.— А вот это кто идет?

— Это с кричных...

— Твой жених идет!— с насмешкой крикнула Ольга, и девушки бросились врассыпную.

— Берегись его! Это Гурьян Гурьяныч, сейчас забалует...— закричали они Насте.

С моста в гору брел черный от копоти темно-русый лохматый мужик богатырского вида, в рваной, прожженной одежде.

Настя не побежала. Она искоса улыбнулась, глядя на заводского мастера. Тот раскрыл глаза широко, сверля ее взором, а она, закрывшись краешком платочка, вдруг прыснула со смеху. Лохматый молодой богатырь, пройдя несколько шагов, остановился и оглянулся назад.

— Настя, беги!— кричали рассыпавшиеся по скалам девушки.

Но Настя не уходила. Чуть не целую минуту стояли они, безмолвно глядя друг на друга. Настя — стройная, с лицом бело-розовым, тугим, что называется кровь с молоком, с кораллами на белой шее, с деланно наивным, озорным взглядом голубых нежных глаз. И Гурьяныч — лохматая и темная громадина, словно куском черного железа выкатившийся от всех этих гремящих за рекой печей, из-под навесов.

Настасья прошла мимо, не глядя на Гурьяныча. И тот, как бы удивившись чему-то, покачал головой и пошел своей дорогой.

— Так что же его бояться?— все с той же наивностью спросила подружек Настя. — Он совсем не страшный.

— Вот так «не страшный»! Это тебе обошлось! Погоди, он забалует в другой раз, сажай измажет. Ты не гляди, что у него борода, он еще молоденький, только лохматый, как медведь, из него волос лезет, как из зверя.

— Видишь, его прозвали Гурьяныч, как мужика, хоть ему еще и с парнями можно на улице водиться.

Девушки рассказали, что Гурьян в самом деле молод, ему еще нет и тридцати, и что жил он со старухой, дальней родственницей, да та померла.

— У них вся семья перемерла. Сам он из староверов, но с башкирами якшит — дружит, по-нашему. Свою старую веру позабыл, только за бороду еще держится.

Настя уже слыхала, что староверы с башкирами сходятся; для них что никониане, что мусульмане — один черт.

— Ох, он и здоровый! На ярмарке медведя поборол.

— На пруд купаться ходит. Люди видели, сказывают, как медведь, смотреть страшно,— рассказывала Олюшка.

— Ах, стыд какой!— завизжали девки.

— Этот Гурьяныч, по прозванию Сиволобов,— первый мастер на заводе и всех старых превысил.

— Он не вдовый?— спросила Настя.

— Нет, холостой... А тебе что?

— Да просто так,— не смущаясь, ответила Настя.

— Нет, уж, видно, тебе понравился.

Тут Настя покраснела.

— Как, не боишься?

— Да он, видать, смиренный.

— А погляди, как он на башкирских праздниках бушует. Начнет на сабантуе бороться, кидает людей о землю.

— Ты не видала, как башкиры на празднике с завязанными глазами палками бьют горшки? Это у них разные игры такие. Башкиры орут, обвяжут ему лицо — смотреть страшно: все боятся, что он подглядывает. Все равно Гурьян как дубиной размахнется — черепки летят.

— Что же тут худого?

— А ты что заступаешься?

— Да просто так.

— Вот смотри, скажем ему...

— На гулянку придет — половицы ходуном ходят. У Завалиновых на свадьбе гопнул — доски в подполье продавил.

На другой день Гурьяныч, умытый, в новой рубахе, пришел, сел на камень на лужайке и стал смотреть на девушек.

— Ты только не балуй,— говорили ему.

Он смешно почесал бороду.

— Жениться будешь?— подсела к нему Олюшка.— Возьми меня. Нравлюсь?

— Все хороши...

— Эх, Гурьян, что я знаю... Хочешь, тебе скажу? Только смотри, молчи, не подавай виду.— Олюшка прыснула.

Лицо Гурьяна обмякло.

— Ну, скажи, скажи, чего давишься?

— Кудиновых племянница в тебя влюбилась... Настька! Ей-богу!

Олюшка лукаво взглянула на мастера.

— А тебе нравится она?

Гурьяныч нахмурился и вдруг, подняв лицо и почесав нос кулаком, подмигнул.

— Еще не знаю! Надо приглядеться.

Однако заметно было, что он сильно смущен.

Девушки обступили его.

Ольга вдруг схватила Настю и подтолкнула ее вперед.

— Ну вот, посиди с ним.

Девушки быстро переглянулись и вдруг со смехом разбежались во все стороны. Даже обычно смиренная Катюша Запавкина, сидевшая напротив Гурьяныча на другом камне, сорвалась с места и умчалась на скалы, как горная коза.

— Посидите вдвоем!— радостно крикнула она сверху.

Настя, нимало не стыдясь, что осталась вдвоем с Гурьяном, присела с ним рядом.

— Скоро уж плотину откроют, вода пойдет,— сказал Гурьян.

Разговор с плотины перешел на завод, потом на доменную печь. Стал Гурьян рассказывать. Откуда только взялись слова!.. А Насте любо слушать. В разгар беседы вернулись подружки, и у Гурьяна вдруг язык отнялся.

— Ну, я пошел! До свиданьице!— поклонился он, снявши картуз.

Девушки диву дались.

— Он уж из-за тебя и кланяться научился,— изумленно сказала Олюшка.

На Ивана Купалу стояла жара. Девушки бегали друг за другом с ведрами, обливаясь.

Настя заметила, что из-под обрыва в конце улицы появился Гурьян. Он опять брел с завода.

— Погодите-ка, подружки,— сказала она и побежала к колодцу. Набрала ведро воды и притаилась за воротами.

Девушки играли у забора как ни в чем не бывало. Настя смотрела в щелку. Когда в просвете мелькнула русая борода, она толкнула калитку, в два прыжка догнала Гурьяна.

— Что, Гурьян Гурьяныч, жарко?— воскликнула она и обкатила его с головы до ног.

Мокрый Гурьян погнался за ней. Настя весело пустилась наутек. Оглянувшись, увидела она, что мужик догоняет. Настя кинулась в переулок.

Тут место глухое. Слева шел высокий забор, справа — огороды, вдали чернела чья-то баня.

— Не смей трогать,— с оттенком каприза сказала девушка, останавливаясь.— Смотри!..— добавила она строго и серьезно.

Гурьян вдруг обхватил ее своими тяжелыми руками, прижал к себе и крепко поцеловал в губы.

— Да ты с ума сошел! Ах ты!..

Стыд вдруг охватил девушку. Она ударила его кулаком в грудь и вырвалась. Перескочила поскотину и, забравшись в зелень овощей, остановилась.

— Гляди, как окатила меня,— сказал Гурьян.

Грязная вода капала с его рубахи на жерди изгороди.

— Пропусти, а то поссоримся,— сказала она.— Отойди подальше, а я пойду домой.

Мастер обтер лицо сухим подолом рубахи.

— Смотри, в другой раз уташу и выкупаю в пруду!— сказал он, но отошел покорно в сторону.

Она вылезла из огорода и побежала обратно. У перекрестка остановилась. Он был далеко. Ей стало обидно, что он ушел, не попрощавшись и даже не взглянув на нее.

— Гурьян!— махнула она платком, а когда он оглянулся, скрылась за угол.

Вскоре все заметили перемену в Гурьяне. Он остриг бороду покороче, купил новые сапоги.

— Тебя степная Настя заворожила. Мы знаем: ты для нее стараешься,— говорили ему девушки, когда он приходил посмотреть их хороводы.

— Верно говорят — слово не стрела, а хуже стрелы,— смущали его девицы.

С Настей он помирился. Иногда они разговаривали.

— Ну, расскажи мне еще что-нибудь про завод...— говорила она, садясь на траву.— Ты, сказывают, тайное слово на железо знаешь?

— Это врут. Не слушай. Никакого тайного слова не знаю. Его и нет. Вот я тебе кедровых орехов в тайге набил. На-ка!

— Ты что, лохматый, шепчешь ей тут?— подходя, спрашивали Настины подружки.

— Ну, наговорились?

— Еще ни о чем не говорили,— отвечал Гурьян.

Он звал Настю вниз, под обрыв.

Однажды Гурьян нарвал цветов и принес Насте.

— Кому это?— спросила она, как бы удивившись.

— Тебе. Помни, как на Белой прохаживались. В степь-то вернешься...

Настя понимала, что жизнь Гурьяна мрачна, полна тяжелого труда и что лишь изредка бывали у него радости. Что никакой он не безобразник, а просто ему скучно, вот и балует он, как малое дитя. И ей приятно было видеть, как этот большой и сильный человек, буйный, видно, по натуре, становится кротким.

В воскресенье Гурьян удивил весь завод, явившись на пруд в новых сапогах. Эти были не самодельные, а городские, какие-то особенные.

— Гляди, дивные эти сапоги,— толковали парни.— Разные! Диво! Правый от левого отличается. Как ноги! Есть правый, а есть левый. Не похожи друг на друга, как у господ!

— Вот, видать, его проняло! Какие сапоги себе достал!..

Гурьян заметил девушек, среди них была Настасья. Вдруг он ушел на плотину, которую в тот год поправляли. В праздник работы там не было, и чугунная баба для забивки свай стояла на мосту. Бабу эту во время работы с трудом поднимали четверо сильных мужиков. Гурьян подошел к ней, постоял, подумал и вдруг, взявшись за рожки, поднял на глазах у всего завода эту бабу и несколько раз до отскока ударил по незабитой до конца свае. И затем, как ни в чем не бывало, поставил ее на место.

Однако тут же все наблюдавшие эту картину заметили, что Гурьян озабоченно нагнул.

Люди догадались, что хвастовство Гурьяну не обошлось даром, что у его новых городских господских сапог от необычайной тяжести бабы осели подборы.

— Куда ты? Эй, стой!— кричали ему, когда Гурьян быстро пошел с моста, направляясь в поселок.

Парни догнали его и схватили, но он развел руками, и все повалились.

— Некогда, ребята, надо скорей пойти каблуки подбить, прифорситься!

— Эй, каблуки испортил!

— Это он из-за тебя, перед тобой отличиться хотел,— нашептывала Олюшка своей подружке.

А на другой день Гурьян промчался по улице на диком коне, и уж все знали, что, значит, у него в гостях друзья башкиры.

— Он, как степняк, на конях скачет,— говорили про мастера,— а свистнет, как Соловей Разбойник, хоть ставни прикрывай.

У дома, где жила Настасьина тетка, Гурьян на всем скаку поднял коня на дыбы, хлестнул нагайкой, еще раз хлестнул и стал гарцевать, потом пустил его в мах, вихрем перелетел через чью-то распряженную телегу, стоявшую посреди улицы.

Он загоготал, как леший, и конь в безумном страхе умчал его вдаль.

— Кто это?— выходя за ворота, спрашивали люди.

— С кричных!— толковал какой-то старик.

— Ишь, вспылит улицу...

— Шайтан! Чисто шайтан!..

Гурьян снова примчался.

— Что ты, нечистый дух, делаешь?— подымаясь из-за забора, окликнула его Олюшка.

— Конь горячий! Не слажу... Здравствуй, свет,— поклонился Гурьяныч Насте.

— Здравствуй...— отвечала та, стоя рядом с подругой на бревнах выше забора.

Гурьян подъехал вплотную и протянул ей через забор руку.

А в завод вернулся из поездки молодой торгаш Захар Булавин. Настя про него слыхала и все как-то тайно ждала, каков окажется этот Булавин.

Захар сразу понравился Насте. Он человек обходительный, бывал в разных местах: на ярмарках, в городах. С ним интересно поговорить. Он рассказывал много любопытного, и про завод говорил складней Гурьяна. И был он силен; все говорили, что тоже богатырь...

Настин интерес к Гурьяну, казалось, исчез так же быстро, как и появился. А тут еще родные стали говорить, что Булавин станет ее сватать, что лучшего мужа ей желать не надо, и понемногу она свыклась с мыслью, что это ее судьба и ее счастье на всю жизнь.

Осенью Настя уехала домой в степь, и вскоре Захар действительно прислал сватов.

А весной Настасья приехала на завод и стала сама хозяйкой.

Стала она жить за бревнами пятистенного дома и за спиной мужа, как за каменным хребтом, в собственном доме, где чисто, уютно и все есть.

Но первое время часто скучала молодая жена. У Захара близкой родни нет на заводе. Сам он больше в разъездах, и Настя все одна. Знакомые у Захара люди уж немолодые, все толкуют про дела, про товар, а жены их о том, что еще в богатом доме завести надо, что к богатству прибавить.

Подружки Настасьи повыводили замуж. Некоторые заискивали перед ней, и это было неприятно. Другие держались просто, но были заняты семьей и хозяйством.

Один раз, вернувшись из далекой поездки, сказал Захар жене:

— Давай, Настя, я буду тебя грамоте учить. Все веселее будет.

Прошел год. Настя научилась читать и писать. Захар стал привозить ей книжки.

Иногда встречала она Гурьяна. Он всегда ходил по их улице на завод и обратно. Теперь уж она знала все о его работе. Муж водил Настю на завод, показывал и домны, и кричные молоты и сам хвалил Гурьяна, называл его наипервейшим мастером.

— Ну как, купчиха?— бывало, спросит Гурьян весело, а у самого глаза глядят грустно.

И вспомнит Настя, как перед отъездом на заимку виделась она с Гурьяном и как спросил он ее глухо и грустно: «Ты теперь за Булавина выйдешь?»

С тех пор как Настя вышла замуж, над Гурьяном подсмеивались, что хотел урвать не свое: «кусок не по рылу».

Жаль было Насте этого могучего человека. Стал он еще угрюмее, чудаковатей.

Но ни разу Настасья не пожалела о своем замужестве. Да и как жалеть... Муж у нее молодой, разумный, пригожий. Ей нравилось будто невзначай напомнить про Гурьяна: видела она, что муж немного ревнует, огорчается, а после, кажется, горячей любит.

Глава 6

ЗАВОД

«Верховой» Максим Карпыч Оголихин — могучий, тучный мужик с багровой, гладко выбритой физиономией и с короткими черными усами — затосковал. Оголихин управлял всеми работами, был строг и требователен, умело следил за порядком и знал дело до мелочей. Недаром говорили, что завод у него в кулаке. Он сам мастер на все руки, тяжелым трудом вышел в люди, с детства бывал бит жестоко и теперь сам никому не давал пощады. Он знал, что может сделать на заводе все, что захочет, лишь бы только захотеть.

Но иногда на него нападала тоска, и тогда он напивался. Правда, он знал, что если и накуролесит, изломает что-нибудь, изобьет кого-нибудь, то все равно сладит со всеми прорехами, все исправит, когда будет трезв и когда сгинет скука. Напиваясь, он приходил на завод и начинал придира́ться. И тем страшнее были придирки, чем пьяней был Оголихин.

На этот раз отправился он в кладовую к магазинеру*.

Оголихин залез в кладовую, как в медвежью берлогу, наклонив голову и зорко всматриваясь, словно ловил врага или зверя. Без лишних слов он приступил к делу, и вскоре послышался шум, бранные слова, крик кладовщика, и к складу сбежался народ.

Весть о том, что «верховой» бушует, быстро пронеслась по заводу. Даже явились рабочие от ворот, около которых били обожженную руду молотками и накидывали ее в тележки вместе с древесным углем и известняком, а потом по широкому помосту везли на плавильные печи. Только «засыпки» — «верхние» рабочие, валившие с помоста руду в печи, хотя и слышали о событиях, но работу не оставляли, так как печь требует своего непрерывно.

Из-за притворенной двери слышались отчаянные крики кладовщика.

* Так называли в те времена заведующего складом.

Оттуда выскочил мальчишка.

— Крестного-то моего Максим Карпыч обижает,— заплакал он.

— За что?— спрашивали рабочие.

— Да, видишь ли, велел нам вчера на помощь выходить, возить ему бревна, а крестный не пошел. Послал соседа. Максим-то сегодня и осерчал.

— С похмелья бушует,— говорили рабочие.

— Какой с похмелья! Он только сегодня начал...

За дверью стихли. Магазинера не любили. Человек это был продувной. Магазинер сам «выходил в люди», построил новый хороший дом, разжившись с краденого. Но дикая драка, как всегда, удручала. Ничего хорошего не было, что «верховой» опять распоясался.

Вдруг дверь скрипнула и потихоньку отворилась, из нее вышел,— вернее, вылез — сам Максим Карпыч. Он встал перед толпой, обвел всех мутным взором, криво усмехнулся и спросил:

— Что скопились, мужики? Разве солнце село? Работа закончилась?

Он часто сопел, его рыжеватые, стриженные в кружок волосы растрепались. Видно, он устал, колотивши Ваську-магазинера. Тот с синяками у глаз высунулся из двери.

Рабочие угрюмо молчали.

«Верховой» вздрогнул, словно его передернуло, тряхнул головой, как ошалелый бык, схватил за холщовую рубаху ближайшего рабочего и заскрежетал зубами.

Порфирий, невзрачный мужичонка из кричного сарая, пришел к магазинеру по делу. Тут в кладовой рабочим выдавали бирки за выполнение «урока», а также хранились подмазки для колес, фонари, свечи, инструменты. Когда за дверью загремело железо — видно, «верховой» кинул Ваську на листовые полосы,— Порфирий понял, что сегодня ничего не получишь, но не ушел из любопытства. И вот вдруг Оголихин наскочил, вцепился ему в рубаху и держал Порфирия крепко, как клещами, как умеет держать человек сильный и властный. Порфирий задрожал от страха и залопотал что-то невнятное.

— Ну, ребята, давай бог отсюда!— крикнули сзади, и толпа шарахнулась в разные стороны.

— Порфишка к тебе пришел постегаться,— обращаясь к Оголихину, засмеялся мастер Запевкин.— В ученье давно не был.

Казалось, «верховой» поступил милостиво. Он разжал пальцы и легонько оттолкнул мужика ладонью, как бы отпуская его. Но тут же сразу шагнул вперед и ударил Пор-

фирия кулаком в зубы так, что тот опрокинулся на чугунный пол.

— Зубами рвать буду!— заревел Оголихин, кидаясь вслед разбегавшимся рабочим. Его громкий, надтреснутый голос загремел на весь завод.

— Это зверь! Зверь, а не человек,— спотыкаясь, кричал какой-то старичонка в меховой шапке.

«Верховой» остановился, потом махнул рукой и пьяно пошел обратно в кладовку.

Порфирий поднялся и поплелся к стоку от водяных колес. Он присел на корточки и стал мочить разбитые губы. Зуб у него был сломан, Умывшись, Порфирий вернулся в кричную, туда, где работал Гурьян...

Кричные молоты двигались водой. Старинная уральская техника была проста. Перегораживали реки, копали котлованы, устраивали большие пруды. «Огненные заведенья» ставились ниже уровня пруда иногда на несколько аршин, чтобы рабочие колеса двигались силой падающей воды.

Через «дворец» и решетку вода поступала в хранилище. Оттуда к колесам текла она по толстым деревянным трубам, у которых работали «водяные» — старики, отгоревшие свой век на огненной работе и переведенные на легкий труд.

«Водяной» отворял дверцу, водопад бил по плитам — колесо вертелось. От вододействуемых колес по валам вращались «сердечники» — рабочие колеса с деревянными зубцами на ободе. Такие зубцы, или, как их называли, «кулаки», зацепляли рукоятку молота, поднимая его вверх. Кулак проскальзывал рукоятку — молот падал. Второй зубец снова поднимал молот; и так работа происходила все время, пока лилась вода.

Работали тут по старинке и не торопились обзаводиться лишними машинами. Завод и так давал доход. Хозяин его в Петербурге жил и удивлялся, как это вопреки рассуждениям политиков — знатоков рабочего вопроса и экономистов — самым доходным его предприятием представлялся старый заводик с допотопным оборудованием и крепостными порядками. Сам барин был европеец и либерал.

— Мой завод — это артист, художник, — не раз говорил он в обществе.— Я даю железо лучшее, чем французские и немецкие заводы.

Над ним смеялись, не верили.

Порфирий, работавший подручным кричного мастера, прошел в горновой сарай, где меж огромных кожаных мехов

пылали горны. В кирпичных углублениях разогревали чугунные штывки. Заваливая их горячим древесным углем, дули вододействуемыми колесными мехами доменный «дух», подведенный по трубам от плавильных печей.

В разжиженный чугун добавляли «чушку» железа, и когда варка становилась светло-красной, ее слегка охлаждали и сбивали в крицу, или, как называли уральцы, в «жука». К приходу Порфирия «жук» был готов.

Гурьян, подойдя к горну, оглядел «жука» и уже хотел было сказать, чтоб везли железо к молоту, но замер, заметив обезображенное лицо Порфирия.

— Опять Жировой диковал?..

Рабочие испуганно поглядели на мастера.

Жировым прозвали Оголихина в детстве. Мать его спустя несколько лет по уходе мужа в солдаты родила мальчика. В заводе по этому случаю было много сплетен и пересудов. Солдатку Лукерью не любили за своевольный нрав. Мальчика прозвали Жировым, как зовут яйца без зародышей, снесенные курицами без петухов.

Оскорбительная кличка преследовала мальчика долгие годы. Мать умерла рано. Детство прошло в услужении чужим людям. Жизнь на побегушках, труд из-под палки, постоянные издевательства и оскорбления озлобили подростка, развили в нем, наряду с энергией и настойчивостью, жестокость и ненависть к окружающим. В эти лета многие корили его грехом матери.

Шестнадцать лет Максим начал работать на заводе. Кличка еще преследовала его, но уже многие побаивались его силы и вспыльчивости.

В двадцать лет он стал хорошим рабочим, в двадцать восемь — мастером, а в тридцать пять — «верховым».

Войдя в силу, превратившись из Жирового в Максима Карпыча, он начал мстить людям, что было для старшего мастера при крепостном праве делом нетрудным.

Он не брезговал наказывать крестьян собственноручно.

С тех пор прошли годы. Рухнуло крепостное право, но Максим Карпыч дрался по-прежнему. Он забрал в свои руки все управление заводом.

Сам он знал все работы, мог показать, что и как делать у кричных и у горнов.

Оголихин не упускал случая поиздеваться над молодыми ребятами, которых впервые, с причитаниями и благословениями, приводили в заводской двор матери. В первый день, как правило, новичок уходил битый.

Рабочие пытались жаловаться, но барин, живший в Пе-

тербурге, и управляющий не обращали на жалобы внимания.

В былые годы Гурьяныч стерпел от Оголихина множество оскорблений и угроз, но с тех пор, как он возмужал, оброс бородой, прославился смелостью и силой и в кулачных боях и на работе, Максим Карпыч его не трогал. Только один Гурьян Гурьяныч и называл его Жировым, словно не понимая, над чем он глумится, и лишь желая показать, что не унижается перед драчуном. За это слово Оголихин изуродовал бы любого, но Гурьянычу все обходилось. Драться с ним Оголихин не решался: Гурьяныч постоял бы за себя. А убить его или затравить, выгнать с завода Оголихин не смел. Гурьяныч был одним из тех мастеров, которые доставляли заводу международную славу. И все же рабочие пугались, когда Гурьяныч произносил запретное слово. Так было и теперь: подручные мастера переглянулись и смолкли смущенно.

Гурьяныч наклонился к разбитому лицу Порфирия, оглядел кровоточащие ранки.

— Ты ступай домой, управимся тут и без тебя. Кто спросит, скажи, я отпустил... Ну, подавай «козу», вали кричонка,— обратился он к подмастерьям.

«Козой» называл он тачку.

Приступили к работе. Ком железа вывалили на окованную тачку, повезли из сарая. Мастер взял огромные клещи и зашагал рядом.

За горновым сараем, у самой плотины скрипели заплеванные колеса, гроыхали кричные молоты. Рабочие тянули огненные полосы.

У колеса Гурьяныч схватил клещами многопудовую крицу и втащил ее под молот. Пустили воду. Со скрипом, медленно тронулось колесо. Многопудовая балда соскользнула березовым черенком со шпынька, рухнула.

Окалина разлетелась в стороны, обжигая лица столпившихся рабочих. На работу лучшего мастера собирались смотреть молодые мужики, учившиеся у него кричному мастерству. Любо глядеть на такую отковку!

Пока молот поднимается вверх, Гурьяныч успевает перевернуть крицу, второй удар — поворот, третий — опять поворот.

Рубашка у Гурьяна намочла, по лицу течет пот, а утешиться некогда. Мастер оттягивает железо. Вот из-под его рук выходит знаменитая «азиатская полоска», за которую бухарцы не жалеют серебра, дорогих тканей, отдают скот, ковры, верблюдов.

Этот самый сорт железа возит на меновые дворы купец Захар Булавин.

Идет кричное железо в разных переделах и в Россию. Весной из заводской гавани, по половодью, открыв плотину и спустив пруд, отправляют сплавом потесные барки с железом. Плывут они в Белую, в Каму.

От устья Камы по Волге бурлаки тянут его в Нижний Новгород, где и продается оно вместе с барками.

В старину это мягкое и ковкое «древесноугольное» железо, говорят, закупали английские купцы. Знают это железо на Иртыше и у алтайских калмыков.

По ковке видно полоску Гурьяна Сиволобова, перенявшего «тайну» от отца. Его железо особого сорта, и полоски эти на заводе называют «гурьяновками». Но в чем секретковки, подметить трудно, а если спросишь, про то мастер не скажет. Таков обычай... Кто приметлив — гляди сам... А то в другой раз Гурьян возьмет и всех разгонит.

— Чего не видали? Ну-ка отсюда, живо!— Да подставит полоску так, что на зрителей хлынет, полыхнет из-под молота дождь огня.

... Молот бьет и бьет, полоса удлиняется, подхватывается рабочими на железные крючья, соскальзывает с наковальни и оттаскивается стынуть на чугунные плиты под навес. «Водяной» дед Илья отвел воду, колесо встало, и молот остановился.

Гурьяныч швырнул клещи, загремевшие по чугунному плитняку пола, и уселся отдыхать на старую станину от кричного молота.

Устало и хмуро оглядел навесы на деревянных столбах, горны, черный тын, сумрачное небо...

По соседству рассаживались курить кричные рабочие, закончившие отковку на других молотах.

— Как магазинер-то, жив?— спросил Гурьян.

— Ходит... Морда разбита, рубаха в клочья...

— В беспмятстве лежал, воду ведрами таскали.

К станине подошел худой рудобойщик Никита.

— Степка,— обратился он к молодому курносому мужику с рыжей бородой,— баба тебе обед принесла, а Оголихин заташил ее в магазинерову конторку и балует...

Рыжебородый вскочил и, казалось, растерялся.

— Братцы, как же теперь?— спросил Степан.

— Ну, пропало твое дело,— подшутил кто-то.

— Ступай, поклонись, попроси не баловать...

— Иди,— сказал Гурьян,— иди живей.

Степан недавно повенчался со скромной девушкой, дочерью плотника, который жил верстах в двух от завода, где летом на пологом берегу реки строили сплавные барки.

В обед Степану далеко было ходить домой, и жена носила ему щи на завод.

Задетый за живое, он смело вбежал в конторку. На скамейке у печи Максим Карпыч сидел напротив загнанной в угол Марфуши.

Когда дверь открылась, Оголихин оглянулся.

— Тебе что?— грубо спросил он Степана, как чужого и ненужного здесь человека.

— Жена мне щи принесла,— сказал твердо молодой рабочий, хотя и побледнел.

— Хе-хе,— отозвался «верховой» и осклабился, видно, еще что-то надумав.

Между тем Марфуша, улучив удобный миг, выскользнула из своего угла, а затем и вовсе из кладовки в дверь. Оголихин хотел ухватить ее за платье, но не успел. Мужики остались одни. Оголихин поднялся и заступил Степану выход из конторки. Потом он угрожающе шагнул к нему два шага, так что тот попятился.

На столе в чистом платке лежал каравай хлеба, принесенный Марфушей. Оголихин развязал платок, потом взял нож, отрезал горбушку, достал из-под лавки ведро с дегтем. Он обмакнул в деготь кусок хлеба, тщательно обмазал его со всех сторон и сунул Степану в руки.

— Подкурного медку... Искушай на доброе здоровье. Прости, уж чем бог послал...— И «верховой» поклонился чуть не до земли.— Хочешь, на коленки встану, Христом богом попрошу?

— Не томи, Максим Карпыч,— с сердцем сказал мужик, беря ломоть в руки,— не пытай... Я тебе ужогу... Честью отслужу...

— Не обессудь,— со слезой в голосе продолжал Оголихин.— Горд ты, унижаешь меня.

Он вдруг умолк и, быстро шагнув к двери, приотворил ее. От нее метнулась Марфуша, стоявшая у косяка. Она заплакала горько и тревожно, чувствуя, что мужу из-за нее беда.

— Ох, твой-то какой спесивый,— высовываясь, сказал ей Максим Карпыч.

Она закричала, как бы созывая людей.

Максим Карпыч живо захлопнул дверь и обернулся к Степану.

— Ешь!— сжимая кулаки, задрожал он, и лицо его побагровело еще гуще.



В этот миг казалось, что его пьяные, светлые глаза совсем белы.

— Ты что?— отчаянно закричал молодой рабочий.

— Ах, ты!— вскричал Оголихин, хватая его и пытаясь втолкнуть ему кусок хлеба с дегтем в рот.

Дверь распахнулась настежь. В конторку вошел Гурьяныч.

— Ты что, Максим Карпыч?— тихо спросил он, ссутулившись под низким потолком.

Максим Карпыч сощурился и хотел что-то ответить, но тут Гурьяныч поднес к его носу свой огромный заскорузлый кулачище.

— Степан, духом вон...— сказал он своему рабочему, заслоня грудью и руками «верхового».

Степка быстро вышел.

Оголихин попятился. Гурьяныч взял горшок со щами, который принесла Марфуша, собрал в свою шапку хлеб и ушел из кладовки. Степана и Марфы след простыл.

Через несколько мгновений послышались шаги за спиной. Гурьяныч оглянулся. Максим Карпыч догонял его.

Прошли рядом молча, шагов двадцать.

— Ну уж, погоди... попомнишь меня...— вдруг сказал Оголихин.— Я тебе этого никогда не забуду...

— Что же ты мне не забудешь? А я бы к тебе в дом пришел или бы поймал твою жену на улице или дочь твою да стал бы ее этак тискать? Ты бы что сказал?

— Мою дочь? Ах, ты... Ну, погоди!.. Надену на тебя железные путы,— зашипел «верховой».

Мастер остановился, поднял глиняный горшок. Мужики, тащившие мимо полоску, замерли, завидя, что Гурьяныч замахнулся и, видно, хочет надеть горшок со щами на «верхового».

Максим Карпыч вдруг обтер лицо ладонью, как бы снимая что-то с лица. Казалось, он опомнился.

— Ты ловко мне попадешь — убью!— тихо сказал он.— Вот как перед истинным! Ты думаешь, ты мастер хороший, так тебе все прощается? На куски зубами рвать буду.

— Как придется,— кротко ответил Гурьяныч.

— Бил и буду бить, и никто на божьем свете мне не окажет препятствия. Я захочу — и любого произведу в колоду, потому что я тут поставлен...

Гурьяныч молча уставился на него, как бы сожалея, что умный человек несет такую чушь. Оголихин не выдержал этого взгляда и, отшатнувшись, повернулся и, покачиваясь, побрел прочь с заводского двора.

Гурьян принес обед к молоту, где у одного из столбов, державших навес, на чугунном полу тихо и печально сидели рядом Марфуша и Степан. Видно было, что на душе у них тяжело. Оба ждали теперь беды и для себя и для родных, и не знали, как пойдет дальше жизнь, если «верховой» их возненавидит. Боялись его издевательств, ждали мести... Страхом пытал «верховой» своих рабочих еще больше, чем кулаками.

Глава 7

СТАРЫЕ ДРУЗЬЯ

Теплый летний вечер окутал мглой ветхие лачуги на окраине заводского поселка.

У крутого оврага улица кончалась старым, полуразрушенным сараем. Здесь нужно было свернуть за развалины и пройти шагов полтораста между обрывом и огородами. Подле высокой кривой березы, сохранившейся от былых зарослей, стояла покосившаяся изба Гурьяна. Когда-то было тут красивое место. Тогда и речка была полноводней.

С тех пор как у Гурьяна умерла родственница старуха, соблюдавшая его домашность, изба холостого мужика понемногу заросла грязью и паутиной. Изредка заходили к нему двоюродные сестры или жены его братьев, приводили все в порядок, но без постоянного присмотра порядок долго не держался.

Среди крестьян поговаривали, что Гурьян дружит с башкирскими разбойниками, а отцу Никодиму даже пожаловались однажды, что мастер ездит молиться в мечеть, даром что старовер.

Гурьян действительно водил дружбу с башкирами. Отец Гурьяна, крепостной заводской крестьянин, однажды заболел; он говорил тогда, что если поблизости есть горячее железо или жидкий чугун, то у него «плавится» сердце. Болел он долго, к работе стал непригоден, и управляющий отпустил его «на кумыс» к башкирам. Вся семья переселилась в горы. Как-то у башкир потерялся малец, любимый сынок. Старший из русских ребят искал и нашел его у родника верстах в шести от куреня. В тот же день принес он на руках найденыша в коши.

Ребенка звали Магсум — это славное старинное имя, как объяснил отец его Ибрагим. Русские же на свой лад стали называть его Могусямом. Имя это так и осталось за мальчиком.

Семья Ибрагима, приезжая в завод, на базар, всегда останавливалась у русских друзей. Отец будущего кричного мастера в те годы, когда ему снова пришлось работать у домен, отдавал башкирским приятелям на выпас свою скотину, ездил с ними на охоту, косил траву на их земле, рубил дрова в их лесу, делал им топоры, сошники из того пуда железа, что давали в год бесплатно каждому рабочему, ковал коней, ладил вилы.

Гурьян с детства умел говорить по-башкирски, мог проскакать на коне, не звавшем седла, охотно пил кумыс, ел крут и биш-бармак. Могусюмка многому учился у русских. Он выучил русские буквы еще в детстве и умел читать и писать.

Однажды Могусюмка должен был сообщить кое-что богачу Хамзе. Он знал, что тот тоже читает по-русски, написал башкирские слова русскими буквами.

И, глядя на письмо, Могусюмка морщил лоб, словно сам удивлялся тому, что придумал. Он чувствовал, что, кажется, сделал открытие.

Башкиры почти поголовно неграмотны: учиться по-арабски могут лишь богатые. Выдумка Могусюмки многим понравилась. Говорили, что дружба с русскими ему на пользу пошла.

Шли годы...

Но вот на заводе случилась болезнь, сгубившая десятки семей. Гурьян уцелел, но остался одинок.

Несчастье постигло и семью Ибрагима. Под старость его разорили богачи-лошадники, братья Махмутовы, продавшие общинные угодья заводу. Старик, потеряв любимых коней, лес и землю, не выдержал и умер. Вскоре умерла старуха. Дочери к тому времени были замужем по разным аулам. Магсум сделался пастухом конских косяков бая Салима Махмутова.

Из табуна однажды пропали кони, в том числе жеребчик с белой прозвездью на морде, любимый хозяином. Бай Салим мечтал о победе на гонках в день сабантуя, когда подрастет конь.

Узнав о пропаже, Салим-бай приехал со своими людьми на кочевку, где тебеневали лошадей. Долго ругали Могусюмку, вырвали и изломали у него курай и пытались избить.

Но тут Могусюм выказал редкую силу и ловкость, раскидал набросившихся на него людей, сбил с коня самого бая.

Молодой удалец бежал за хребет. Вскоре он стал главенцем целого отряда. Магсума и его товарищей богачи назы-

вали разбойниками и боялись их. Редко теперь бывал Магсум в заводском поселке, но Гурьяна по-прежнему навещал.

В день ссоры с «верховым» из-за Степановой бабы Гурьян, возвратясь домой, застал у себя Могусюмку.

... Сумерничали, победав луковой похлебкой. Под божничкой у стола облокотился на колени усталый Гурьяныч. Над столом была видна лишь голова его, заросшая лохмами густых волос. Борода у него росла особенно: вихры торчали во все стороны.

Напротив него на высоком, лаженном для хозяина, табу-рете сидел Могусюмка, черноголовый, с густыми бровями, с носом широким, прямым.

Белый суконный бешмет плотно облегал его стройную фигуру. Остроконечная шапка, опушенная рысьим мехом, валялась на полу подле кадушки. На лавке лежали кушак, нагайка и однозарядный пистолет.

Как не трудно было заметить, Могусюмка сегодня в хорошем настроении.

— Жениться задумал!— сказал Гурьян.

— Ты дедушку Ирназара знаешь?

Гурьян вспомнил. Еще в детстве слышал он про отважного башкирина Ирназара, который был когда-то таким же удалцом, как нынче Могусюмка. Гурьян любил потолковать про знакомых башкир, про урман, про вольную жизнь.

-- Э-э! Да разве Ирназар жив?

— Конечно, жив. Да разве ты не знаешь? Он живет на Куль-Тамаке.

Гурьян хорошо знал все заводские окрестности на много верст кругом.

Могусюм рассказал, что Ирназар ушел в далекие леса и давно живет там, что он старик еще крепкий. Он построился далеко, что туда ни разу не добирался ни исправник, ни урядник. Там выросла у него дочка Зейнап. Могусюмка умолк. Глаза его сощурились. Понятно было, что на Зейнап он и хочет жениться.

— Но там у нас завелся плохой человек. Может быть беда. Он со мною поссорился и хочет мстить.

Сказав это, Могусюмка стих. Никакого признака веселья не осталось на лице его. Глаза сверкнули; видно стало, что он бывает грозен.

— По деревням ездил чиновник, бумагу возил, читал ее, сто рублей обещал тому, кто меня поймает. И вот Гейниатка узнал об этом, стал проситься у дедушки Шамсутдина, будто бы поедет в степь, к родным. Дедушка Шамсутдин ему не родной. Они просто вместе живут. Гейниатка когда-то провинился в степи и пришел ко мне. Я привел его на Куль-

Тамак. И вот соврал он, будто охота ему стариков повидать. Уехал. А потом на перевале встретили меня знакомые, они в город на ярмарку коней продавать гоняли. И вот бабай Ахмет говорит, будто бы он Гейниатку видел, будто тот в город направился. Я подумал: обознался дед, Гейниатке совсем другая дорога. А джигиты говорят — Гейниат плохое задумал, хочет сто рублей получить... И вот поскакали мы в погону. Вечером большой дождик пошел... Ночью у Трофима лесника знакомый парень вышел к нам, Хибетка. Он подле большой дороги охотничает и что увидит — мне говорит. Гейниат его никогда не знал. Хибет сказал: «Рябой парень был, кобыла под ним рыжая. Пока дождь шел, в избе сидел, а к ночи уехал».

— Ну, так и утек?— спросил Гурьян.

— Ночь гнали, да не настигли.

Могусюмка долго говорил о том, как он теперь беспокоится, что Гейниатка проведет тропами полицию на Куль-Тамак.

— У меня оставайся жить, тут тебя никто не тронет,— сказал Гурьян.— У нас полиция из своих же заводских набрана, все твои друзья.

— Э-эй, нет,— засмеявшись, воскликнул Могусюмка.— Здесь печки копят, разве можно жить?

Но в душе он знал пользу завода...

— Много ты понимаешь, «печки копят»,— передразнил его Гурьяныч.

— Шайтана дело! Лучше ты бросай завод, пойдем в урман жить!— воскликнул башкир. В урмане хорошо. Коня дам тебе, как ветер будешь носиться, ружье подарю, кинжал себе скуешь. А то для людей стараешься, а себе не скуешь. В лесу ручеек бежит прозрачный, чистый, холодный. А что тебе тут? Зачем ты здесь живешь? Что тебе тут хорошего? Отец твой в урмане выздоровел. На заводе губите себя.

Он знал о неудачной любви друга.

— На заводе грудь сгорит, харкать, кашлять будешь... А в урмане птицы поют, дичи много, зверь бегаёт, на сосну за сотами полезем, медведя уьем... На Куль-Тамаке старуха мед нам наварит. Да что говорить, ты сам все знаешь.

Наступили сумерки. В избе темнело. Хозяин поднялся, достал с полки сальную свечу, отлитую в домашнем свинцовом льяке. Огонек осветил беленые, но уже ветхие бревенчатые стены, углы, увитые паутиной, божничку с медными староверческими складнями.

— Я, брат, в урман жить не пойду. Твое дело другое, Ты вольный человек. Ты пособляй людям, никто тебя за это не винит, а я буду у железа.

Могусюм встал с табуретки и пошел во двор посмотреть своего коня. Приехав, он спрятал его в стойке.

Кара-Батыр — Черный Богатырь — широкогрудый вороной жеребец с могучими, словно литыми в Каслях*, черными ногами — был любовью и гордостью Могусюма. Жеребенком купил он его у бухарца. Обучил прыгать через заборы, через ямы и размывины, переплывать горные бешеные потоки, карабкаться по крутым тропам.

Разыскав в углу в длинной долбленной кормушке ведро, Могусюм отправился на ключ за водой.

В потемках знакомой дорожкой спустился он под обрыв к мелководной речушке. Из-под косорога сочился ключик и, чуть журча, бежал к ней. В углублении, которое укреплено было со всех сторон толстыми досками, как в маленьком колодце, Могусюмка набрал для своего коня полное ведро родниковой воды и полез на пригорок.

В этот миг все небо осветилось. Над заводом взлетела туча пламени. Задохнувшись «горючим духом», тяжело кашлянула каменной грудью доменная печь. В потоках пылающего газа с грохотом и свистом взвились вверх раскаленные головни. Многие пуды углей и облака искр летели в глубине небосклона, низвергаясь в пруд.

После таких вспышек, случалось, загорались избы у рабочих, а при ветре даже выгорали целые улицы.

«Как шайтан, плюется! — подумал Могусюмка. — Опять пожар будет, опять дома у людей сгорят».

Но он понимал: завод нужен, железо делают хорошее.

... В стойке, прислонясь к косяку, Могусюмка ждал, когда напьется конь. Наконец Кара-Батыр поднял морду. Могусюм убрал ведро в колоду, вышел и завалил дверь у сарая бревном.

Вспышка на домне кончилась, и только зарево от литейной искрилось над избами. Могусюмка затоптал несколько углей, прилетевших во двор, и вошел в дом.

Гурьян по-прежнему сидел, прислонившись грудью к столу, и глядел на горящую свечу.

Могусюмка прикорнул на лавке. Закутавшись с головой в бешмет, он все думал, как быть, если Гейниатка приведет на Куль-Тамак полицию и казаков. Конечно, могло быть, что Гейниат на это не решится, возможно, он вообще убежал, у него воровская, разбойничья душа.

Однажды, спасаясь от погони, очутился Могусюм в незнакомом месте. Лес, заваленный снегом, переплелся в не-

* То есть на знаменитом Каслинском заводе художественного литья.

проходимую чащу. В сумерках завывали волки. Голодная, жадная стая налетела на одинокого всадника. Кара-Батыр ударил копытом, переломил жожаку хребет и помчал Могусюма вниз по отложине увала к долине, где из сугробов желтел сухой трав. Следом за ним вилась добрая дюжина мохнатых, остромордых волчин.

Могусюм сбросил хищникам чепан, выиграл время, пока звери рвали одежду, и ускакал, отстреливаясь из ружья.

Ночью он завидел огонь, спешившись, подошел к камени. За костром, в дупле ветлы спал, завернувшись в овчинный тиртун, старик. Судя по ловушкам для зверей, лежавшим у дерева,—это был зверолов и охотник. Когда Могусюм приблизился, он проснулся, дружелюбно встретил башлыка* и предложил ему ночлег в дупле. Утром, пока старик ходил в лес, проверял капканы, Могусюмка стал разыскивать коней. Следы на свежем снегу привели к низким солнцепекам. Кара-Батыр и длиннохвостая кобыла охотника разгребали копытами сугробы и дружно пощипывали сухие пучки осоки.

Старик вернулся с добычей — принес зашибленных на смерть, одеревенелых от мороза красношерстного, чернолапого лисовина и пышную голубоводную рысь. Связал их вместе, перекинул через костлявую хребтину своей кобылы и, молодо подскакнув, забрался в седло.

Так познакомился Могусюм с Ирназаром... А теперь дочь этого старика стала невестой Могусюма.

... В комнате вдруг потемнело: свеча догорела. Гурьяныч уже спал. Могусюм поднялся, задул фитилек, плававший в подсвечнике в жидком сале, и опять завалился на бок.

Гурьяныч разговаривал во сне, поминал «верхового» Оголихина, потом батюшку отца Никодима и какого-то рябого татарина.

В полночь в окно постучали.

Могусюмка вскочил в сильной тревоге.

— Кто там?— очнулся хозяин.

— Господи, Иисусе Христе, сыне божий, помилуй нас,— густо прохрипел за ставнем заводской сторож.

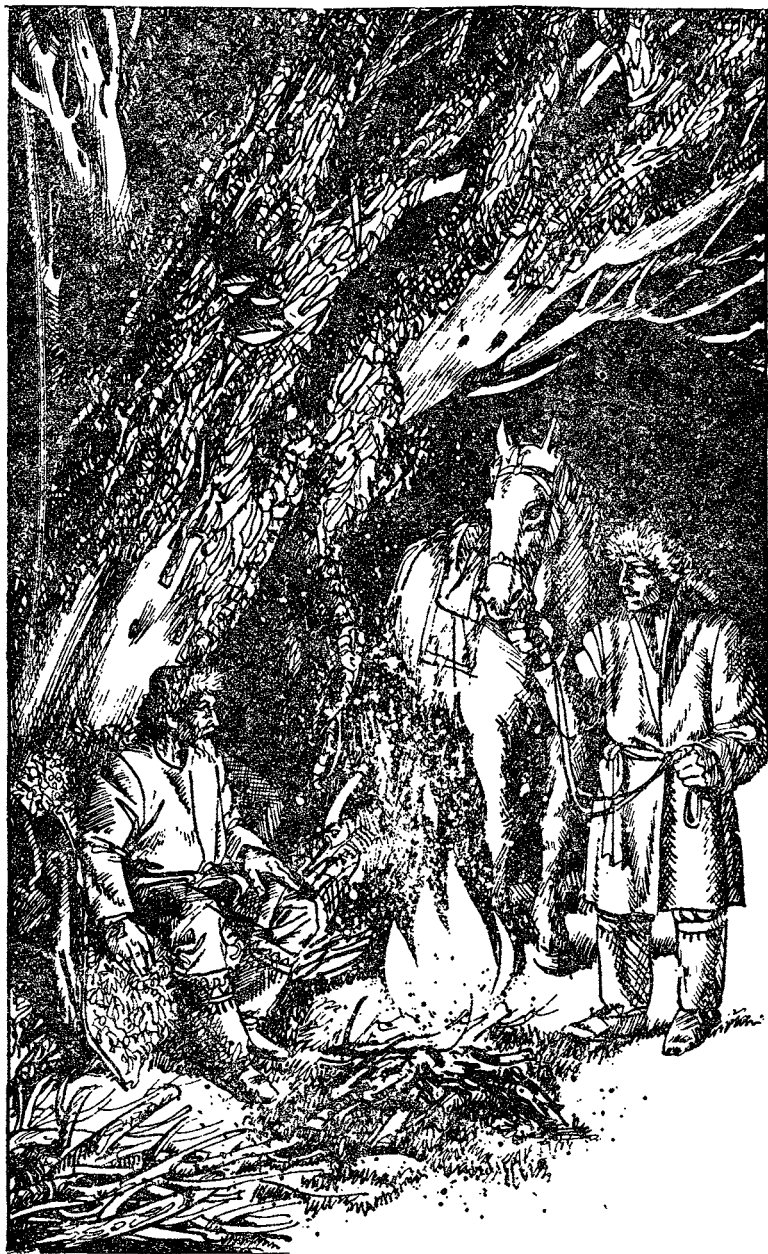
— Аминь,— ответил мастер.

— Кричной молот не в порядке. Максим Карпыч велел идти на завод.

— Иду.— Гурьяныч стал одеваться.

— Зачем ночью работа?— вскочил Могусюмка.

* Башлык — главарь



— Не знаю сам, что такое, случилось что-то с колесом, наверное. «Верховой» велит. Надо идти. На кричных, брат, не потрафляют... А ты лежи, спи... Он мне уж которую ночь покою не дает.

Глава 8

ХЛОПОТЫ

Наутро Могусям ускакал, а немного спустя напротив ворот Гурьяныча, выходявших в переулок, стала на лужайке телега, запряженная парой низкорослых лошаденок. Надвинув козырек картуза на глаза и наклонив голову, к одному из окон подошел худой мужик с русой бородой и, закрыв лицо от света, стал всматриваться, есть ли кто в избе. Жара стояла нестерпимая, и солнце так горело, что за стеклом казалось все черным-черно. Мужик, как ни укрывался обеими руками от света, и правой — с кнутом, и согнутой левой, прижимая ее к лицу чуть не до локтя, ничего не увидел, пока под самым носом у него не стукнул кто-то изнутри, тогда только понял он, что Гурьян-то дома.

— Дома!— ослабившись, мужик махнул кнутом, словно зацеплял им что-то в воздухе.

Другой мужик, черный, как жук, тоже в надвинутом картузе и длинной кубовой рубахе, ни слова не говоря, тронул коней и, завернув их, въехал в ворота, уже распахнутые выбежавшим босым хозяином.

Приехали братаны Гурьяна — один двоюродный, а другой троюродный, оба из Николаевки. Это бедная деревенька верстах в двадцати от Низовки, но по другой дороге. Они привезли гостинцев: пирогов, яиц, рукавицы; судя по этому, приехали неспроста.

Гурьян знал, что сразу ничего не скажут: надо поговорить о том, о сем. Поставил самовар, расспросил про родню, про теток, дядьев, дедов, про молодых, кто как становится на ноги. Дела, по которым приехали гости, важными быть не могли, и он особенно не беспокоился: верно, надо железа.

Угощения у холостого мужика не нашлось бы, но Могусямка оставил башкирского сыру и баранины, а водку привезли сами гости. День воскресный, и грех не выпить, хоть и рано. За бутылкой разъяснилось, что за дело.

— Николаевка хиреет!— говорил черный Макар.

Понятно, что Николаевка хиреет,— не могла не хиреть. Еще при крепостном толковали, что деревню эту кормят даром. Предки николаевцев были населены хозяином в лесу

чтобы жечь уголь, возить дрова и руду. Но рудник выработался, леса не стало — все сожгли, а молодняк быстро не рос. Николаевцы ходили на дальние курени. Задолго до «манифеста», при крепостном, деревня эта перестала давать прежние доходы, но николаевцы получали от заводоуправления зерно на каждую мужскую душу; хотя и с неохотой давали им этот паек и старались урезать, но все же давали, как и прежде, — пятьдесят и больше лет тому назад, когда Николаевка кормила своим углем обе домны и подвозила со своего рудника чуть ли не всю руду.

Но вот отменили крепостное. «Манифест» и «воля», которой все радовались поначалу, оказались для николаевцев причиной многих несчастий. Казенный паек больше не шел. «С воли сыт не будешь», — говорили николаевцы.

Взялись корчевать лес. Вот тут-то и оказалось, что земли удобной очень мало, только там, где огороды. Правы были старики, предварявшие сыновей от заведения своих пашен и приучавшие их тянуть хлеб с завода. Земля плоха, не родила, все пашни на косогорах, кругом глина, обрывы, в дождь все смывало, над пашней скалы, камни. Все это вспомнил Гурьян, но все же братаны ему рассказали еще и такое, чего и он даже не знал.

В десяти верстах от Николаевки была славная земля. И земля та принадлежала богатым башкирам. Но как подступиться к ним — не знали.

— Купить — нет силы... — сказал Макар. — Да и не продадут.

— Старики толкуют: мол, купить на время*. Да башкиры не захотят, — добавил русский Авраамий, — земля, мол, самим нужна, баранов надо пасти... А что же, скажи, нам с голоду помирать. Будь милосерден, братец дорогой, у тебя есть там приятели, они с заводскими лучше, чем с нами, пособи, исхлопочи, пусть продадут на время.

— У тебя там друзья, — повторил Авраамий, — помогай!

— А кто хозяин?

— Курбан!

Гурьян знал Курбана. Это богач, земли у него много, большие стада. «Жалко, Могусюмка уехал, — подумал Гурьян, — он бы тут пособил». У заводских Сиволобовых, как у мастеров на все руки, дружба была не с одним Могусюмкой. Однако в таком деле нужней всего Могусюм. Без него ехать к баям — только зря кланяться.

* То есть взять в аренду

— Поедем-ка, попробуем сыскать еще одного друга, — сказал Гурьян, — а то упустим. Поехали!

Кого упустим — не спрашивали. Вскоре все трое вышли, запрягли коней в телегу. Дом подперли колом снаружи, ворота — изнутри. Гурьян перемахнул через заплот, все уселись и покатили.

Башкирские общинные земли начинались по этой дороге верстах в пятнадцать от завода. К обеду доехали до кочевок. Сюда башкиры приезжали летом и выгоняли на пастбище скот, коней и баранов.

На лужайке среди леса стояла войлочная кибитка. Рядом устроен был навес на шестах для скота. Старуха в черном халате и длинном чистом белом платке, который углом закрывал спину, сидя на корточках, доила кобылицу. Женщина помоложе хлопотала у печи, сбитой из глины и поставленной поодаль от кибитки прямо на земле. Тут живет старик Бикбай — отец Хибетки.

Могусюмка, ускакавший чуть свет с завода, должен был сюда заехать.

Телега подкатила к навесу, около которого лежали бревна и виднелись груды стружек. Несколько башкир и сам Бикбай сидели кружком неподалеку.

— Здорово, брат! Ненадолго простились! — сказал Гурьяныч, обращаясь к Могусюмке, которого увидел среди сидевших.

— Это никак Могусюмка! — со страхом шепнул Макар.

И он и Авраамий перепугались. Знали они, что Гурьян знается с Могусюмом, но никак не предполагали, что именно к нему прикатит.

«Вот шайтан!» — подумал Макар. Но уж теперь следовало терпеть и помалкивать. Оба николаевца невольно сняли шапки.

К башкирам нельзя заезжать мимоходом. Приехал — сиди, угощайся, не торопись. Уж таков неписанный закон приятельства. День предстояло провести тут.

— А-а! Приехал! — засмеялся Могусюмка. — Говорил тебе, что в урмане лучше. Давно надо было!

Поднялся Бикбай. Он в черной круглой шапке, с окладистой черной бородой и с крупным, толстым носом.

— Благослови аллах! — приветствовал он гостя, прилагая ладони к лицу.

Руки у него жилистые и дочерья загорелые, взгляд острый и веселый. Тут же Абкадыр — башкирин лет сорока, здоровый и плечистый, скуластый, безбородый, в тюбетейке. Над его широким лицом тюбетейка торчала, как маленькая з аглушка на самоваре.

Башкиры усадили гостей. Появился кумыс. Оказалось, что Бикбай хочет строиться, заготовил бревна в лесу и будет возить.

— Может быть, совсем сюда переедет, поближе к заводу... — сказал Абкадыр и хитро подмигнул.

— Хорошо в урмане? — спрашивал Могусюмка.

— Хорошо! — вздохнувши, отвечал Гурьян.

Вчера в избе Гурьян сидел угрюмый, с печальным взором, а нынче хоть и глядит исподлобья, но уж весел и даже чуть смущен, словно его против воли выволокли на свет божий, на люди. Глаза у него сегодня синие, яркие-яркие, и добрые, кроткие, умиротворенные.

Здесь, где широкое, незакопченное небо, где яркий лес, совсем по-другому чувствует себя Гурьян. На заводе — ни деревца, как на складе, где торгуют бревнами, стоят сухие бревенчатые избы, и серая земля между ними. Только барский сад, да сад у церкви, да кое-где в верхнем селении палисаднички, как у Булавиных. А здесь лес густой, теснятся ели, тучные, с мертвыми сучьями. Глянешь под них — там, как темная ночь. И тут же огромные березы, целые вороха листы свисают, прямо на ели ложатся. Цветы, птицы поют, журчит ручей у самой кибитки, стрекочут кузнечики. Просветлел взор Гурьяна.

Сейчас вцепился бы жеребцу в загривок, вскочил бы да поскакал...

— Эх ты, колдун! — ухватил Гурьян своего друга за шею.

Но шея у Могусюма, как тонкая сталь, не гнется, только дрожит под лапой мастера. Сталь нашла на сталь.

— Ты шибко все об урмане печешься. У тебя от этого может ум за разум зайти.

— Чего болтаешь? Как может ум за разум зайти? Ум и разум одинаковы.

— Нет, разница есть!...

— Болтаешь, болтаешь! — махнул Могусюмка рукой.

Пошло угощение. Старуха в белом платке и черном халате стала черпать кумыс из кадушки, накрытой чистой холстиной. Тут всюду кони, кобылицы, жеребята их сосут, стоят ведра, сало в чашках, пахнет парным молоком.

Гурьян объяснил, зачем явились мужики.

— Ладно! Съездим к Курбану, — согласился Бикбай.

За подобные дела брались охотно.

— Надо ехать к Курбану, — подтвердил Абкадыр.

— Хлопотать! — добавил Бикбай по-русски.

Башкиры объяснили, что земля, которую хотели снять николаевцы, — общинная. Бикбай был в этой общине, но распоряжался землей Курбан. Известно было, что все об-

щественные постановления выносились по желанию Курбана. Абкадыр, хотя и в другой общине, но тоже взялся помочь.

— Курбан хороший! Поедем, — сказал Абкадыр, — попросим его!

— Сейчас?

— Зачем? Завтра! Куда торопиться?

Гурьян к утру должен был возвратиться на завод, чтобы выйти к молоту.

— А ты не пособишь? — спросил он Могусюмку.

Могусюмка хотел ехать на Куль-Тамак.

— Не помирать же людям с голоду. А ведь Бикбая может Курбан не послушать.

— Слышь, Гурьян, а не страшно с ним ехать? А как нас за него всех заметут? — потихоньку спросил Макар.

— Скажешь тоже! Да башкиры его слушаются, знаешь как... Как мы станового или исправника!

— А может, лучше без него?

— Да не бойся.

— Старики с нами едут славные. Они и без Могусюмки пособят, и тихо все будет, а то потом нам припомнят, что мы с ним друзья, мол.

— Нет уж, лучше с Могусюмкой. Никто не припомнит. Башкиры его любят и уважают. Да слушайте его, как он велит.

Вечером Гурьян уехал на завод верхом на одной из лошадей Бикбая. Макар и Авраамий строгали бревна, пилили доски и всячески помогали Бикбаю, желая заслужить его расположение.

Выехали все вместе на двух телегах. Впереди Бикбай с Абкадыром, а с мужиками сел Могусюм.

В полдень покормили лошадей и сами пообедали. Отдохнувшие кони побежали быстрее.

Могусюмку сильно заботило возможное предательство. Последнее время искали его усиленно.

Мужики заметили, что спутник их не в духе. Зная хорошо, кто такой Могусюмка и из-за чего он враждует с начальством, они истолковали его молчание по-своему и, видя в нем своего защитника, стали жаловаться на жизнь, на бедность, что земли нет, леса нет, денег нет.

— А почему у вас леса нет? — спросил Могусюмка, отвлекаясь от своих мыслей и обращаясь к Авраамию.

— Вырубили.

— Кто вырубил?

— Мы...

— А зачем вы в Николаевке свой лес вырубили?

— Как приказано... Для завода уголь жгли лет семьдесят. Для конторы.

— А теперь ты новую землю хочешь пахать? — спросил Могусюмка.

— Да. Как же... что-то надо, — ответил мужик угрюмо.

— А потом скажешь: мол, я пашу, хлеб сею, а башкиру, мол, барана пасти можно в другом месте? Башкир погодишь?

«Он вон куда гнет! — подумал Макар. — Подозревает, что желаем землю отнять».

Макару стало очень горько, но он смолчал. Был он человек бедный и обидчивый.

Такой разговор не нравился и Авраамию.

«Не хочет помогать, досадует. Может испортить все дело. Хорош же у Гурьяна приятель!»

Могусюмка, видя, что николаевцы не отвечают, умолк. Его часто приглашали разбирать споры, когда терялись умные старики, баи и муллы. Он считал дело, за которое собирався хлопотать, обычным, житейским. Могусюмка полагал, хотя башкирам и обидно, что землю занимают русские, но целую деревню обречь на голод нельзя. Земля у общины пустует, и николаевцы тоже есть хотят, они не виноваты, что леса вырублены. Но ему все же жаль сейчас стало леса, сожженного ими.

— Нет, мы землю не отберем, — начал тем временем Авраамий, — мы уважение сделаем. Это первое дело. Пособим...

В душе Авраамий, может быть, и не прочь захватить землю, отнять ее у кого угодно, только бы случай представился.... Он полагал, что земля есть земля. Она божья — ничья. Должен на ней жить тот, кто пользу от нее знает. Но сейчас надо было выказать покорство, умастить. Уж взялся добывать землю — молчи, кланяйся.

— Так землю отымать не захочешь?

— Нет, что ты! — ответил Авраамий и повесил голову.

Макар, не вымолвивший до этого ни слова, обернулся и сказал, боясь разбередить Могусюма:

— Мы Курбана не обидим. Земли его не займем. — Он выказывал покорность, а в душе зло и досада все сильнее разбирали его.

— Земля общинная! — поучительно возразил Могусюмка.

— Это только слава, что она общинная, — ответил Авраамий. — Сами же башкиры зовут Курбана хозяином. Да уж нечего плакать, Курбан сам себя в обиду не даст, шкуру сдерет с любого.

Тут Макар не удержался:

— Да что ты тревожишься, тебя самого-то по миру пустили...

Больше не было сказано ни слова, и Авраамий уж был готов, что ждет их с Макаром неприятность. Но он решился стоять до последнего, просить, молить, кланяться, пообещать такое, что даже, быть может, никогда не исполнит. Он готов был хоть в кабалу, плотничать, кузнечить на богачей. Таил он надежду, что славные и честные старики, ехавшие на первой телеге, люди куда умней и старше этого Могусюмки, и что они знают, на что идут, и что они помогут, конечно.

Не доезжая до кочевки, Могусюмка спрыгнул с телеги, отвязал своего коня, на длинном поводу шедшего за ней. Бикбай остановил свою лошадь.

— Вы все поезжайте к Курбану, — сказал Могусюмка, — про меня ничего не говорите. Просите о своем деле. А я приеду, когда надо будет.

«Так-то лучше, — подумал Авраамий. — Опамятовал. Не будет, так сами обойдемся».

— Как же он узнает? — встревоженно спросил Макар, когда Могусюмка въехал в лес, а телега снова тронулась.

— Узнает! — ответил Бикбай с важностью.

— Он все знает, — с суеверным страхом подтвердил Абкадыр.

Глава 9

БАЙ-ЕВРОПЕЕЦ

Над горной рекой на лугу, на котором кое-где видны молодые березки и березовые пеньки, желтыми пятнами разлеглись верблюды. Мужики подъехали к дому, строенному из свежих сосновых бревен под железной крышей.

Бай в распахнутом бешмете, под которым виднелась нижняя белая рубашка, стоя у заднего крыльца, с криком вырывал из рук маленькой растрепанной старухи какое-то ведро. Несколько башкирок кричали на него, видимо, заступаясь за старуху.

— Что это он с бабами из-за ведра дерется? — вымолвил по-русски Абкадыр.

Оба башкирина соскочили с телеги и стали кланяться.

Увидя подъехавших, бай улыбнулся, выпустил ведро, смущенный, что его застали за таким занятием.

Он приветствовал приехавших. Подъехали мужики. Бай повел всех в дом. Ненадолго удалившись, он явился в воротничке и в сюртуке.

— Никакого понятия не имеют, как соблюдать чистоту! Самому всех учить приходится! Кроме меня, никто не умеет показать, как мыть ведра. Советую и тебе, Абкадыр, и тебе, Бикбай, всегда чисто ведра мыть. А то про наших башкирок говорят, что они нечистоплотны. Это ложь, выдумки русских! Надо, чтобы не было повода про нас говорить, что мы не любим чистоту.

Русские, не понимая толком, о чем речь, мяли шапки, а Бикбай с Абкадыром все время кивали головами, показывая, что согласны с каждым словом хозяина.

Бай говорил улыбаясь, словно сознавал смешную сторону своих поступков.

Курбан усадил гостей на табуретку, сам устроился в широком венском кресле. Ковры у него городские, вся изба застлана. В большой комнате — диван, кресла, стол, шкафы с книжками. Печи натоплены, хотя на улице жара.

Бикбай начал рассказывать про какой-то мешок овса, а потом про лечение носа и глаз, как он нашел хорошего лекаря и теперь здоров, и все время, сидя на стуле, норовил положить под себя обе ноги, но, видимо, боялся, как бы не свалиться с такой высоты.

Абкадыр сидел и кланялся в знак интереса к беседе и полного уважения к хозяину.

Бай разглаживал свою шелковистую седую бороду, расчесанную двумя пышными пучками на обе стороны. Он румян лицом, сед, глаза у него веселые, бойкие, почти скрываются, когда смеется. На голове черная шелковая тюбетейка, на плечах черный сюртук. Бай коротконогий, толстый, но живой, как вьюн, каждый дюйм его жирного тела в движении, особенно когда от одного собеседника поворачивается он к другому.

— А я не знал, Бикбай, что у тебя русские приятели есть, — заговорил он, чуть видимые глаза сверкали и огнем и маслом. — С завода? — спросил Курбан.

— Нет, из Николаевки, — отвечал Бикбай.

Тут, услышав название деревни, оба мужика также стали кланяться усиленно, а Макар вскочил с табурета и поклонился в ноги.

Бай глянул на мужиков строго. Теперь его острые маленькие глаза открылись.

Подали обед. Во двор в это время въехал всадник. Могусямка вошел, когда Бикбай рассказывал про бедственное положение николаевцев. «Вот еще черт его принес», — по-

думал Макар. Хозяин любезно поздоровался с новым гостем и пригласил к столу. После обеда Бикбай выложил суть дела. Бай согласился сразу.

— Исполу! — сказал он.

Бикбай обрадовался, но мужики огорчились.

Начались споры.

— Первые три года половина урожая моя, — заявил бай.

Макар завел длинный разговор о том, что низовцы арендуют землю и платят чаем, сахаром.

Разговор затянулся. Пили чай, птели, говорили о разных делах и снова спорили о плате.

— А если не нравится, — наконец сказал бай по-русски, — то могут не снимать. Пусть корчуют пеньки там, где лес вырубил, или в орду переселяются.

— По-моему, вы неверно говорите, агай, — заметил до того молчавший Могусюмка.

Курбан насторожился. «Это что за мальчишка?» — подумал он.

— У вас клочок земли просят пашню пахать, а вы на общинной земле прииски открыли, отдали эти земли в распоряжение чужих людей.

Тут лицо бая перекопилось, брови изогнулись, а глаза стали круглыми и большими.

— Кто это такой? — быстро и тихо спросил он у Абкадыра.

— Мы его не знаем, он нас на дороге останавливал, — так же тихо ответил Абкадыр. — Зачем едет и куда, не знаем. Кажется, его называли Магсумом.

— Кто называл?

— Товарищи его, когда он с ними в лесу прощался и к нам подъехал.

— Магсум?

— Да.

— Постой, так это... Это...

Тут бай, выкатив глаза, уставился на Могусюмку, мелко потряс головой, набрал полную грудь воздуха и замер, показывая, как он восхищен, делая это точно так же, как благовоспитанные люди на Востоке, когда желают изобразить немое восхищение.

— Магсум! — вобрав голову в плечи и вскинув руки, с жаром выпалил он, показывая, что не в силах сдержаться. — Как я много слышал о вас! Очень рад!... Честь принять такого дорогого гостя... Счастливы ли вы живете?

Курбан налил чашку чая и поднес Могусюмке, улыбаясь ласково.

— Кушайте на здоровье.

Он начал со всеми соглашаться, но как замечал Могуся, не от души. Абкадыр и Бикбай тоже любезно улыбались. Иногда они вдруг переглядывались, и взор их в этот миг становился серьезным и значительным.

На Макара и Авраамия никто не обращал внимания, но они кое-что понимали в этом разговоре и терпеливо ждали. Курбан, заметив молчаливое недоверие Могуся, сказал, что, конечно, надо жить по-соседски с Николаевцами.

— Я, знаете, для порядка назначил цену повыше: пусть не думают, что так легко земля дается.

Когда, казалось бы, дело сладилось, бай показал Могусямке барометр и рассказал, что ездил в Москву, видел паровозы и железную дорогу, и в Москве он слышал, будто в Америке очень красивые реки, но опасно к ним подходить — там водятся крокодилы.

Могусямка снисходительно улыбнулся.

«Я вас угощу, как следует» — решил Курбан, ласково глядя на Могусяма.

Этот высокий, сдержанный и гордый человек заслуживал уважения, «Да и полезен может оказаться...» Курбан велел забить жеребенка, барана...

Снова начались угощения.

Гости просидели у Курбана весь день.

— Очень желательно и большую важность имело бы распространение грамотности среди башкир! — рассуждал Курбан. — Замечательное явление! Башкиры говорят, что арабский алфавит следовало бы заменить русским.

Старик Хамза однажды привез и показал Курбану письмо Могусяма, где башкирские слова написаны были русскими буквами.

Курбан этим воспользовался при случае. Будучи в Оренбурге, сказал губернатору, что желал бы введения русского алфавита для башкир, и сам написал несколько башкирских слов русскими буквами.

Могусямка был польщен, как казалось Курбану. Бай ждал, какие же дела к нему у башлыка, не потребует ли он с него еще чего-нибудь.

Бай оставлял гостей ночевать, но в тот же вечер башкиры поехали к себе. Макар и Авраамий поначалу обрадовались, что бай сдает землю, но потом, раздумавшись и перемолвившись между собой, решили, что дорого дали, много придется платить, в других местах «покупают» землю дешевле. Мужики, почтительно простившись с баем, отправились прямой дорогой в свою Николаевку.

Бай был доволен. Могусюмка побывал у него и обошелся по-дружески. С русских бай получит часть урожая. Уж русские, когда есть захотят, себя не пожалеют; он знал: хлеб будет. Он сдавал землю и другим.

Могусюмка догнал телегу Бикбая в сумерках.

— Курбан сказал мне, что Падь Лосей вырубили?— спросил он у Абкадыра. — Правда это?

— Да, там лесорубка одного купца. Он взял в аренду лес у Махмутовской общины.

Бикбай стал говорить, что теперь во всех общинах все решается баями; они что хотят, то и делают. Сам Бикбай еще считался совладельцем земли, на которой теперь прииски. Но земля эта уже не общинная, бай и татары-купцы всем распоряжаются.

— Если бы не ты, Курбан не согласился бы сдать Николаевцам. Он сам общинные участки отдал компании, а нас, законных владельцев, теснят прочь. Он ведра чисто моет, учит баб чистоте. Уж вся эта земля скоро будет чужая, — молвил Бикбай, — а Курбан только показывает, как он нашу землю бережет.

— Ну, теперь твой голос, Бикбай, тоже будет иметь значение в общинных делах, — сказал Могусюмка.

— Как же! Он теперь понял, что мы с тобой знакомые! — ответил старик гордо и захватил пальцами свою густую черную бороду.

Бикбаю пришлось в голову воспользоваться покровительством Могусюма и добиться, чтобы община выделила ему весь его пай. Он тоже сдавал бы соседям-низовцам землю, получал бы плату, ведь теперь, после «манifestа» русские очень нуждаются в земле. Даже хотели одно время с завода разбежаться!

Глава 10

ПАДЬ ЛОСЕЙ

Чуть свет Могусюмка с одним из своих джигитов Мусой и с Абкадыром отправились по лесной дороге. Они ехали быстро.

После полудня выбрались из лесу. Могусюм, ехавший в глубокой задумчивости, вздрогнул, привстал на стременах и стал вглядываться.

— Падь Лосей! — показал кнутом Абкадыр.

Он остановил лошадь и печально повесил голову. От усталости точно так же повесил голову его длинногривый каурый мерин.

Вокруг торчало множество пеньков, красных — от сосен, черных и серых — от лиственных деревьев и от берез, а между ними местами гнили ветви, хвоя, сломы и рос мелкий молодняк, а местами чернели пепелища.

Всюду, куда хватало глаз, были пеньки и пеньки. Целое море пней сливалось вдали в сплошную торцовую площадь. И только неподалеку от того места, где остановили своих коней путники, высилась огромная разросшаяся береза. Было ей уж много-много лет. Безмолвные ветви ее тяжело свисали над этим кладбищем леса. Лесорубы пощадили ее.

А в небе столбами стояли сине-белые кучевые облака. Тяжко парило.

Исчез лес, где провел свое детство Могусюмка.

Башлык тронул коня и поехал туда, где среди пеньков блестела вода. Могусюм помнил, как дед приводил его сюда охотиться. Старик из бревнышек избушку построил, должно что-то сохраниться. Могусюмка не поверил вчера Курбану, что могли вырубить один из самых дремучих урманов на Урале.

И вот нет его, от солнца скрыться негде. Палит и душит зной, как в Голодной степи.

Могусюм поехал дальше. Он оглянулся. Огромная береза стояла теперь к нему тенью и казалась черной в этот палящий солнечный день среди сосновых пней, которые блестели, как натертые серебряные монеты.

«Ах вот, вот это место! — узнал Могусюм. — Вон остров сохранился, отец плел там корчаги и рыбу ловил...

Ивы остались, корявые, старые, гнутся к зеленой темной гладкой воде.

Вот и заливчик. Инзер, Инзер-река! Любимое место наше! Но старой избенки и следа нет. Пепелища вокруг от костров. Тут жили лесорубы. Наверное, сломали и сожгли, когда уходили. Вот только кол березовый остался, столб, которым крыша в середине подпиралась.

Столб, столб, не думал я, что ты таким дорогим мне будешь, когда под крышей, тобой подпертой, спал я, и дедушкины сказки слушал, и мечтал, что большим вырасту и сам, как дедушка, в том урмане охотиться смогу!..»

Могусюмка слез с коня и подошел к столбу.

Подул ветерок. Но душно, душно здесь сегодня, так душно, что Кара-Батыр мокр, почернел еще гуще, блестит влажная шерсть. Саднит кожа у привычного к походам и тяготам Могусюмки. Муса отстал: он нашел мед в дупле, улей. На уставшем мерине приплелся Абкадыр. Конек у него совсем согнулся дугой. Но конек лихой, только вид невеселый, словно и коню печально. А ударит его Абка-

дыр пятками, приосанится, причмокнет, гикнет — и конь приободрится и такой бойкой рысцой пойдет по тропинке, что хоть на байгу.

— Нашел знакомое место? — спросил Абкадыр.

— Нашел! — ответил Могусюмка безразлично.

— Ну вот, видишь, а ты не верил, — обрадовался Абкадыр.

— Ну, поедем! — сказал Могусюм и вскочил в седло, не желая больше смотреть на печальную картину. — А как, Абкадыр, тебе не жаль этого леса? — спросил он, когда кони зарысили вровень.

— Когда сами зарабатываем, не жалко. А если чужие рубят, конечно, плохо. Ведь у нас всегда леса гибли. Сильно выгорали. Слышал про пожар, который был на Бурзяне? Мой отец маленьким был и помнил. А теперь там опять хороший лес вырос. Ведь вон, гляди, и тут молодняк уже растет. Только надо пеньки выжигать после рубки.

— А где эти лесорубы? — спросил Могусюм.

— На Синюхе! — ответил Абкадыр. — Тут недалеко. Вон... — Он показал рукой на темную полосу вдаль. Дальше серел купол Яман-Таш.

А горячий, как бы нагретый раскаленными от солнца пеньками, ветер набирал силу, одинокая огромная береза закачалась вдруг и зашумела, огромные ветви ее заполоскались. Она волновалась над морем мертвых пеньков, как огромное черное знамя.

— Поедем на Синюху. Туда, где лес рубят. Лесорубы там сейчас живут?

— Нет, они теперь у реки рубят. А плохого им не сделаем? — с тревогой спросил Абкадыр.

— Нет...

Внизу река несла бревна. Ветви обрублены, блестят белые разрезы.

Могусюм уже давно заметил, что по Инзеру плывет лес. Богатство Урала уходило вниз по реке.

— А когда твой отец маленький был, русские тут были? — спросил Могусюм.

— Были! — отвечал Абкадыр. — Прадедушка наш продал тот лес, где теперь завод. Это наше место было.

— Не жалко было леса?

— Нет, он не обижался.

— Почему?

— Ты же знаешь, какая тут жизнь была! Тогда было не так, как теперь. Ведь ты подумай, какой тут был лес. И жили дедушка с братьями, и больше никого не было.

И у них ничего не было, они только охотились. А вот приехали люди и привезли разные вещи. И люди стали строить и делать железо.

Могусюмка когда-то расспрашивал об этом же своего деда. И дед и отец уверяли, что никто не обижался, очень довольны были, когда к ним пришли русские и поселились, охотно уступали землю, отдавали за бесценок.

— Никогда не думали, что будут потом теснить и обижать, — продолжал Абкадыр.

— И цены не знали на землю?

— Конечно, не знали. Тогда у нас не было железа, спичек, материи. Правду говорю, не вру, рады были... Потом были восстания и казни, сам знаешь... А может, ты тут задержишься? А мне надо домой.— Абкадыру не хотелось встречаться с лесорубами.— Ведь меня дело ждет.

Могусюмка не ответил. Абкадыр не решался больше беспокоить его и послушно ехал следом. С Могусюмкой страшновато, но покинуть его нехорошо.

Глава 11

ЛЕСОРУБЫ

Шагах в двухстах от речки, у слабого ручейка, из леса, крытого дерном, устроен шалаш. Здесь живут лесорубы. Могусюмка, Муса и Абкадыр подъехали тихо и спрыгнули с коней. Мужики, сидевшие у костра, увидели их сразу всех троих вместе с конями и вскочили встревоженно.

— Здорово! — серьезно, но мирно сказал Могусюмка по-русски.

Лесорубы ответили ему. Их было только четверо, все с бородами и в лаптях.

— Лес рубите? — спросил Могусюмка, присаживаясь к костру.

— Рубим...

Лесорубы потеснились у костра, пригласили приехавших садиться.

— Много леса сегодня нарубили?

— Как же, много. Старались! — ответил молодой мужик, видимо, желая обрадовать гостей.

— А какое тебе-то счастье? — спросил пожилой коренастый мужик с бородой во всю грудь, с карими глазами.

— Конечно! Чего жалеть! — с притворным безразличием ответил Могусюмка, но бородач уловил насмешку.

Мужики заметили, что это не простой башкирин. Понемногу разговорились. Рабочие жаловались на низкие

заработки. Потом пошли рассказывать разные побасенки и забавные случаи.

Могусюмке понравился коренастый, широкоплечий рабочий с сединой в бороде. Он сказал, что зовут его Петр, а фамилия Шкерин. Шкериных много было и на заводе, и в Николаевке, и даже у Гурьяна есть один братан Шкерин.

— Вот, ты говоришь, что много леса вырубил?— спросил его Могусюмка.

— Да, порядком...

— А чей это лес, знаешь?

— Как же. Знаю. Казенный! — молвил другой молодой мужик, в то время как старшие приумолкли.

— Нет, это лес наш!

— Чей же?

— Башкирский, — раздраженно сказал Муса, долговязый и худой, со скуластым небритым лицом и русыми усами.

— Да ведь разве ведомо, чей тут лес?— заговорил Петр Шкерин.— Это не наше дело!

— Нам как велят — мы рубим, — подтвердил другой бородач, маленький и курносый.

— Лес заводской. Планы есть, по ним известно, чей лес, — вдруг тихо и безразлично молвил до того молчавший длинноволосый мужик, с мохнатыми бровями, с длинной, пегой бородой. Из этой массы волос выглядывал толстый, бугроватый нос.

— Больше тут работать не будете. Завтра уходите отсюда, — сказал Могусюмка.

— Мы, пожалуй, и уйдем, — сказал Шкерин, — да ведь взыщут! Мы сами темные.

— Кто взыщет? — спросил Могусюмка у рабочих.

— Сидор Моисеич, десятник наш, — ответил Шкерин. — Да вы кто такой будете, как ему сказать?

— Скажи, Могусюм сказал, что тут урман рубить никто не смеет!

Мужики в страхе переглянулись.

Про Могусюмку и они слыхали. Все посторонились, давая гостю побольше места у костра. Длинноволосый подобрал полы своего армяка: видно, и он струхнул. Курносый заулыбался заискивающе.

Лес вокруг был темен и грозен. Угроза Могусюмки — темней леса.

— Мы, пожалуй, ушли бы, — молвил Шкерин, да, видишь, Сидор утром приедет

Могусюмка не ответил

Вскоре он поднялся. Муса подвел лошадей. Башкиры вскачили в седла и ускакали.

Мужики еще надеялись, что дело обойдется. Не могут башкиры лишить их заработка. Но утром они посоветовались и решили уйти.

Рабочие собрали вещи, взяли топоры и вереницей двинулись по бревенчатой гати, которая проложена была на топкой, кочковатой земле среди стен елового леса и уходила вниз, к речке. Там стояла лодка.

В это время из леса выехали башкиры. Могусюм приостановил коня у потухавшего костра. Он понимал, что бородачи ни в чем не виноваты. Лес остался такой же, как всегда, дремучий, седой, с косами седых мхов на елях, а не радовал. Даже как-то жаль стало, что люди ушли.

Вспомнил, что вечером вместе сидели у костра, рабочие жаловались, что плохо живут, им не платят вовремя, обсчитывают, хлеба нет. Никакого зла ни к лесу, ни желания обидеть, унижить башкир у этих людей незаметно. И вот они ушли, стало пусто.

Башлык услышал какой-то шум, голоса внизу, куда покатою лестницей ушла гать.

— Еще одна лодка подошла, — сказал Муса.

— Сидор приехал! — молвил Абкадыр озабоченно.

Вскоре на гати появились рабочие. Они шли обратно. Впереди шагал бритый мужик в рубахе, подпоясанной ремнем.

— Ты какое имеешь право сымать людей с дела? — спросил он у Могусюмки.

Могусюм понял, что это явился Сидор.

Могусюмка вместо ответа тронул коня и наехал на десятника. Тот споткнулся и упал.

— Ты что, сволочь? — живо поднялся Сидор и с силой рванул узду.

Могусюмка спрыгнул.

— Зачем коня трогаешь?

— Хватай его, братцы! — хрипел десятник.

— Лес не твой! Какое право имеешь рубить? — трясся Сидора за ворот, сказал башлык.

— Ты что? Что хочешь? — хрипел Сидор.

— Нет, слышь, ты не разбойничай, — подступил молодой бородач.

Сидор вырвался и, ни слова не говоря, побежал по бревенчатой дороге к берегу.

— Кидай топоры! — приказал Могусюмка лесорубам.

У Сидора был такой вид, словно побежал за оружием, но добравшись до лодки, он отъехал от берега, что-то крича рабочим.

Муса повесил ружье на плечо. Абкадыр тяжело дышал, бессмысленно глядя на все происходившее. Он проводил рабочих на берег и потихоньку сказал длинноволосому, что сам тут случайно.

Когда Абкадыр вернулся вверх, Могусюмка сидел у потухавшего костра. Муса целился из ружья в горбоклювого кобчика на дереве, но не стрелял, а опускал ружье, потом снова целился.

Могусюмка заметил виноватый вид Абкадыра.

Муса — дальний, он бродяга, а Абкадыр здешний.

Борьба за лес, за свободу так, как представляли ее старики, теперь была бесполезна...

Глава 12

КУЛЬ-ТАМАК

Богатые говорили про Могусюмку, что он грабитель, конокрад. Баи толковали про него, что он наградил и скрыл в горах сказочные клады. А бедные знали, что Могусюм помогает им. При всей той силе, которая заключалась в одном его имени, Могусюм жил скромно, пренебрегая богатствами, что попадали ему в руки.

Ему отрадней избавить человека от беды, чем притащить в дом что-нибудь, разжиться, разбогатеть.

Бывая во многих местах, Могусюм всюду примечал что-нибудь полезное. Он пахал, как самые хорошие земледельцы.

На заводе железо куют, делают ножи, топоры, закалку производят — Могусюмка умел не хуже заводских отковать сошники для плуга, нож, мог сварить в яме железо из руды.

Он подолгу отлучался из дому, где хозяйничала родственница старуха.

Так вот и получается: хозяин он хороший, а скот пасут соседи. Он придет, покормит, поласкает телят малых, жеребушек подержит в руках — вот и все; дом стоит начат, хорош, но не достроен.

Едет теперь Могусюм домой в маленькое селение в глубине лесов, в горах. Называется это селение Куль-Тамак. Там все его богатство. Там пашня, скот, кони. Там его невеста, дочь старика Ирназара.

...Ночевал Могусюм в урмане, утром слушал пение птиц и сам высвистывал их мотивы, перекликался с ними, перелетающими с дерева на дерево совсем близко, так что достать можно. Стал туман рассеиваться, птицы распелись, раскричались.

Башлык вскочил, нашел своего стреноженного жеребца, оседлал и вихрем промчался по берегу над обрывом речки, у которой ночевал. Спустился вниз, перебрел ее; в два прыжка Кара-Батыр вскочил на обрыв. И помчался Могусюм туда, где над лесом высились каменные хребты Уральского гребня. Когда ближе подъехали, солнце заслонилось ими, и огненными столбами вырывался его свет из-за громадных, стоямя стоявших камней.

Могусюм давно не видел Зейнап. С тех пор, как свадьба решена, она стала беседовать с ним открыто. Нет теперь охоты гарцевать в других селах. Только в Куль-Тамаке любит он промчаться шайтаном мимо окон Зейнап и осадить коня у самых ворот.

Его тревожил Гейниатка. Он, конечно, может привести казаков.

До сих пор в Куль-Тамаке среди девственных лесов у Могусюмки было надежное убежище. Всеведующий кантонный начальник и юртовой старшина, зная про Куль-Тамак, ничего не сообщали начальству. Старик Ирнар, считавшийся старшим в поселке, откупался от старшины богатой взяткой, так что до сих пор жители Куль-Тамака государственных налогов не платят, а обходятся тем, что ежегодно отправляют старшине подарки, или, как они называют, ясак.

На карте губернии нет этого селения. Башкиры-соседи, конечно, о нем знают. Девушки-соседки собираются на свадьбу в Куль-Тамак.

Скоро, скоро свадьба! Скоро веселые свадебные игры...

«Привезу Ирнарзу калым, — думает Могусюм. — Старик не неволит меня, но я сам знаю, что нельзя без калыма».

Окрестные леса изобилуют зверьми, дичью, пчелами. Культамакцы охотничают, пашут, разводят скот. Зимой живут в бревенчатых домах, на лето перебираются в войлочные юрты, разбивая их тут же, поблизости. Могусюмка первейший неутомимый охотник. Урман — его клад, богатство. Верно люди говорят, что у него есть клад!

Изда Ирнарара стоит на берегу реки. Под утесом стремится чистейший поток. Изда с двухскатной крышей.

Вместо обычных сходней старик приладил крылечко. По крыше над входом и на коньке укрепил черепа съеденных лошадей.

Могусюмку ждали, и вот нагрянул он с товарищами. В зимней избе Ирناзара собрался табын — круг гостей.

Горит печь. Трещат, искрятся дрова. В полутьме на нарах, крытых яркими войлочными коврами, угощает Могусюма смуглолицая красавица Зейнап. Она делает все серьезно, старается выгледеть, как настоящая хозяйка. На лице выражение строгости. Только изредка, когда Могусюмка или дедушка Шамсутдин скажут что-нибудь очень смешное, она улыбнется по-детски, но тут же спохватится, обведет взором гостей, как бы опасаясь, что заметили её улыбку, опять станет построже, губы сложит бантиком, брови нахмурит, потом опять забудется и то смотрит на жениха косо и настороженно, то с любопытством слушает его, осматривает лицо украдкой. Засмотрится и опять улыбнется.

Коралловый тяжелый нагрудник, как красный панцирь, плотно облегает грудь. Как красный чешуйчатый шлем, на голове ее кашмау из кораллов. Дорогие серьги, янтари, монисты с дымчато-палевыми камнями в червленых серебряных оправках надела она сегодня. В этом панцире из драгоценностей невольно хочется быть поосанистей и построже. У Зейнап тяжелые светлые косы. Когда она распускает волосы, то целые потоки льются ей на плечи. Она все старается придать выражение бесстрастности своему широкому, ярко-румяному лицу с густыми черными бровями, но не удается. Так и брызжет огонь из ее прищуренных глаз, ждет она плясовой. Хочет выказать удаль... Скоро, скоро свадьба, начнутся шуточные драки девушек-подружек с женихом и его дружками из-за невесты.

По избе, укрыв колени вышитыми полотенцами, расселись гости. На скатертях поставлены напитки, яства: водка в бутылках, кумыс в бочатах, брага в кожаных турсуках, топленое масло и сметана, жареный ячмень, сыр, мед в остроголовых посудидах, пресные лепешки.

Могусюмка играет на курае, заливается, как соловей. Плавно струится мелодия, словно родник журчит по камням.

Богатырь Салават молодой,
Камчатная шапка на твоей голове, —

печально затянул однообразный напев старик Ирназар.

В степном Урале пал прошел,
Стоит горелая трава.
В руках горячего коня не удержать, —

высоко выводил он своим старческим, дрожащим голосом.

Смелый батыр Салават
На боярские усадьбы
Палы пускал...

Песнь оборвалась. Женщины внесли котел с вареной бараниной.

— Эй, куллама, куллама готова!

— Биш-бармак, биш-бармак! — засмеялся Могусюм.

Лапшу и вареное мясо разложили в чашки. Кулламу ели руками, за что и прозвали её биш-бармак — «пять пальцев». Ирназар повел сказ про старину.

— Жил на реке Симе в горах Юлай старик, башкирский старшина.

Тихо заиграл курай. Печальный напев сливался с печальным рассказом Ирназара.

— Заводчик Твердышев узнал, что в земле его железа много. Пришли на Сим солдаты, погнали Юлая с земли. Не хотел уходить Юлай-ага. Собрал он своих башкир и стал воевать с заводчиками. Юлаевых джигитов побили и выгнали с Сима. Ушел старик на новое место и стал горевать. Но был у него сын Салаватка. Малый умел складывать песни и красиво играл на курае. «Не горюй, атый, — сказал он. — Вот я подрасту и прогоню Твердышева, тогда мы вернемся в родной урман и проживем в горах на реке Симе...» Пятнадцати лет от роду Салаватка батырем стал. Когда в степи Пугач собирал народ с горных заводов, звал с собой башкир. Послал гонцов к Салавату...

Старик рассказал, как Салават с войском пришел на помощь к Пугачу, как вместе они сражались, как погиб Пугач, как Салавата в лесу окружили. Долго сражался он, обломал палицу, так много врагов зарубил, что совсем иступилась шашка. Остался Салават без оружия, забрали его, заковали в кандалы и увезли в Уфу. И сидел он там за решеткой в колокольне, пел песни. Башкиры ездили в город — слышали.

Снова запел старик:

С ружьем ходил к Миассу-озеру,
Да врагов было много, побить не удалось.
Хоть и не мог я неприятеля уничтожить,
Но живой пока надеждой живу.

Тут дедушка Шамсутдин, тощий, худенький старишка, с седой бородашкой, с единственным зубом, торчавшим сбоку из его оскаленного рта, спросил:

— А знаешь ли, как у башкир для самого первого завода землю купили? Один раз приехал купец. С ним вместе девка молодая, красивая приехала. Этот купец хитрый был человек. «Подари мне земли», — попросил он башкирского родоначальника. «Скажи, сколько же тебе надо земли и зачем?» — спросил тот. «Да совсем немного». — «Зачем тебе?» — «Девку мне надо замуж выдать, и жених у нее есть, да по нашему закону нельзя свадьбу на чужой земле справлять. Я бы на малом клочке молодых повенчал». Родоначальник подумал и сказал: «Чтобы жениться, немного земли надо». — «Конечно, — ответил купец, — я много не прошу. Дай мне столько земли, сколько прикроет лошадиная шкура».

Родоначальник согласился. Убил купец лошадь, освежевал ее и разрезал шкуру на тонкие ремни, а потом связал их и обвел огромный круг. «А теперь эта земля наша», — объявил он и велел уходить старым жителям.

-- Это сказка!

— Часто я такие рассказы слышал, — с печальной насмешкой сказал Могусюмка, — каждый по-своему рассказывает. Кто говорит, что шкуру медведя разрезали, а еще я слышал, будто так землю татарский хан в свое время отнял.

Старики стали спорить с ним.

Могусюм запел тонко и протяжно:

Вырубаются наши леса,
Только на Куль-Тамаке тихо,
Не звучит топор.
Неужели и сюда дойдут лесорубы?

Жаль, сердцу больно...
Но настанет время, и снова будут великие
леса на Урале,

Зашумят сосны...
А пока будем веселиться.
Пока еще далек от нас враг-топор,
откованный на заводе...

Заиграл курай, ударил барабан, зажурчала плясовая. Могусюмка играет на дудке и сам гудит, подыгрывает горлом в такт песни.

Шауря, Шауря, Шауря — сноха,
Приду ночью к тебе целоваться, —

грянули хором джигиты. Весь табын хлопает в ладоши. И вот красавица Зейнап вышла, и видно: она маленькая, стройная, легкая. Развела руками, как бы говорит: «А ну, посмотрите на меня», — легко, дробно застучали каблучки татарских сапожек, и засверкал взор ее.

Светало...

В разгар веселья двери распахнулись.

— Полиция! Казак! — дико закричал, вбегая, молодой парень в меховой шапке.

— Как полиция? — яростно воскликнул Могусюм.

Он с ночи поставил караульных на двух тропах. Откуда взялась полиция, он не знал. Где-то поблизости в самом деле грянул выстрел.

* *
*

Из губернского города на поимку Могусюма было послано два конных взвода. Один — из башкирских казаков, которые могли быть очень полезны в глухих лесах, другой — из уральских казаков. Станичники-уральцы тоже знали леса, умели читать следы, проходить по глухим чашам.

Гейниатка взялся провести отряд глухими тропами там, где нет башкирских кочевков, чтобы люди не предупредили Могусюмку. Идти пришлось без карты.

На третьи сутки отряд, перевалив хребет, затаился в долине, густо заросшей чернолесьем.

Внизу за вершинами деревьев поблескивал огонек. Гейниатка уверял офицеров, что это и есть убежище Могусюмкиной шайки.

Чуть забрезжил рассвет. Полицейский офицер и казачий есаул решили послать разведчиков вместе с Гейниаткой.

— Востриков! — позвал есаул Медведев.

— Слушаю, ваше высокородие, — вытянулся шустрый полицейский урядник.

— Пойдешь в разведку. Возьми с собой Любахина. Осмотрите подъезды.

Полицейский и казак стали собираться. Сняли шашки, лошадей оставили коноводам.

— Выгляжу нынче апайку*... — потихоньку балагурил Любахин, тучный чубатый казак с сережкой в ухе.

Казаки засмеялись.

— Эй, там... подбежал молодой хорунжий Сайфутдинов. — Я вот вас!..

С разведкой пошла собака Вострикова.

Казаки разбрелись по высокой траве, рассаживались на замшелых каменных плитах. Ложиться и спать не дозволялось.

* То есть башкирку (жаргон)

Все были настороже. О Могусюмке известно было, что этот разбойник неуловим и отважен.

Между тем разведчики напоролись на караульного. Едва собака учуяла его, как Востриков провалился в какую-то яму, прямо на спавшего башкирина. Началась драка. Караульный закричал по-башкирски. Другой караульный, сидевший на другой тропе, ближе к селению, услышав крики, вскочил на коня и помчался к дому Ирнарара. Тем временем казакам что-то померещилось. Они выстрелили несколько раз. Тотчас же поднялась вся полусотня.

— На коней! — скомандовал есаул.

Казаки выскакивали из травы и, позвякивая стремями, прыгали в седла.

Гуськом на рысях они промчались узкой тропой. В голове, пригнувшись к гриве и полузакрывая лицо локтем, гнал жеребца через колючую хвою есаул Медведев.

За пихтачом началась гарь. В завалах стволов и коряг, оплетенных молодой порослью, тропа пропала. Всадники сбились толпами. Спотыкаясь и сбивая лодыги, казачьи лошади лезли целиной. Чуть занялась заря. Впереди на западе небо наливалось сиренью, лес и сопки — багрянцем. Миновали гарь. Спустились на равнину.

— Хлеб зреет у этих разбойников! — удивился Медведев. — Порядочные пашни.

Вдали белело озеро. Разведчики вскочили на своих, подведенных товарищами, коней. Казаки на всем скаку вспенили неглубокий, но стремительный поток, лязгая мокрыми подковами по гальке, поднялись на другой берег.

Напротив на холме, у подножья крутой сопки чернели поодаль друг от друга три бездворые башкирские избенки. Это и был Куль-Тамак. Липняк в ложбине, каменная россыпь по косогору.

— Братцы, — крикнул есаул, — окружай деревню!

Полусотня стала растягиваться. Сайфутдинов вытянул жеребца плетью и поскакал вперед. Припав к лукам седел, казаки разогнали коней, залихватский свист разнесся по долине, и отряд с гиканьем и воем ворвался на холм.

Гребни гор, обступивших котловину, покраснели. Было совсем светло.

Могусюм, Хибет, Усман, Муса, Ирнарар, Шамсутдин встретили врагов кто на коне, кто пеший. Могусюм хотел поймать коня, но не успел. На поселье налетел целый вихрь. Могусюмка выстрелил. Полицейский задыбил скакуна и грохнулся о землю. Казак кинул аркан. Казаки кинулись к башлыку. Это были сильные, ловкие люди,

сидевшие в седле не хуже башкир и киргизов и привыкшие и отбиваться, и совершать самые отчаянные налеты. Могусюм вскочил и могучими руками разорвал кожаную петлю. Один из башкир в форме уцепился за его ружье. Востриков и Любахин кинулись на помощь башкирским казакам.

— Сам! Сам! — заорал один из них, рослый и плечистый, хватая башлыка за руки.

Востриков уцепился за башлыка. Дула уставились на Могусюма, но он озверел, глаза его безумно блуждали, и он, обезоруженный, но могучий и страшный, стал бить Вострикова.

Могусюма с трудом связали.

Подъехали офицеры.

— Пымали, ваше высокородие... — сказал, еле дыша, Любахин.

— Покажи-ка!

— Вот, в полном виде! — вытянулся бледный Востриков. — Еле словили!

— Он ли?

— Он! Он! — отозвались казаки.

Офицер тронул повод, подъехал ближе.

Могусюм смотрел пустым взором, как бы ничего не соображая, что случилось, или не веря, что в жизни его могла произойти такая перемена.

— Держать крепко! — велел Медведев.

Он слез с коня и подошел к Могусюмке.

Медведев попытался заговорить с ним.

Могусюмка, казалось, не видел, что казаки ловят его любимых жеребушек, теленка, которого ласкал он и берег, надеялся вырастить могучего быка. И любил его за памятьливость, ласковость, разум в глазах, за то, как языком лизал он руку Могусюмки, что знал его, был предан. Но сейчас не жаль ни телят, ни жеребушек. «Зейнап, Зейнап! Что с ней, что с ее отцом?» — думал он и поэтому задрожал, и сквозь веревки пытались рваться его стальные руки. В уме ожили все рассказы про ужасы и пытки, которым подвергали в старину повстанцев. Не за себя он боялся. Он страшился бесчестья невесты.

Казаки рыскали по дворам. Они искали клады спрятанных богатств, но всюду видели бедность.

Старик Ирناзар вошел в дом.

— Не смей выходить! — велел он дочери и схватил со стены двухзарядный пистолет

Куда ты? в ужасе спросила Зейнап — Куда ты, отец?

Старик снял с себя кинжал и отдал дочери.

— Храни его... И не выходи!

Он подозвал бабушку Гильминису и что-то сказал ей. Спрятав пистолет под халатом и согнувшись, старик, стараясь казаться слабым, быстро вышел и направился к толпе казаков. Те обступили пленных. Гейниатка заговорил с Могусямом.

— Вот теперь ты знаешь, как меня обижать... Теперь ты связанный в тюрьму попадешь...

Рябой, веселый и наглый, он смеялся в глаза Могусямке. В этот миг Ирназар подошел к Гейниатке, приложил пистолет. Грохнуло два выстрела.

— Бра-атцы... — изумился ражий звероватый казак с белесыми усами, когда Ирназара крепко схватили за руки. — Ведь это тот самый, что из Магнитной маток угнал!

— Сыми-ка малахай-то... Он. Ей-ей, он!

— Мотри-ка, куды метал!

— Старый воруга... Давненько тебя ищут!

— У-у... пропасть!

— Сказывай, где кони с Магнитной?

— Тут все они! Вот где конокрадская пристань!

И смеет убивать честного башкирина!

— Говори! — замахнулся на него ражий казак.

— Ничего не знаем, — смиренно отвечал старик, поблескивая из-под седых бровей черными глазами.

— Под Магнитной был? — подскочил Востриков.

— Бельмзем! — упорствовал Ирназар.

— Врешь, все понимаешь, зверина, — схватил старика за грудь казак. — Ты по-русски не хуже меня говоришь.

— Разворошить все гнездо!

Казак ударил старика кулаком наотмашь. Тот повалился на землю.

— Бей, бей! — закричали и русские, и башкиры.

— Говори, где клад? Где все спрятано?

Началось избиение.

— За коней тебе! — Ражий казак поднял ногу и с силой ударил старика каблуком в лицо.

— Бей его! — кричал молодой татарин. — Конокрад!

Каждый хозяин боялся и смертельно ненавидел конокрадов. Многие из тех, что били старика, и татары, и русские, и башкиры, имели большие табуны и были землевладельцами, держали батраков. У них свои счета с лесной зольницей.

— Прекратить самосуд! — заорал Медведев, заматываясь на своих казаков нагайкой.

Он вошел в дом, где лежала Зейнап. Девушка некоторое время была как в безумии, но вдруг, схватив кинжал, кинулась на Медведева. Любахин, бывший здесь же, ударил ее изо всей силы по руке. Кинжал выпал. Казак схватил башкирку, но она вырвалась и кинулась бежать.

— Ах ты, язва! — ругался Любахин, которого она царапнула все же кинжалом по руке.

Востриков, стоявший у крыльца и выдавший все это, сдернул с плеча ружье и уже было прицелился.

— Ты что это? — выходя из юрты, спросил Медведев.

— Дозвольте, ваше высокоблагородие, — ухмыльнулся казак, кивая на убегающую в лес башкирку.

— По бабе-то?

— Так точно.

— Я тебя... сукин сын!.. — пригрозил есаул, прижимая руку к царапине. Далеко не убежит...

Вокруг Могусюмки стояла толпа.

— Где клад? Где богатство? — спрашивали казаки.

— Где спрятал, спроси, — подбивал их Любахин, сам не знавший по-башкирски.

— Не богат он, нет у него ничего!

— Нищета, — заметил кто-то.

Казаки дивились удалцу, который рисковал жизнью, а сам жил, как бедный мужик. Ночью часовые услышали, как Могусюмка запел.

Он пел, что скучает, жалеет, любит Зейнап, что ее скроют родные леса. Потом запел, что леса гибнут, но настанет время, снова будут великие леса на Урале, зашумят вековые сосны.

— Видишь, как поет, — говорил Востриков, подходя к часовым. — Что он поет? — обратился он к казаку Михрюкову, понимавшему по-башкирски.

— Так, пустяк... — ответил Михрюков, хотя его сильно волновало пение удалого башкирина.

— Нет, это не пустяк, — усомнился Востриков.

Не спали и башкирские казаки и, не говоря друг другу ни слова, слушали Могусюмку. И вдруг где-то наверху, на огромной скале, что стеной стояла сразу за потоком, послышался женский голос. Он прозвучал во тьме, как с неба. Могусюмка стих, вслушиваясь.

— Могусюм, — кричала женщина, — убегии!..

Часовые всполошились. Подложили дров в костер. Огонь вспыхнул ярче. Из тьмы вверху проступила скала. Внизу виднелась пена потока.

Могусюмка что-то закричал.

— Молчать! — заорал на него один из казаков.

— Завяжи ему рот! — велел есаул.

Через час слышно было, как женский голос что-то тихо пел вверху.

На другой день пойманных повезли. Когда въехали в лес, Могусюмка вдруг воскликнул, обращаясь к казакам и показывая на лес вокруг:

— Вот мой клад! Смотрите, держите меня крепче, все равно убегу...

Глава 13

БАЗАР НА ЗАВОДЕ

В пятницу на заводской базар наехало множество народу. Во всю площадь вытянулись несколько рядов телег с торчащими вверх оглоблями, полных всякой всячины.

Башкиры навезли дикий мед в берестяных туесах, масло, баранов и баранье сало, дичь, ягоду, пригнали на продажу коней. Ягоду продают сундуками, бочатами и даже телегами, насыпанную прямо на рогажи.

Низовские мужики, из тех, что победнее, торгуют разными изделиями: попонами, ковшиками из липки, плетеными рыболовными снастями, деревянной посудой, корзинами, щепным товаром, лесовщиной, сапогами. Пара сапог стоит рубль. Любой сапог надевай на любую ногу. Есть и разные сапоги — для правой и для левой ноги, те на рубль дороже.

Богачи же деревенские торгуют коней, продают зерно, скот, шкуры, воск, сало, шерсть. Скупкой занимаются приезжие торговцы.

У лавок-шатров заывают покупателей.

— Эй, бабай, гуляй сюда, товар дешевый! — орет, обращаясь к башкирину-старика по-русски, купец-татарин в халате. — Кумач, ситцу, сукна дешевый.

Под рогожным навесом у бревенчатой булавинской лавки примостился продавец каслинского литья. Большие чугунные котлы, тонкие и легкие кумганы, сковородки, руко- мойники, чугушки.

— Эх ты, вот это товар, звенит... Звенит, язви его! — щелкнул пальцем по чугуну мужик.

— Касли! — с восхищением подтвердил башкирин.

— Якши, бик якши, — уговаривала мужа башкирская старуха, выбирая котел.

У высокого крыльца магазина толпятся дочери и жены башкирских богачей. Они ждут мужей и отцов с обновками. Лица женщин полуприкрыты шальями по-татарски. Яркие коралловые нагрудники с крупными опалами

в ажурном серебре пестреют из-под распахнутых камзолов, отороченных галунами. Смуглые полные шеи обвиты янтарными ожерельями, бусами.

Женщины терпеливо ждут. По обычаю им не полагается входить в лавку.

В магазине полки ломятся от товаров.

Захар и Санка отпускают покупателей. Грубые, простые сукна, синие, темно-красные, белые, работы московских сукновален, разложены на прилавках. Ситец, сарпинку, азиатскую выбойку, парчу — богатым невестам на сарафаны, китайку, связки дешевых кораллов, сахар, сушеные сласти, посуду продает сегодня Захар Андреевич.

Башкиры толпились подле Санки. Один покупает, остальные сосредоточенно наблюдают. А сам хозяин отпускает товар своим знакомым из околосовхозской деревни Низовки. Сегодня приехал оттуда с женой Акинфий, деревенский богач. Сорокалетняя Васса и сам Акинфий красны лицами и очень довольны, что покупают в таком хорошем магазине.

— Ну-ка, другую штуку покажи, — тем временем просит Санку покупатель-башкирин.

Приказчик кидает на прилавок кусок бухарской выбойки. Покупатель потрогал ее, но, видно, остался недоволен и стал опять смотреть на полку.

— Еще выше товар бери, — просит он.

Торговцы втолковывали башкирской бедноте, что лучший товар лежит на верхних полках. А когда заметили, что башкиры верят этому, стали заранее складывать дешевые материи повыше. То же делал и Санка.

И сейчас он снял с самого верха штуку дешевой ярославской сарпинки.

— Вот да, уж хороший товар, — башкирин даже прищелкнул языком от восторга.

— Какой же, товар — высший сорт! Сколько тебе?

— Кто же знает! Тебя спросить хотим, уж, пожалуйста, скажи нам, бабе-то сарафан шить надо.

— Если шить по-вашему, то пятнадцать аршин взять надо. Ну, мерить, что ль?

— Деньги-то много ли платить?

— За аршин по гривеннику, — накинул по две копейки Санка.

В магазин вошли две покупательницы в салоплах.

— Здравствуй, Захар Андреевич, здравствуй, Александр Иванович.

— Милости просим...

— Чайку бы нам...

— Чайку, сказывают, привез Захар Андренч?

Пока приказчик ходил за чаем, Захар показал покупательницам разные товары. Санка возвратился со стофунтовым цибиком на плече.

Распаковывание цибика с чаем было целым событием. Такое зрелище устраивалось только для жен лучших заводских мастеров или для главных служащих конторы, для богатых крестьян, купцов.

Санка разрезал на прилавке кожу и камышовое оплечение. Сверху в цибике на тончайшей китайской бумаге насыпан цветочный белый чай для запаха. Санка захватил его в горсть и поднес покупательницам.

— Кому такого чайку, пожалуйте...

— Ох, и пахучий! — воскликнула дебелия молодича. — Отродясь не нюхивала. Почем же такой, Захар Андренч?

— Два с полтиной фунт, Матрена Федоровна.

— Ах, дорогой!

— Прямо из Китая бухарцы привезли. Чаю такого у нас в заводе еще не пивали.

— Да уж отвесь полфунтика, Александра Иваныч, — сказала покупательница постарше и поджала губы.

В это время на улице раздался крик, и мимо лавки побежал народ. Вскоре покупатели кинулись наружу, оставляя на прилавках покупки. Следом за ними вышел на крыльцо Захар вместе с Акинфием и его женой. Санку оставили в магазине. Народ сбегался к перекрестку. Из-за изб выезжали казаки.

— Разбойников везут!

На первой телеге ехали связанные веревками Могусюм и Хибет.

— Могусюмку схватили!

— Скажи, пожалуйста! В самом деле Могусюмка попался, — удивился Булавин. — Что за чудо!... Как же это его словили?

— Вот когда он попался, тварь! — злорадно проговорил Акинфий, скаля свой щербатый рот.

— Разве у тебя с ним счеты? — спросил Захар. — Ведь Могусюмка около вашей деревни никого не трогал?

— Мало что не трогал. Всех их надо в куль да в омут!

— Тебя слушать, так ты сам бы рад, кажись, придавить его.

— А что же смотреть! Надо будет, так и придавлю, — весело сказал Акинфий, сжимая кулак. Кулак

у него был увесистый, и сам Акинфий, несмотря на голы и невысокий рост, крепок, как медведь.

Казаки отгоняли толпу.

— Не напирай! — размахивал плетью Востриков. Акинфий схватил камень с земли и запустил в телегу.

— Разбойная морда! — заорал он.

Медведев приказал проезжать базар поскорее. Возницы захлестали кнутами, телеги покатили быстрее, казаки конвоя зарысили.

Захар отошел. Он заметил двух башкир, которые о чем-то шептались, показывая друг другу глазами на вороного коня, на котором ехал есаул.

— Хороший конь, хороший конь, — разобрал Захар их слова.

Он понимал по-башкирски.

— Это Могусюмкин конь, — тихо сказал, подходя к ним, третий башкирин, рослый и плечистый, державший под уздцы горбоносого гнедого жеребца.

Башкиры еще о чем-то с любопытством расспрашивали высокого, называя его Хурматом.

Захар вспомнил, что у Могусюмки есть товарищ — татарин Черный Хурмат. Не он ли это?

Конвой с пленниками проехал. Толпа постепенно отставала от него.

Потом проехала телега с какими-то вещами.

Когда народ отхлынул, Захар увидел, что башкирин, признавший Могусюмкиного коня, вскочил в седло и куда-то помчался во весь опор.

«Это еще полдела поймать Могусюмку, — подумал Захар и пошел в лавку. — До города его везти четыреста верст, а дорога-то все лесом...»

Вскоре вернулся Акинфий и стал говорить, что нужно башкир почаще вот так хватать, что нечего церемониться с ними. И заводских надо бы поосторожнее держать.

— Уж так ли плохи башкиры? — спросил Захар.

— Конечно, не все. Вон у меня есть друг, Султан Темирбулатов, знаменитый человек. Построил, брат, школу, мечеть, какие караваны в степь гоняет! А разве Могусюмка со своей гольтепой в сравнение идет!..

В этот день на базаре было много толков. Люди передавали подробности, как поймали Могусюмку и что будто он продал жизнь свою не даром: сам убил предателя.

Захар любил походить по толпе, послушать. Одевался он просто, и не всегда люди признавали в нем богатого купца. Между прочим, услышал он, как ругали его соседа Прокопа Собакина, называли его кровососом, говорили,

что Собакин бесстыдно обманывает людей, торгует гнилью, дает в рост деньги, вводит и башкир и русских в такие долги, что люди потом не могут откупиться. Захар знал, что это правда, и ему приятно было слышать, как ругают Собакина.

Но тут же услышал Захар толки и про самого себя, что и Булавин подлюга, такой же кровосос, как Собакин, и что он богатеет с голи и рвани.

— Ты видал, какой он дом отстроил, какой у него амбар каменный стоит? Ни у кого, брат, таких амбаров нет. Как тюрьму построил. Что он в этом сарае держит?

Эти речи сильно задели Захара.

«Правда, — думал он, — разве я не знаю, что Санка обманывает покупателей. Вот хотя бы сегодня, опять он наверх плохой товар положил, а продавал за хороший. Ведь это я видел...»

Захар решил сказать Санке, чтобы этого больше не было. Казалось ему, что можно так торговать, что станешь полезным человеком, а не обиралой.

С тех пор как Захар пристрастился к чтению, он замечал, что в книгах торговцы изображены нехорошо, хуже других людей, и в то же время похожими, действительно, такие они и бывают. Книги эти и людские толки заботили его.

Глава 14

КРИЧНЫЙ МОЛОТ

Много передумал за эти дни Могусюмка. Он вспомнил, как лежал связанный неподалеку от избы Шамсутдина, у столбов с конскими хвостами на куль-тамакском холме и как желал лишь одного, чтобы спаслась Зейнап. Он искал ее вокруг глазами. Он видел, как убили Ирназара, как Зейнап кинулась к отцу, когда его били, как упала она без чувств. Могусюмка пытался грызть веревки, но получил такого тумака, что чуть не потерял сознание.

Видел он, как Зейнап бежала, как офицер запретил стрелять казаку, уже было нацелившемуся в нее. Ночью пел о ней и плакал о своей судьбе и снова пел о любимой и о погибшем урмане. На другой день пленников повезли, а куль-тамакские избы — их было всего три — запылали, подожженные казаками. Осталась там старуха Гильминиса да где-то в лесу Зейнап, чей призывный голос услышал башлык ночью. Что с ними будет, неизвестно. Могусюмка не терял надежды вырваться рано или поздно из вражеских рук. Но убежать

трудно: казаки хитры. Они умели крепко держать пленников. Вечная борьба со степняками на пограничной линии, которую вели они из поколения в поколение, воспитала в этих людях необычайную наблюдательность, хитрость и осторожность. Трудно от них уйти...

Могусюм оживился, когда стали подъезжать к заводу. Когда свернули не на перевал, а к углесидным кучам — «кабанам», он понял, что попадет в заводской поселок, увидит, может быть, старых своих друзей.

И вот без шапки сидит он у крыльца заводской конторы, а бок о бок с ним Хибетка и дедушка Шамсутдин. Огромная толпа рабочих обступила их и смотрит. На этот раз тут много людей, не знакомых Могусюму, и смотрят они со злом.

— Ошибка, может быть, произошла, обознались... — говорят мастеровые.

— Что ты, да я знаю Могусюмку-то. Вот он носатый, у которого рожа-то посмышленей. Он у Махмутова старика коней пас. Богатый, брат, башкирин был. Могусюмка его и прикончил. Ты ему поди-ка в лесу попадись.

— А ты слышал, как на Шкериных напали, на лесорубов, чуть не убили. Этот вот Могусюмка.

Потолкавшись у конторы, пока на заводе полдничали, рабочие возвращались на свои места, уже более спокойно обсуждали случившееся.

— Надо их понять, — говорил молодой рабочий Степан Рыжий. — Им обидно. Заводы теснят. Много ли у них земли осталось? Им полосу отведут и начальство объявит: мол, пользуйтесь, охотничайте, мед собирайте... А кто-нибудь из них, который побойчее из богатых сыщется, этот лес опять да и продаст. Огрет себе капитал.

— Это верно, — подтвердил беззубый Порфишка. — Богатые же башкиры все леса свои растрясли. Спроси-ка нашего деда.

В заводе рабочие расходились по сараям. Степка Рыжий и Порфишка подошли к кричному молоту, на котором Гурьяныч собирался начинать работу. Он не ходил к конторе.

— Что там случилось? — спросил он, бросая кричонка под молот.

— Конокрадов изловили, — отвечал Степка, — в завод привезли. Казаки их у конторы караулят.

Гурьяныч сразу не обратил внимания на эти слова и пустил молот. Балда ударила по железу.

Вдруг он бросил клещи на чугунный пол и, не отцепляя передачи колеса, повернулся к Степке.

— Кого изловили, ты сказал?

Молот продолжал бить по железу, плющил крицу.

— Могусюмку поймали, он там у конторы сидит, на телеге его привезли. С ним другой тоже... И третий...

У Гурьяна сердце замерло. «Он ведь мне брат, — подумал мужик. — Ближе братьев, я рос с ним... Отец мой был друг с его отцом...»

А Степан вдруг побледнел и спрятался за колесо. В тот же миг Гурьяныч почувствовал, что кто-то пнул его сзади. Он обернулся. Перед ним стоял Оголихин.

— Твое, что ль, мастерство? — прищурившись, кивнул «верховой» на разбитую крицу.

Колесо вертелось. Молот пробил ком железа, края его растрескались и стыли.

— С завода выгону мерзавца! — заорал Оголихин. — Железо тратишь... Останови молот! Ты что, собачий сын, тут тебе не купеческая жена Настасья, — и он добавил грязную брань.

— Ты зачем так сказал? — спросил Гурьян.

В кричной наступила тишина. Оголихин нагло усмехнулся и подбоченился. Казалось, Гурьян стерпел обиду и потянулся было рукой, чтобы остановить колесо. Но вдруг он обернулся и шагнул к «верховому».

— Ах ты, пропасть! — заревел тот и толкнул Гурьяныча к молоту.

Рабочий удержался на ногах, но расшвырнул и кинулся на Оголихина. Он схватил Максима Карпыча за горло. «Верховой» побагровел, дико взмахнул руками, хотел что-то сказать, но хватка была так крепка, что из посиневших его губ вырвался лишь отчаянный крик.

Гурьян вдруг со всей силы швырнул «верхового» прямо к крице. Все это произошло так быстро, что никто не успел помочь Оголихину. Тот старался ухватиться за людей, но все в ужасе отпрянули, никто не пособил ему, и «верховой» упал на пылающий ком, чугунная балда тут же рухнула Оголихину на плечо. Молот снова поднялся, раздался второй удар.

— Человека убили! — пронеслось по кричной.

Рабочие сбегались к вододействуемым колесам. Отвели воду, остановили вал.

— Оголихина под молот закинули!

Толпа обступила Гурьяна. Явились стражники. Все понимали, что следует убийцу вязать, но Оголихина ненавидели и в Гурьяне готовы были сейчас видеть освободителя. Однако закон был законом, и взять надо, хотя и не хотелось.

— Ребята, — появился десятник Запевкин, — а ну-ка, хватайте его!

— Бери его!

— У-у, злодейская душа!..

Тут некоторые зашевелились, желая выслужиться перед начальством. Все рассчитывали, что Гурьян после такого дела сам дастся в руки. Но тот, оттолкнув ближайших рабочих, кинулся в сторону, поднял с пола чугунные клещи и угрожающе взмахнул ими над головой.

— Да вяжи, чего бояться! — кричал сзади Запевкин.

— Поди-ка сам попробуй, свяжи! Ловко тебе за чужими спинами вязать, — отозвался старый горновой Кузьма Залавин.

Гурьян обвел взглядом молоты, вододействуемые колеса, плотину, лица товарищей, навесы, словно навсегда прощался со всем этим, и вдруг, еще шире взмахнув клещами, двинулся прямо на толпу.

— Расступись, эй, расступись, зашибет! — пятились передние, пугаясь его дикого вида.

Гурьяныч прошел через толпу и направился к воротам. Огромная толпа горнорабочих тихо двинулась за ним. Кто-то еще пытался подбежать и схватить его, но тогда Гурьяныч поворачивался, кидался с клещами на толпу, и она шарахалась в сторону. Так отбегали несколько раз, а мастер продолжал свой путь.

У заводских ворот, выходявших к пруду, дорогу ему смело заступил старикашка сторож. Гурьян, положив клещи, поднял его, взяв за бока, как игрушку, и отставил в сторону. Тут он обождал, когда толпа приблизится, и, наконец, сняв шапку, низко поклонился.

— Прости, народ православный! — сказал он.

Он пошел по берегу пруда к лесу. Толпа остановилась у ворот.

— Хватайте его, чего смотрите! — заорал, вырываясь вперед, кривоносый Запевкин.

Видно было, как Гурьяныч полез в гору. Несколько стражников пошли за ним. Ружей у них не было. Гурьяныч сел на обрыв на камень, повыше их сажень на двадцать. Стражники внизу тоже остановились. Потом он слез с камня, выворотил его из земли и пустил под обрыв. Стражники побежали обратно, а в толпе невесело и вразнобой засмеялись.

Запевкин побежал донести управляющему об убийстве. Того в конторе не оказалось, пришлось идти к нему на дом в Верхнее селение, за плотину.

В просторных комнатах старого барского дома управляющий давал обед есаулу Медведеву. Управляющий человек был немолодой, ленивый и болезненный, находившийся, как говорили, под каблуком у своей любовницы, заводской девки. До него дошел слух, что заводы переходят в собственность какой-то иностранной компании. Он понимал, что нем-

цы его держать на службе не будут. Поэтому он мысленно уже простился с заводом и собирался в скором времени уехать в Петербург.

Узнав о смерти Оголихина, он перепугался не на шутку и стал просить помощи у Медведева. Полицейский офицер принял в этом горячее участие и немедленно отправился производить расследование, а хорунжий во главе казачьего взвода отправился сам на ловлю Гурьяныча.

Отряд возвратился на завод поздно вечером, обшарив по окрестностям все балаганы, башкирские кочевки и углесидные кучи. Беглеца не нашли. Решено было на другой день взять с завода более опытных проводников да хороших охотничьих собак и разослать отряды в разных направлениях.

На рассвете есаула разбудили. Прибежал бородатый урядник и доложил, что у заводской каталажки, где сидел Могусюмка, разбит замок. Башлык и один из его товарищей исчезли, часовой связан веревками и посажен в каталажку, и, по его словам, вязал его русский — человек рослый и лохматый, с большой бородой, и будто ему пособляли какие-то башкиры, одного из них звали Кара-Хурмат — Черный Хурмат.

В руках у Медведева остался дедушка Шамсутдин и трое парней из Могусюмкиного отряда.

Есаул пришел в бешенство. Беда не в том, полагал Медведев, что Могусюмка будет грабить. Если бы он был только конокрад и грабитель, его бы давно поймали. Но имя его окружено ореолом героизма. Этого удальца, которому скорее надо было бы жить где-нибудь на Кавказе и разбойничать в горах, как Казбичу или Азамату, любили, уважали и башкиры и даже, как заметил есаул, русские. Свои же казаки истоптавшие старика Ирназара насмерть, к Могусюмке относились с непонятым уважением.

«Какая мерзость! Такого случая еще не было! — думал Медведев. — Заводские помогли сбежать... Сиволобов оказался его старым дружкой. Неужели Могусюм в самом деле неуловим?»

Эта мысль задела казачьего офицера за живое. Он решил добиться в городе принятия мер и во что бы то ни стало изловить Могусюма.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

В СТЕПИ

Глава 15

ВЕЧЕРНЯЯ ПЕСНЯ

Могусюмка хорошо выучился на дудке играть. Настоящий курайсы! Славно играет Могусюм! За долгие скитания с башкирами стал Гурьян привыкать к их напевам.

То плавно льется звук курая, то задрожит, затрепешет, как соловей.

Гурьян сидит у чугунного котла. Неподалеку одинокая бревенчатая юрта, а за ней широкая степь — черная от травы, сожженной еще в прошлом году солнцем, поваленной ветром и сгнившей от дождей. Кое-где сквозь эти завалы ветши пробивается свежая трава, и вдали, местами, степь зеленеет.

Далеко-далеко за степью низкие хребты. Там заводы, рудники, углесидные печи. Мал отсюда хребет, темен, ниже древней юрты, слабой полоской тянется он за степью. Стреленный конь бродит по степи — под брюхом виден весь Урал.

Гурьян смотрит на горы. Далеки они... Далекий стал теперь весь горный заводской мир для Гурьяна. Уже несколько лет, как рыщет он по степи с башкирами. Сначала скрывались в сухой Голодной степи, потом перешли за Семиколенную гору, на западную сторону Урала. Оренбургским трактом, меж столетних берез, скакали на Стерлитамак, ходили под Чишмы, по красным глинам Приуралья, там, где на косогах и холмах ютятся татарские деревушки с каменными оградами из слабого серого известняка.

Гурьян, выросший в глуши, в лесной стороне, повидал настоящие яблоневые сады, имения богатых русских помещиков, липовые и дубовые рощи, чистые, как сады. Под Белебеем, проезжая с сельского базара, встретил однажды легкие экипажи с помещичьей семьей. Потом бывал в Уфе, видал дворян, купцов, чиновников. Насмотрелся Гурьян на такое, про что и не ведал он, живя на своем глухом горном заводе

По виду он обашкирился, летом носит стеганую шапку, халат, сарыки, на коне скачет, как степняк, по-татарски и по-башкирски толкует как природный магометанин.

Бывало, играют в степи сабантуй, весенний праздник плуга, гуляют пахари и кочевники, съедутся русские, татары и башкиры. Степь горит от серебряных нагрудников на женщинах, тысячи распряженных коней стоят у телег или скачут стреноженные, тысячи оглобель щетиной поднялись по степи к небу. По весенней зеленеющей траве бредет, шумит, голосит, сверкает огромная толпа. Бьют ли горшок с завязанными глазами, борются ли, скачут ли наперегонки под дикий вой возбужденного народа, — Гурьян повсюду с башкирами.

— Какой башкирин русский да бородатый! — заметят, бы вало, русские.

— Кто башкирин? — поднеся лицо к сказавшему, спросит Гурьян, расстегнет рубаху и покажет нательный крест.

«Бродяга!» — со страхом подумает сказавший и пойдет прочь, и уж более не выказывает удивления, что у башкирина выросла такая русая борода.

И товарищи по скитаниям, и люди, у которых приходится останавливаться и скрываться, любят Гурьяна. Хотя он молчаливый, никого не веселит, шуткой не радуется, но зато все умеет. Гурьян полезный человек. Он может починить ружье, подковать лошадь. Он даром делает то, за что обычно проезжим мастерам-лихоимцам или купчишкам, или кузнецам-живодерам приходится платить втридорога. Гурьян умеет разобраться и в пружинах, и в разных винтах, он самую трудную работу с удовольствием исполнит. И говорит, что не заработать хочет, а просто для собственного удовольствия: сильно соскучился по делу.

Прошлым летом из-под Уфы Могусюмка и Гурьян южным степным, холмистым Уралом перешли опять на азиатскую сторону, в киргизские степи, бродили по ярмаркам, по кочевкам, сами завели табунок лошадей. Весной пришли сюда, где близки казачьи станицы, к пастбищам горных башкир, выгонявших скот на степь, на откорм. Башкиры с реки Демы из-под Белебея, ходившие с ними на западной стороне, теперь отстали. Но зато вернулся бежавший из Сибири Муса. А Усман и Шамсутдин погибли. Снова пристали к Могусюмке Мурсалим и Гильман. Так бывало: джигиты то приходили, то отставали.

Верные и не покидавшие Могусюма друзья: Черный Хурмат и Гурьян. Хурмат вместе с Гурьяном помог бежать Могусюмке, когда привезли его пойманного, в кандалах, на завод.

Сегодня опять стал виден Урал — горный, лесной, как раньше та часть его, где было много заводов. Защемило сердце у Гурьяна, словно после разлуки встретил он дорогого и близкого человека.

Поглядит туда Гурьян, вспомнит родной завод, и захочется побывать ему на старом месте, повидать друзей.

Чуть видны белые пятна снегов. В эту пору снег еще лежит и в вершинах, и по долинам. Где-нибудь, накрытый слоем гнилья и листьев, лед висит козырьком над вздувшейся бурно бегущей речкой.

Гурьян знает: если на высокую сопку заберешься, глянешь вниз с гребня — белые снега, как пряди, вплетены в голые леса, хотя всюду весна, уж лопаются почки, скоро зацветет черемуха, уж жаворонок днем поет над пашней, стоя в высоте, кукушка кукует, сегодня-завтра соловей запоет.

— Эй, Могусюм! Хватит плакать, давай плясовую! Нам ли горевать, — скажет Гурьян.

А место тут опасное: близки казачьи заимки. Правда, многие казаки знают Гурьяна, и почти все слышали про Могусюмку, что удалец известный, заступает за обиженных башкир, трясет своих баев.

Бывает, казаки встретят его и поздороваются сами. Да еще спросят: «Не попался еще? Смотри, брат, скоро тебе секим-башка!..»

Но есть среди казаков смертельные враги Могусюмки. Да к тому же казаки сами удалой народ, многим хочется помолодцевать, изловить Могусюма.

Башлык перевел дух, поднялся, испил воды и снова стал играть. Зажурчала бойкая плясовая.

Не легко Могусюму! Тоскливо и ему смотреть на эти горы. Тоскует башлык. Тоскует — на дудке играет. После того как он убежал из заводской каталажки, ходил он на Куль-Тамак, но на пепелище ничьих следов не нашел, и нигде, и никто не мог сказать ему, куда исчезла из сожженного поселья Зейнап и старуха Гильминиса, оставшаяся там.

А в горных речках вода сейчас не прозрачная, а белая, как с молоком, цветом похожа на тот известняк, что повсюду скалами стоит по Уралу. Кажется, вода растворяет в эту пору белые скалы. Речки ревут и грохочут, набухшие, быстрые, сильные.

Ольхи, ветлы, черемухи и тополя — стоят уж не на берегу, а прямо среди потока. Устоять, конечно, трудно, только самые крепкие выдерживают, а гнилые и слабые валяются в воду.

... Могусюмка все жалеет, что лысеет Урал, обнажаются горы, что там, где был вековой урман, пеньки остаются, ме-

леют реки. Но еще велики леса по Уралу, еще местами стоит лес от века не рубленный,— «старый лес», как называют его башкиры, где не стучал никогда топор промышленника.

Нынче урза — мусульманский пост — пришелся на весеннюю пору. Уж скоро праздник — конец поста, начнется гулянка в селах. Могусюмка пост плохо соблюдает. В эту пору можно есть только ночью, а он нет-нет да поест днем, на дудке поиграет. Веселится, когда весело, грустит, когда грустно. В мечеть не идет — молится дома. У Гурьяна пасха прошла, но и он не постился и на страстной неделе не ходил в церковь, хотя помнил про пост и праздник. И Могусюмка, конечно, помнит.

... А курай все играет. Гаснет заря над голыми степными горбами. Костер горит.

— Что, Могусюм, грустно?

— Грустно,— с печалью отзывается тот.

— Поедем в горы.

— Куда?

— Вон туда! В родные места...

— Это не наши места. Наши дальше... — Могусюм махнул рукой на север.

Горы напоминают Могусюмке о Зейнап. Кто ее увез? Кто украл? Где она? Бродила Зейнап по пожарищу и, может, сложила там свои кости, задрали ее по осени голодные волки. Или, быть может, ушла, нанялась в батрачки к богатым русским или башкирам? Но ведь верно говорит у русских пословица: «Бедной девушке краса — смертная коса». Бедная она сирота, и каждый сделает с ней все, что захочет.

Власти искали Могусюмку и Гурьяна. По Уфимской и Оренбургской губерниям казаки и полиция гонялись за ними. Да все пока благополучно сходило.

— Поедем к дяде Шакирьяну,— говорит Могусюм.— У него юрта в пятнадцати верстах от Магнитной.

Стемнело. Вокруг костра ходит старик Бегим. Это тоже старый спутник Могусюмки. Он в теплых сарыках и в черном кафтане. У него маленькое желтое лицо, седая борода лопаткой и острые скулы.

-- Ну, неверный,— обращается он к Гурьяну,— трава пойдет скоро, будем кумыс пить.

— Будем!

Бегим постится, вчера ездил в мечеть. Он принес кумган, стал мыть руки.

— Ты не такой, как другие русские,— продолжает Бегим.— Переходи в нашу веру!

— Нет, я от своей не отступлюсь. Ведь я крещеный и

богу молюсь правильно, двумя перстами,— шутя отвечал Гурьян.

— Наш закон хороший, а ваш плохой. Из-за вашего закона все гибнет... И люди, и урман, и скот.

Обычно Бегим очень осторожен, никогда не скажет никому из русских плохого слова про неверных. Но с Гурьяном он не стесняется.

А Гурьян знает: плохо живут башкиры. Десятый богат — со скотом, с баранами, а девять — голы. Теперь, когда влез Гурьян в башкирскую шкуру, понял он, что есть от чего тосковать башкирам.

Вот они, печальные, в оборванной одежде, в круглых мохнатых шапках сидят у костра.

— А в завод пойдем работать?— говорит Гурьян, обращаясь к старику Бегиму.

Хибетка, приятель Могусюмки, слыша эти слова, поднимает голову, и широкая, добрая улыбка оживляет его лицо.

Старик не на шутку рассердился.

— Тьфу, тьфу на твой завод! Ай, ай, Могусюмка! Зачем у тебя приятель такой!..

— Завод жизнь земле дает.

— Грех! Какая жизнь? Дым, огонь, болезни....

У Гурьяна с Бегимом старая перебранка. Когда старик начинает уговаривать Гурьяна менять веру, тот заводит речь про заводы.

Могусюмка и Хибетка посмеиваются и молчат.

Могусюмка иногда как будто сам не знает, за кого в этом споре, который длится не первый день. Если метко человек скажет, Могусюмка смеется, как бы соглашается. Потом другой напротив говорит — тоже смеется и тоже соглашается. Но это только кажется. Башлык знает, что хочет, да трудно узнать — не говорит никому.

Многие башкиры работают на заводы, возят руду, рубят лес, жгут уголь. Но редко-редко встретишь башкирина, который жил бы на заводе, работал у домны или у горнов. А Хибетка давно уж хочет к огню. Начнет Гурьян делать винт или перековывать железо, закалять сталь или ковать лошадь — Хибетка тут как тут, и жадно наблюдают острые глаза его за черными руками бывшего мастера, и быстро перенимает он от Гурьяна умение обращаться с железом и вырезать из него инструментом все, что нужно. И не боится Хибет огня, искр, не сторонится, когда окалина летит из-под ударов молота.

— На хорошем заводе саблю скуют, ходок для телеги, на подковы железо наварят, сделают плуг. Завод не виноват,

если люди, как собаки,— уже без шуток, серьезно продолжал беседу Гурьян.

— Смейся! Так скажешь — все хорошо! И тюрьма хороша. Решетки для тюрьмы тоже из железа.

— Не сама тюрьма страшна, а люди, которые к ней приставлены. А тюрьма — изба.

Бегим, бранясь, отошел к юрте.

— Хорошему заводу можно дать место, кроме пользы ничего не будет. А ты что приутих, Могусюм, играй, брат, играй, товарищ!

Но Могусюмка молчит, слушает.

— Мне кажется, в перелеске жаворонок поет вечернюю песню,— говорит он.

Но ничего не слышно.

Темнеет.

— А кто теперь нашего урмана хозяин?— спрашивает Могусюм. — Говорят, новый теперь хозяин.

— Хозяин, брат, далеко. Он в урман шагу не ступит. Урманом распоряжается тот, кто пером чешет и чешет, приказ по конторам дает. У кого сила в кляузе, в бумаге.

Опять зажурчал курай. На простой дудке, на полом стебле играет Могусюм, перебегает пальцами по пяти дыркам. Потом отложил курай.

Урман, мой урман,
Вечный и прекрасный,—

запел башлык

Могусюмка складно сочиняет. Часто люди не скажут, что они думают, что хотят,— только по песне узнаешь, прислушавшись. Редко кто умеет песни сочинять. Малый был Гурьян, всегда спрашивал у матери: «Кто песню сложил?»

Мать, бывало, рассердится, что с глупостями пристает, а потом скажет, когда досуг: мол, бедные люди складывают, бабы больше, бывает, и мужики, разбойники тоже...

Урал, Урал, гребни твои седые,—

поет Могусюмка.

Скоро лыса будет старая голова твоя,
Как у старого глупца. Вытравятся на ней кудри, вытрутся.
Поседеют и помертвеют последние, засохнут березы,
Урал, Урал, гребни твои сивые и лысыс.
В городе чиновник бумагу большую пишет,
И в конторе тоже бумаги пишут и сидят
На высоких стульях...
Не тот, кто с сайдаком бьет зверя и
Скачет на коне, а тот, кто бумагу пишет

И носит очки, как старик,
Тот урмана хозяин...
Кто на лыжах не бегаёт, кто железа
Не варит, кто только бумаги пишет
И закон знает....

Опять Могусюмка взял курай, стала дудка шутить, подшучивать, подыгрывать веселый напев для горькой-горькой думы, потом опять отложил курай и запел грустно:

Будет у тебя сын, моя любимая,
Не расти его смелым, не расти его умным,
А научи писать на бумаге, пусть закон толкует...

— Был бы ты по-городскому грамотен,— говорит Гурьян,— с твоей головой далеко пошел.

Долго молчит башлык. Думы его печальны. А думает он, что темен, нищ его народ, только муллы да богачи кичатся своей арабской образованностью.

Глава 16

ЖЕЛЕЗНАЯ ГОРА

В башкирской деревушке, по дороге к Магнитной, в плохонькой кузнице Гурьян перековал всех лошадей. На досуге стал ковать кинжал. Башкиры толпились у горна.

— Нам завод не нужен,— пошутил Могусюм.— С нами свой завод ездит.

Гурьян вывел по лезвию кинжала насечку. Приделал красивую ручку.

— А ты говоришь, железо кто делает — худой человек,— обратился Хибетка к Бегиму.

— Не худой, хороший,— отвечал старик,— только неверный. Завод хочет строить, леса наши губить.

— А что, к примеру,— заговорил Гурьян,— я был бы хозяин завода?

— Тогда бы хорошо! — отозвался Могусюм.— Только зря языком болтаешь!

— Ай-ай, какой человек! Шалтай-болтай не надо! — подхватил Бегим.

— А вот я слышал, что нынче не дровами будут домны топить, а камнем, углем каменным, а не древесным,— молвил Гурьян.

— Нельзя камнем топить,— возразил Бегим.

— Горючий камень...

— Откуда столько камня достать?

— Правда, правда, старик, будут...

Гурьян подарил кинжал Могусюмке. Почувствовал бывший мастер, что растравил себя работой у горна. Как видение, стояло у него теперь в глазах зарево от огромной заводской печи, комы горячего железа. Казалось ему, что слышит, как скрипят водяные меха и колеса, чувствует, как горячая струя воздуха бьет, как пышет пламя, — все ожило в памяти.

Сильно стосковался Гурьян по заводу и по старой своей работе. Захотелось ему побывать на заводе.

— А у башкир свои кузнецы всегда были, — не сдавался Бегим. — Железо умели варить в ямах. Вон и в Хиве тоже пушки умеют делать.

— Там пушки куплены у немцев, по-немецки слова на них выбиты. Только слава, что ханская артиллерия. Вон солдаты приходили со службы. Говорили, на Кавказе тоже пушек лить не умеют. Песни славно поют, танцуют, кинжалами режут друг друга, а пушки покупные.

На другой день друзья доехали к старику Шакирьяну. Он жил с семьей в одинокой юрте среди глухой степи. На десять верст вокруг ни юрты. Прискакали к нему ночью.

— Теперь родные места ближе, — сказал Могусюмка. — Утром свои хребты увидим.

На рассвете поднялся Гурьян и стал смотреть туда, где был Урал. Но там все застлано мглой. Только к полудню явились горы, слабые, низкие, теряющиеся в траве где-то далеко-далеко.

— А ты знаешь, поеду-ка я на завод, — сказал он Могусюмке. — Хочу повидать своих. Поедем?

Могусюмка согласился. У него тоже болела душа. Ему тоже хотелось повидать старых друзей, родню.

А вечером прискакали двое башкир. У костра, где стоял большой черный котел, Могусюмкины джигиты уселись в кружок. Один из приезжих — Сахей, знакомый Шакирьяна — безбородый, со шрамом на щеке, в рысьей шапке. Он несколько раз недоверчиво поглядывал на Гурьяна и, наконец, спросил:

— Это неверный?

— Неверный, — подтвердил Бегим.

— И по-нашему понимает?

Понимает. Он русский, но при нем говорить можно все, — ответил Черный Хурмат

Приезжий стал рассказывать, что появился необыкновенный человек, который был недавно в святых местах. Сейчас живет в Хабибулине в доме муллы.

— Что же он нового рассказывает?— спросил Могусюма.

Башкирин со шрамом стал передавать со слов странника, что нового в святых местах, а сам все посматривал на Гурьяна.

Тому показалось, что приехавший еще что-то хочет сказать, да не хочет при нем. Гурьян поднялся и направился к одинокой бревенчатой юрте. Могусюм окликнул его, но Гурьян не отозвался.

Во тьме ему стали видны стреноженные кони, слышалось, как они щиплют свежую траву.

— Кто это такой?— кивнув вслед Гурьяну, спросил башкирин со шрамом.

— Это мой друг,— сказал Могусюм.— Он мне как брат.

— Не выдаст?— улыбнулся Сахей.

— Этого русского полиция ищет, он помог бежать Могусюму!— сказал старик Шакирьян.

— А-а!..— удивленно и как бы несколько разочарованно молвил Сахей.

Гурьян принес тулупчик, расстелил его поодаль от костра и улегся. Любопытство разбирало мужика. Джигит со шрамом еще некоторое время на него поглядывал, но вскоре успокоился и опять заговорил о святом.

— Я скажу тебе, Могусюм... Не удивляйся... Рахим послал меня к тебе, велел тебя искать. Он хочет тебя видеть.

— А старый он или молодой?— услышал Гурьян голос Могусюма.

— Нет, он не стар. Он молод. На коне сидит, как самый лихой джигит, и ружьем хорошо владеет.

— Э-э! Так он славный святой!— воскликнул Могусюм.

«Не дай бог, муллы хотят устроить ловушку, Могусюма изловить. Ведь он им насолил!» — думал Гурьян. Он уже огляделся в потемках: кони на месте, собаки спокойны. Оружие у всех под рукой.

Утром гости уехали.

— Ты вчера слышал, что они рассказывали?— спросил Могусюм, глядя вслед облаку пыли на дороге, в котором виднелись спины двух всадников и два конских крупа с длинными неподрезанными хвостами.

— Я не спал,— ответил Гурьян.

— Ну, что ты скажешь?

— Они не зря приезжали.

— Мне тоже так думается...

— Что-то им от тебя надо...

Глаза Могусюма блеснули.

— Только смотри, нет ли тут ловушки...

Могусюм жил под вечной угрозой погони. Поэтому часто не верил даже тем людям, которым помогал. И хотя он втайне встревожился, но, стараясь заглушить беспокойство, сказал:

— Нет, тут не ловушка. Шакирьян знает Сахея, говорит, это удалец отважный, бывал в чужих краях, не захотел идти в солдаты, сбежал. Это честный человек.

— Не бунт ли затевают?— спросил Гурьян.

Могусюмке и самому казалось, что затевается бунт, хотя ни слова об этом не было сказано. И сейчас он смолчал.

— Ну что ж, съезди к этому святому... — сказал Гурьян.

— А ты в это время уедешь на завод?

— Мне не к спеху. Подожду, пока ты вернешься.

Гурьян припомнил разные рассказы, слышанные в детстве, как в старые времена башкиры бунтовали против власти. Память о тех бунтах жила до сих пор и на заводах и среди башкир. За эти бунты башкир казнили массаами, запарывали, ссылали, рвали им ноздри, выжигали на теле клейма. Где живы были столетние старики, там можно было послушать еще и нынче о тех временах, хотя об этом даже говорить боялись, вспоминать про бунты запрещено строжайше.

А вдруг бы опять башкиры поднялись? И заводские бы не сидели, подхватили, прискакал бы гонец на завод, крикнул: «Ипташ*, на коня!» — и запольхало бы...

На миг затуманилась голова Гурьяна при мысли о том, какая бы это была радость. «Не скитались бы мы с другом, а послужили бы, я народу православному, а он своим... Нашелся бы главарь. Да нет! Напрасно! Нынче другое время, и этого не может быть. Впрочем, чем черт не шутит! Пусть Могусюм съездит, посмотрит...»

— Съезди в Хабибулино, посмотри, что за странник. Послушай, что там толкуют. Мне потом расскажешь. Может, станем вместе бунтовать. Как в старые времена, — шутиливо сказал Гурьян, но глаза его смотрели серьезно.

Бунт всегда дело привлекательное для подавленного, измученного человека. Могусюмка оживился.

— Только, смотри, не попадись,— сказал Гурьян.

Могусюм об этом и сам уж подумал и решил, какие меры предосторожности принять.

* И в т а ш товарищ

ПРИШЕЛЕЦ ИЗ МЕККИ

Весело перестукивают, цокают коваными копытами по каменистой дороге башкирские кони.

Утренняя дымка над степью. Среди ровной, безбрежной равнины низкие скалистые холмы, как всплески серых волн на огромном озере. Орлы вспорхнули, запрыгали по дороге с полураскрытыми крыльями, с трудом переходя влет. Наконец расправили крылья, и первые тяжелые удары по воздуху тоже были похожи на отчаянные прыжки. Казалось, птицы эти могут только прыгать и так тяжелы, что никогда не взлетят.

А маленькие бойкие пичужки, напуганные широкими взмахами их крыльев, уж давно взлетели из травы и с гордыми и победными криками носились в воздухе, смеясь над могучими, медлительно взлетающими орлами, и кричали им сверху: «Мы можем, мы можем! А вы не можете! Не умеете летать! Хи-хи! Ха-ха! Ничего не умеете! Хи-хи! Ха-ха!»

Путники остановились на ночлег в маленькой степной деревушке.

Под утро на телеге, заложив в нее своих коней, поехал вперед татарин Черный Хурмат, один джигит с ним в телеге, а двое скакали верхами и вели в поводу запасных коней, как бы назначенных для продажи. Джигиты должны были остановиться в Хабибулине вблизи дома муллы, у кого-нибудь из соседей, делая вид, что едут в степной город на базар.

К утру один из джигитов вернулся. В Хабибулине, по его словам, все спокойно; Хурмат уже там. Но на летнюю кочевку почти никто из жителей еще не выезжал, все живут в деревне, и поэтому надо быть поосторожней.

Могусюмка помолился, позавтракал и в середине дня вместе с Бегимом подъезжал к Хабибулину.

У околицы пасся скот.

— Где дом муллы?— спросил он у бородатого старика пастуха в черной ватной засаленной тюбетейке, стоявшего с кнутом подле ворот в околице.

Старик показал, как проехать. Всадники поблагодарили пастуха. Могусюмка ударил коня плетью.

Вскоре нашли дом муллы. В соседнем дворе какой-то человек, снявши колесо с оси, возился у телеги. Видно, проезжий, у него испортилась ось. Могусюмка узнал Хурмата. Он ссорился со своим спутником Мусой, называя его «дядей».

У муллы дом с покосившимися воротами и с досками, положенными из двери прямо в глубокую грязь на дворе. Видно, вчера шел дождь. Всадники въехали во двор и спрыгнули с коней. По доскам, как по крыльцу, вошли они в дом, прежде чем кто-либо успел выйти и встретить их. В доме, несмотря на теплую пору, было очень жарко на-топлено. Духовные лица и богачи любят тепло. Жара в доме — признак достатка, а значит, и ума и образованности. У кого в доме тепло, тот и здоров. В старости тепло полезно. Пахло прелой кошмой, салом и конским потом, всюду лежали седла, на стенах висели уздечки.

В одной из комнат, на урындыке*, на ковре сидели седобородые старики. Среди них хозяин — тучный, лысый, безбровый, и тут же приезжий — Рахим-бай, остролицый, широкоплечий человек, еще не старый, с черной кожей, горбоносый, с острыми глазами навывкате, как у хищной птицы.

Все встали, почтительно приветствуя гостей, прикладывая руки к лицу, Могусюмка тоже приложил руки к лицу и сказал:

— Благослови, аллах, — потом обеими руками пожал руки стариков.

Властный и сильный вид Рахима понравился Могусюмке.

Лицо Рахим-бая расплылось в улыбку, он кланялся Могусюмке особенно вежливо.

Взрослый сын хозяина принес кумган и таз, полил гостю на руки.

Хозяин пригласил Могусюма на урындык и посадил на почетное место — у сундука.

Здесь, в этой избе из кривых осиновых бревен, люди кланялись Могусюму и друг другу так почтительно и говорили так тихо и с таким уважением, как, наверное, делали это где-то на Востоке в роскошных дворцах. Могусюмка почувствовал себя грубым и неотесанным. Никогда еще ученые седобородые старики не встречали его так — напротив, всегда косились.

Дальше, по обычаю, должны были начаться взаимные расспросы о родных, о жизни, но Могусюмка чувствовал, что их не будет. Да и что он мог ответить, если бы спросили: «Как семья?», «Как хозяйство?», «Удачен ли год?» Семьи нет. Отца бая погубили. Невеста погибла, хозяйства нет. Конечно, год-то удачен! Косяки богатых баев угонял Могусюмка, уходил от полиции, скрывался удачно

* Урындык — нары

Но не может же он сказать, где, в какой деревне скрывается, где и кому продает или отдает даром коней.

Могусюм посмотрел на себя глазами этих, судя по виду, почтеннейших людей. Видно, добрая молва о нем идет всюду, раз они так любезны, и сам Рахим, пришедший из святых мест, обходится с ним столь ласково. Может быть, в другое время, встретить он кого-либо из этих почтенных людей в лесу, тому бы не сдобровать, но сейчас сердце его смягчилось, и он ждал с надеждой.

Могусюмка верил в аллаха и к посланцу из святых мест испытывал глубокое уважение.

Старики не затеяли расспросов. Они продолжали разговор, прерванный приездом гостей. Толковалась фраза из книги, все повторяли ее по многу раз с разными интонациями, как бы вкладывая все новый и новый смысл и придавая этой мысли все новые и новые оттенки.

Когда это делал Рахим, он тонко улыбался, склоняя голову набок; глаза его при этом выкатывались еще больше, и он изящно разводил руками.

Старики обрекли себя службе вере, читали по-арабски, учили, молились. Их не занимало ничто, кроме истин веры и хозяйственных забот. В хозяйстве занятия были многообразны. Но в вере был застой, может быть, потому, что отсюда слишком далеко до Мекки. Поэтому умы вяли и умственная жизнь глохла. Рахима с его рассказами о духовной жизни на Востоке выслушивали с жадностью. Даже, если он рассуждал о том, что всем известно.

Зашел разговор, одинаково ли вкусны яблоки, произрастающие в раю.

А как ваше мнение? - спросил Рахим загадочно у одного из стариков.

Маленький мулла из Ахтямовой сказал, что прелесть каждого яблока в особенности его вкуса. Он стоял за разнообразие. Безбровый мулла, хозяин дома, возражал. О яблоках в раю шли споры и прежде. Это дело не новое. Одни считали, что яблоки, как и вообще все плоды в раю, хотя и разны вкусом, но имеют одинаковый вид; другие полагали, что в раю они будут, как на земле.

Когда споры стихли, лицо Рахима приняло серьезное и властное выражение, которое означало, что сейчас будет сказана новая, обязательная для всех присутствующих истина. Что все их споры будут разрешены.

- В Мекке и Медине есть об этом новое толкование, сказал он. Все ясным теперь становится. В раю все одинаково прекрасно! Все, что прекрасно, не может быть лучше или хуже! Все должно быть божественно оди-

наковым. Одинаково вкусны яблоки, произраставшие в райских садах.

И все присутствующие замерли, понимая, что старому спору о яблоках дано новое разъяснение. Мулла из Ахтямовой почувствовал себя уничтоженным и готов был провалиться сквозь землю, опасаясь, что теперь, чего доброго, обвинят его в ереси, а потом он может лишиться и места.

Все отлично понимали, что хотя речь идет про яблоки, но подразумевается нечто другое — ереси. Всякое разноеобразие, согласно новым толкованиям из Мекки, глубоко вредно. А то на примере яблоков начнется проповедь ересей. В борьбе против неверных и райские яблоки должны быть едины.

Несколько раз во время спора Рахим взглядывал на Могусюма. Он был доволен, что отважный башлык приехал именно сегодня, в тот миг, когда происходил такой разговор. Но по виду башлыка ничего не узнаешь. Лицо его бесстрастно. Но не беда! Придется поговорить с ним.

— А как ваше мнение? — спросил Рахим у Могусюма, глядя ему в глаза.

— Геройство во славу веры и отвага приятны проку, — сказал он, видя, что Могусюмка молчит. — Тот, кто прославится, будет иметь мудрейших помощников, и они станут служить ему... Так бывает всегда... — Рахим тонко улыбнулся.

Разговор продолжался еще некоторое время.

На вечернюю молитву все ходили в мечеть.

Поздно вечером Могусюм и Бегим остались одни с Рахим-баем.

Глава 18

ПРОПОВЕДЬ

— Плохо живут правоверные!

— Да...

— Несчастны мы... Леса наши гибнут... Мы гонимы. Вера наша унижена! — сказал Рахим. — Муллы жаловались мне...

«Муллы наши сами хороши! — подумал Могусюмка. Если вдуматься...» Но смолчал, не желая выказывать никакой вражды и обиды. «Слушай, что мулла говорит, но не бери с него примера», — вспомнил он пословицу.

— Земли наши отбирают... — Рахим знал, что население здесь недовольно отторжением земель, вырубкой лесов. — А кто виноват?

Могусюм слушал внимательно.

— Дальше будет еще хуже! — продолжал Рахим.

Рахим возлагал большие надежды на Могусюма. Кажалось, сам аллах сохранил в горах и лесах Урала такого героя.

Он спросил Могусюмку, не нуждается ли тот в чем: в деньгах, в помощи, есть ли у него надежные убежища. Сказал, что слышал о геройстве башлыка, что только он один не сдается, ведет войну с неверными.

Могусюмка не вел никакой войны с неверными и несколько удивился, хотя речи Рахима ему польстили.

Могусюмка поблагодарил за готовность помочь, но сказал, что денег ему не надо, надежные убежища есть.

— Слышал ли ты, какие страшные замыслы у неверных? Об этом уже известно и в Хиве и в Турции! Ужасная судьба ждет правоверных. Разорение мечетей! Сначала будут уничтожены стада. Отберут всю землю. Русские — главные враги нашей веры! Скоро русские начнут уничтожать всех мусульман. Это их тайна, но она стала нам известна.

— Но ведь вот башкиры в военном сословии долго были, они в казачьих полках служат, им льготы даны, как же их будут уничтожать? Ведь русские сами дали башкирам оружие в руки?

Рахим на мгновение замер. Он понял, что собеседника не уверишь страшными выдумками, нужны иные средства.

— Да, русские дают оружие и награждают князей и баев! Но это хитрость, — подняв руку, воскликнул Рахим, — вспомни их обманы! Сколько было клятв, что не тронут наши земли! Вся беда в том, что русские дают льготы и покупают богачей. Они стремятся завладеть душой нашего народа. Они отбирают землю.

Могусюмке очень понравилось, что Рахим винит мусульманских богачей в предательстве.

— Что же нам делать? До каких пор все терпеть? Что думаете вы, здесь живущие? Неужели всегда хотите быть рабами? — спрашивал Рахим. — Ведь русские идут на восток, одно за другим падают там ханства. Они перешли пустыни! Они хотят уничтожить веру. Бухара пала. Не пора ли всем мусульманам одуматься. А здешние мусульмане служат в войске русском, идут в походы с русскими, воюют против правоверных!

— Пророк сказал: когда заиграет труба, правоверные подымутся, — тихо и внятно говорил Рахим. — Неверный — наш враг. Кто наши земли отнял? Неверный! Кто табуны быстрых коней извел? — Он встал, с благоговением

взял в углу и раскрыл перед собой тяжелую книгу в позолоченном окладе с застежками.

— «Война против неверных есть долг твой!» — это первый закон для тебя, — сказал Рахим, обращаясь к Могусюмке. — Вот здесь написано: «Война есть первый и священный долг». Так сказано. Даже в священный месяц может быть война.

Рахим перелистал несколько страниц и прочел в новом месте:

— «Они спросят тебя о священном месяце, могут ли воевать в оный? Ответствуй: грех воевать в оный, но преграждать путь богу, быть неверным ему, позволять осквернять храм святой и изгонять оттуда народ его есть больший грех в глазах божьих». — А эта истина забыта вашими муллами. Они учат народ корану, упуская эти места. Я тебе открою тайну... Священная война — вот наше спасение! — подымая обе руки к небу, с восторгом вымолвил он. — На смерть во имя аллаха!

Могусюмка почувствовал, как мурашки забегали у него по телу. Рахим трогал больные стороны его души, обильно поливал ее злом, подымал в ней бурю. Русские вырубали леса, русские завладели землей отца. Русские погубили его счастье, сожгли Куль-Тамак. Правда, виноват еще и проклятый Гейниатка.

Проповедник был в ударе.

— Мне в Мекке святые говорили. Открыта тайна. Повелели по нашей земле ходить, на государство деньги собирать. Вот посмотри. — Рахим показал на стоявшую в углу кожаную суму. Он раскрыл ее. Сума оказалась до половины наполненной серебром и медью, среди которых немало было дырявых монет, снятых с женских нагрудников. — Вот свидетельство, что народ готов жертвовать. Это деньги, пожертвованные на государство. Чтобы здесь мусульманское государство было. Каждый, кто дает деньги, будет нашим воином! Все принесут деньги, мед, шкуры. Все это на государство, не себе беру. Больно видеть эти щедроты бедняков!..

Рахим не спешил открывать главную тайну.

Тускло светила сальная свеча. Хозяина и хозяйки дома не было. На нарах, на ковре, поджав под себя ноги в белых шерстяных чулках, сидел Рахим и, обложившись красными от вышивок подушками, простирая руку, говорил и говорил...

— Тебя любит весь народ, — пристально приглядываясь к Могусюмке, продолжал Рахим, замечая с сожалением, что тот вдруг омрачился. — Ты станешь исполни-

телем воли аллаха. Твои подвиги известны всюду, и все пойдут за тобой. Да, тебя любит народ. Ты думаешь, я не знал о тебе прежде? О! О тебе знают и киргизские старшины, и Хива знает. Ты когда-нибудь еще будешь генералом. Первым башкирским пашой! Степь будет твоя, кони, бараны. Тысячи всадников пойдут за тобой. Под зеленым знаменем твои всадники строем скакать будут. Аллах благословит тебя. Это тайна, которая открыта мне. Ты станешь всесильным. В твоей власти будет все, целый народ. Баи и старики будут у тебя в подчинении. Старики почтенные и благородные. Есть целый заговор. В него входят разные люди. На тебя все надеются. Мне указали на тебя. Хочешь ли ты помочь общему делу?

Могусюм вдруг вспомнил Гурьяныча, завод, друзей, покойного отца своего, детство, вражду с баями и муллами, башкир и татар-офицеров, сотников, предателя Гейниатку. От русских знание, мастерство. Не глупо ли мечтать о кровопролитии? Не страшней ли темнота народа, подлость баев и мулл, неграмотность, нищета?..

— Но из русских есть очень хорошие люди! — сказал Могусюмка.

— Конечно, есть, — тонко улыбнулся Рахим.

— У меня есть друзья русские...

Рахим не ожидал, что башлык так открыто и твердо заявит об этой дружбе.

Мгновение он остро приглядывался к собеседнику. Он живо сообразил, что надо будет опять изменить тактику. Как видно, Могусюмка не из тех, кто ради славы и генеральства готов отступить от старой дружбы.

— Конечно, хорошего человека не надо обижать. Но помни, — с восторгом заговорил Рахим, — если хочешь подвигов во имя веры, подвигов, которые помниться будут века, надо быть беспощадным и хитрым с врагами и не жалеть никого. И только тогда пойдет за тобой народ, когда все увидят, как ты станешь беспощадным со всеми неверными.

Вошел джигит со шрамом — Сахей. Он что-то тихо сказал Рахиму. Тот отвечал так же тихо.

Сахей, ссутулившись, вышел на носках.

Могусюм сидел хмурый, но едва Рахим снова обратился к нему, башлык улыбнулся.

— Может быть, тебя что-то смущает? — спросил Рахим.

— Нет, — встрепенулся тот.

— Он не решается сразу дать согласие! — проговорил старик Бегим.

— Когда ты будешь генералом, у тебя будут свои ученые, — обратился Рахим к Могусюму. — Тот, кто может посадить на кол любого подчиненного, смеет повелевать мудрецами! — улыбнулся он. — И того ученые слушаются. Их знания и мудрость будут принадлежать тебе. У нас на Востоке так. Грамотеи найдутся и сочинят за тебя все, что ты захочешь. Для войны нужен паша, а не грамотей.

Еще с тех давних времен, когда арабы во имя аллаха завоевывали страну за страной, среди приверженцев ислама сохранилось глубокое убеждение в своем всемогуществе и превосходстве.

Рахим, как и многие ненавистники России, был глубоко убежден, что это хотя и огромная, но слабая страна, что большинство ее населения составляют угнетенные и подавленные магометане, что их большинство, а русских горсть.

Незадолго перед этим русские нанесли сильнейший удар по соседям Хивы — пала Бухара. Перерезанными оказались старинные караванные пути. Русские взяли Самарканд. В Хиву и Афганистан хлынули беженцы из завоеванных русскими областей. Там замыслили священную войну, желали возвращения утерянных владений, пытались заключить союз мусульманских государств против России. Но среди хивинцев не было единогласия, начались раздоры, споры. Одни требовали «священной войны», другие желали мира и дружбы с Россией. Английские резиденты на Востоке обещали мусульманам помощь. Шах Афганистана тоже обещал помочь.

Во все соседние с Хивой области были посланы лазутчики. По Бухаре поползли слухи, что скоро вернется старая власть. В киргизскую степь под видом мулл пошли шпионы, возбуждая ненависть к русским. Кое-где в степи заволновались мусульмане. Несколько лазутчиков посланы были на Южный Урал, к башкирам. Среди них Рахим. Он давно мечтал побывать здесь — на родине своих предков. Его мать была дочерью башкирина, бежавшего когда-то после восстания на Восток.

Рахим побывал в степи и кое в чем преуспел. Там нет русских поселений, про русских слышали, но не знают их. «Все ваши беды и несчастья от русских», — говорил им Рахим.

И вот он впервые оказался среди мусульман, живущих уже давно вместе с русскими.

На Востоке представляли, что люди тут страдают от русских особенно сильно и должны глубоко ненавидеть их.

Но здесь Рахим понял, что отношения русских и башкир сложны, и он стал осторожнее, беседовал лишь с немногими.

— К русским мы будем милосердны, — говорил он Могусюму, — зачем же всех убивать? Только чиновников и попов, и военных на колья посадим. Некоторых баб и девок себе возьмем...

Лицо Рахима приняло жесткое выражение, и он заговорил быстро и восторженно, скаля зубы, с каким-то яростным сладострастием.

— Мы русских не обидим. Пусть примут нашу веру. Они будут благодарить, хвалить. Ты спасешь их! Я сам знаю, как это сделать, мы все это давно обдумали. Русским будет хорошо, лучше, чем теперь! Русские кланяться тебе будут, подарки дадут, в страхе перед твоим могуществом приведут тебе своих белых девок, у тебя гарем будет... — сощурился он, и его черные глаза подернулись маслом.

Рахим охотно говорил о женщинах. К тому же он хотел знать склонности Могусюма, чего тот желает: стать богачом? Властелином? Обладателем гарема? Любит ли он наслаждения? Тут все средства надо перепробовать, обещать все радости и удовольствия. Или мстить? Жечь? Убивать? Лить кровь? Скакать верхом на шее пленника? Может быть, издеваться? Стать купцом? Хозяином караванов? Но Могусюмка, как замечал он, опять стал мрачен и холоден.

— А знаешь, как выгодно на Востоке можно девок продавать? Когда в России мусульманское государство установим, мы целые караваны этого товара туда с тобой отправлять станем. Знаешь, как там все любят женщин с белыми волосами? Богачи сидят в кофейнях и только и говорят, как бы купить хорошую девушку с севера.

Но у Могусюма не было этой изощренной страсти к белокурым женщинам, как у хозяев восточных гаремов. Он вырос вместе с русскими девчонками, навидался их с детства. «А что, если Зейнап во власти сладострастника? Ведь она тоже красавица», — подумал он, и на миг ненависть явилась в его глазах.

— Русские люди будут жить в нашем магометанском государстве так же, как сейчас башкиры живут в русском, — продолжал Рахим. — Хан, все чиновники, беки, военачальники, все купцы самые богатые, конечно, будут магометане. А права башкир сохраним, они в военном сословии останутся. Только мусульмане начальниками будут. А по-

том заставим всех русских принять магометанскую веру, и счастье наступит на земле. А твоих русских друзей обязательно сделаем начальниками над русскими.

И он опять помянул про наслаждения в гаремах, что и у русских тогда будет по многу жен и это им самим понравится. Они рады ввести у себя магометанские обычаи, растолстеть, ходить в тюбетейках, иметь много жен...

— В аль-коране сказано, что в раю правоверные будут наслаждаться женами. Какими женами? Непорочными женами! — многозначительно поднял палец Рахим. — Так сказано в главе «Телица», открытой частью в Медине, а частью в Мекке. Тогда здесь будет земной рай для правоверных, — пошутил он. — Ты, Могусюм, возьмешь себе непорочных жен?

— Но тогда они уже не будут непорочные? — сладко улыбаясь, заметил Бегим.

— Да, да! — благодушно, но важно отозвался Рахим с видом человека, который со священной книгой запросто и позволяет себе в своем кругу шутивно толковать священные тексты.

— А вот в коране есть упоминание, что рано или поздно все народы подчинятся правой вере, но каждый народ в свое время. Время это еще не настало? — спросил Бегим.

— Нет, время уже настало. На это есть знамение!

— Но у нас один мулла учит, что не настало.

Рахим взглянул насмешливо. Ох, уж здешние муллы!.. Он заговорил о могуществе Востока, о парадах войск в Турции, шествующих под зелеными знаменами.

— Янычары! Беспощадные каратели неверных!

Он бывал в Турции.

Рахим сказал, что среди мусульман много предателей — это богачи, князья. Есть башкирин генерал-майор русской службы Карамурзин, есть генерал Татлыбаев, есть князья, преданные русским больше, чем аллаху, полковники, офицеры, получившие образование.

Потом рассказал, как головы неверных в Самарканде выставляли напоказ.

— Но Самарканд пал, теперь в нем русская армия, — сказал Могусюм. «Теперь иные времена и борьба должна быть иная, — подумал он, — не за ханов...»

Рахим сделал вид, что не слышит. Он намекнул, что изучал не только коран, но был офицером у турок и потом в Хиве, и что поучит многому Могусюма. Потом он еще раз помянул про выгодную торговлю, сказал, что отсюда

можно также вывозить и драгоценные камни, что купцы в странах Востока знают богатства Урала.

Рахим долго говорил Могусюмке, что его долг помочь святому делу.

Но Могусюмка все еще не давал согласия войти в заговор. Желая знать, кто в нем участвует, он обещал, что никому не откроет имен. Рахим сказал, что самый богатый из здешних башкир торговец Темирбулатов ждет Могусюмку к себе, хочет видеть.

— Благословит тебя аллах, ты поклянешься на коране и узнаешь имена всех своих единомышленников... У тебя есть русские друзья! Это неплохо. Это пригодится. Каждый, кто хочет помочь нашему святому делу, должен до поры дружить с русскими, быть с ними ласковым и услужливым. А ты думаешь, как действуют муллы? Они очень верны русской власти? Они в душе с нами... Но так приходится. Иначе мы ничего не сможем сделать и наши цели обнаружатся. Мы должны царя хвалить. И муллы должны строго смотреть, чтобы зря разговоров не было. Но они честны и благородны в душе! Когда же справедливость восстановится, мы заведем здесь иные порядки. Можем построить клоповники. Русских — в клоповники! Хи-и-и-и, — сдавленно и неумело засмеялся Рахим: видно, редко смеялся, только хрип неся из горла. Так смеются лишь серьезные люди, которые всю жизнь проповедуют высокие истины и шутить не умеют. — Клоповники построим, чтобы врагов истинной веры клопы в них насмерть заели, как это делается в благородных ханствах Востока. Там так расправляются с врагами. Знаешь клоповники? Это такие помещения, где миллионы клопов разведены. Славная пытка!.. — Он усмехнулся.

— А знает народ, который жертвует деньги, о грядущем восстании? — неожиданно спросил Могусюм.

— Нет, это тайна, — ответил Рахим и объяснил по корану, что значит тайна: — «Это то отдаленное и скрытое, что недоступно». Нет, мы пока никому не говорим. Даже мулла здешний не знает. Сначала подготовим все. Да и зачем знать? Когда на проповеди им скажут, что надо, они пойдут, куда им велят.

Могусюмка ехал на запад. Еще в детстве он замечал, что когда муллы ругают русских, то говорят, что вера русскими унижена. А сами башкирские муллы свой народ за народ не считают. Муллы всегда говорили о великом мусульманском мире, а о башкирах и не поминали, словно

стыдно им своего народа. Башкиры в этом мире были самым черным, неграмотным народом. А Могусюмка знал, что башкиры народ, и народ сильный. Он по себе знал, на что способны башкиры.

Рахим призывает устроить тут магометанское государство. Он ждет, что Могусюмка подымет народ. Рахим хочет крови русских, хочет победы турок и хивинцев. Войти в заговор? Стать заодно с муллами? Подчиниться Темирбулатову? Дать клятву? Зачем все это? Воевать за Хиву и Турцию — значит воевать за мулл и богачей, служить тому, против кого был всю жизнь.

Башлык на прощание сказал Рахиму, что подумает. Он не желал открыто отказываться, хотя в душе твердо решил не ездить больше к Рахиму. Он еще сильнее возненавидел тех, кто священное слово аллаха использует для своих целей. И все же многое, что говорил Рахим, встревожило его. Нет слов, много горя, сильно угнетены башкиры. Исправники, чиновники, заводчики — много их развелось на башкирской земле. Гибнет лес, гибнет зверь, запахиваются поля. Но Могусюм знал и другое: у русских грамота своя, а не чужая, знания — то, чего нет у башкир. А муллы требуют вражды к тем, у кого знания. Народ без грамоты. На арабской грамматике далеко не уедешь. Не враждовать с русскими надо — учиться у них.

Башлык почувствовал, что Рахим действует обманом, лезть. Нельзя позволить, чтобы народ ему поверил. Могусюм готов был скитаться всю жизнь по горам Урала, лишь бы не служить ложному делу. Но все же во многом Рахим был прав, и от этого на душе тяжело.

* *
*

А маленький мулла, допустивший ошибку в суждениях о райских яблоках, ехал домой, в горы и терзался всю дорогу сомнениями.

«Я не хотел прогневить вестника с Востока, — размышлял он, уставившись в сивую гриву своего коняги, — но, с другой стороны, так и кажется, шайтан их всех спутал. Куда он добрался! Смешно слышать тут такие проповеди. Хоть он ничего толком не говорит, но я все понял, ведь я коран сам знаю не хуже его. Лучше бы держаться от него подальше. Неизвестно, как следует понимать толкование Рахима и помогать ли ему?»

В коране действительно сказано, что все народы рано или поздно примут правильную веру. Находились и прежде

толкователи, которые намекали, осторожно спрашивали в духовном управлении, не пора ли, обучая народ по корану, не опускать тех мест в книге, где проповедуется священная война против неверных.

Муллы из духовного управления прекрасно понимали намеки и так же осторожно и намеками же разъясняли, что когда будет воля аллаха, может быть, и придется учить по корану без предосторожностей, но что пока этого нет — значит, нет и воли аллаха, и тут беспокоиться ни в коем случае не следует. В проповедях и в беседах с верующими учили верности царю. Хотя находились муллы, которые тайно учили ненавидеть неверных.

Судя по всему, высшие лица из духовного управления не тревожились о том, что еще нет воли свыше, и жили спокойно, а власти неверных их не обижали. На неверных в этом можно положиться. Куда страшней духовная власть на Востоке, там строгости большие.

Маленький мулла подчинялся не великому халифу, а Уфе. Еще неизвестно, как посмотрят там на все дела и речи Рахима. Духовное уфимское управление приказывает молиться за царя. Могут быть неприятности, и лучше бы было не ездить в Хабибулино.

Так думал старичок из горной деревушки, где жил до сих пор мирно и спокойно, где околица из длинных кривых жердей на кривых же стойках подходила к самому обрыву горы. На обрыв, бывало, вылезали медведи. Там чаша, кустарники, малина хорошая растет, кое-где дубки, осинник, ниже, по другую сторону деревушки — речка. Место очень хорошее и доходное, живут люди, все верят правильно, настоящие магометане. Охота хорошая, медвежат берут живыми и продают в городе или в другие деревни. И добывают в урмане мед. Колоды привязывают к стволам деревьев повыше, а чтобы медведь не достал, подвешивают бревна на веревке. Медведь учует мед, ползет по стволу, а бревно висит. Он отодвинет его, а оно качнется и ударит. Медведь рассердится и хватит его лапой, качнет еще сильнее. И получит еще один удар по морде.

На сто верст кругом никто не рубит лесов: речка мелкая, сплавливать лес нельзя.

Мулла знал, что добрые прихожане его разбегутся, если он зайкнется о священной войне.

Он решил осторожно, намеками, но так, чтобы понятно было, написать обо всем духовному главе и личному своему покровителю — муфтию — в Уфу.

ГОРА ПЕТУХ

Могусюмка подъехал к бревенчатому дому Шакирьяна. Выбежал босой Гурьян и ухватился за его седло.

— Здорово, брат!

— Здравствуй, — ответил Могусюм.

Гурьян заметил, что друг его не то кислый, не то недоволен чем-то: цедит сквозь зубы.

— Ты что невеселый приехал?

Могусюм не ответил. Он спрыгнул с коня, расседлал его, пустил в поле, забрал седло и пошел в дом. Гурьян поспешил за ним.

— Видал того, к кому ездил?

— Видал... А где Хибет? — спросил башлык.

— Хибетка поехал к отцу.

— А-а...

Пришел Шакирьян, старуха подала обед. Уселись, закрыли колени полотенцем.

За едой Могусюмка стал разговорчивей.

— Русских подговаривает резать, — сказал он Гурьяну. — Из Хивы. Как, говорит, кафтан на стене висит, так, мол, все русские скоро висеть будут.

Могусюмка усмехнулся печально. Бегим сидел здесь же, присматривался к нему злыми глазами.

— Я тебя теперь должен повесить, как кафтан! — с грустью продолжал башлык.

Гурьян никак не ожидал, что проповедник настроит так Могусюмку. Восставать против русских? Новость!.. Все русские будут висеть! До этого еще никто не додумался. В старину бывали бунты, но с заводскими заодно.

— Верно, от нас горя немало! — сказал Гурьян, отчасти потому, что и сам так думал, а отчасти хитря и желая выведать, что думает Могусюмка.

— Конечно! — подхватил тот. — Разве мало?

— Ну, уж это чистое вранье! — сказал Гурьян, улыхав, что русские хотят башкир вырезать, а мечети закрыть.

— Как вранье? Ай-ай! — воскликнул Могусюм. — Как тебе не стыдно так говорить! Разве я не знаю! Я тоже слышал! Да ты сам нас всех зарезать хочешь! Святой ясно мне все сказал...

Гурьян понял, что друг его горько шутит и, видно, остался недоволен встречей в Хабибулине.

На душе у него отлегло.

Вечером Могусюмка поспорил с Гурьяном.

— Ну, скажи по правде, ответь мне: разве справедливо, вы лес вырубаете и башкир обижаете?

Гурьян молчал.

Башлык вдруг опять засмеялся.

— Раз уже мы с тобой разбойники, так и не будем за мулл воевать. Муллы нас проклинают.

— Разве мы с тобой разбойники?

— Так муллы говорят. Они знают! — Опять горечь и тоска были в голосе Могусюмки. — Довольно, брат, нам об этом! — сказал он по-русски. — Ты хотел ехать на завод. Поедем... Не будем больше поминать про Рахима.

«Слава богу!» — обрадовался Гурьян, что не хочет друг его разладов из-за проповедей, услышанных в Хабибулине, что хоть и тронули там раны Могусюмки, но сердцем он не поддался.

— Хоть я разбойник, но кланяться баю не пойду! Я буду честный разбойник, — с горечью пошутил Могусюм.

— А ты попробуй-ка... Может, сговоришься?

— Зачем?.. Нет! — решительно сказал Могусюмка.

— А все же хорошо бы поднять бунт...

Гурьян надеялся, что со временем бунт все равно будет и все переменится.

— Они хотят, чтобы я восстание поднял. А я не дурак, знаю, что это такое! Пусть-ка они подымут, и тогда я посмотрю. Мне даже кажется, что это какой-то обман, говорил Могусюмка.

Он все более посвящал друга во все свои тайные разговоры с Рахимом и во все свои сомнения, и на душе от этого становилось все легче и легче: злоба, возбужденная проповедником, постепенно исчезала.

Друзья отправились в далекий путь. Дорога шла на юго-запад, степью. Башкиры пахали землю. Жаворонок — птица плуга — как называют его в здешних местах, пел свою песню, висел в воздухе над пашней. Ехали не прямо к горам, а наискось, к станции Магнитной; оттуда на завод прямая дорога. Час от часу яснее виднелись горы.

На этот раз в пути много говорили о вере. Гурьян — старовер.

— Наши, знаешь, тоже крепко верят... А по мне, верь, как хочешь, я не неволил бы никого, — говорил он.

— Наша вера строгая, — рассказывал Могусюмка. — По корану за смерть — смерть, руби неверных мечом, пощады не давай. И учат ведь у нас по-арабски, поэтому, брат, все и неграмотные

— Если бы мы с тобой взялись жить — ты по корану,

а я по нашей вере, нам бы давно пришлось загрызть друг друга зубами.

Ночевали вблизи казачьей станицы на заимке у знакомого Могусюмке казака.

Утром ближе стали горы.

В полдень верхами подымались на голую сопку. Вокруг холмистая степь пятнами — зеленая, желтая и черная от сухой, сожженной в прошлом году травы и от теней облаков. А среди холмов, как быстрый горный ключ, — широкая голубая река. Это Урал. В желтых, словно иссохших, берегах кажется он еще голубей и многоводней. Чем суше степь, тем отрадней смотреть на воду, и чем выше взбирались на сопку друзья, тем дальше и дальше между холмов, то огибая их, то убегая степью вдаль, виднелась чистая и ровная голубая дорога.

— Вот она, матушка наша, Магнитная гора, — сказал Гурьян, когда всадники поднялись, наконец, на тучную голую сопку.

— Эта гора по-нашему называется Петух, — ответил его друг.

Сопка походила бы на громадный курган, если бы не глубокие складки, морщившие ее склоны. В складках, как в ущелье, притаился густой березняк, так что издали кажется, будто бы там нет никакого углубления, а просто растут пышные низкие кусты, почти вровень со степной травой. Но это не кусты, а верхушки высоких белых берез, торчащие из широкого и глубокого ущелья.

Всадники проехали по вершине горы, забрались на самую голову Петуха. Внизу, по берегу реки Урала, белели дома станицы Магнитной. По одну сторону реки черно-зеленая пятнистая степь расстилалась до горизонта, как море. Видно было, как тут на воле быстро мчатся по степи тени облаков, как нашло такое пятно на станицу, как исчезла белизна мазаных казачьих домов, как другая тень закрыла и вычернила одно из озер.

А с другой стороны вдали — гребень, синий вал за степью, синей воды, но такой же свежий, призывающий, и вид его, как горный ключ, казалось, утолял жажду Гурьяна по покинутым родным местам.

— Вот Яман-Таш! — сказал Гурьян. — Вон наша гора!

— Яман-Таш не видно отсюда, — отвечал башлык.

— Мне кажется, что видно. Вот там, посмотри, среди вершин.

— Яман-Таш — самая большая гора, — сказал Могусюмка. — Но она далеко. Это мерещится тебе.

— Под ней я с отцом сено косил. Далеко от завода ездил!

И вдруг показалось Гурьяну, что самые дальние горы выпустили из себя облачко. Поднялось оно где-то далеко-далеко и рассеялось.

«Ведь это вспышка на нашем заводе. Вспышка, в самом деле. Ведь когда так случается, целое облако вылетает».

— Железная гора, — печально говорит Могусюмка, глядя под копыта коня. — Темир-Тау!

— Тут подалее разработка, — ответил Гурьян. — Низовцы отсюда на завод возили руду. А вот старый рудник брошенный, — кивнул он на белые ямы, казавшиеся сверху небольшими.

— Тут тысячам мастеров на тысячу лет работы, — сказал башлык. — Железа много. Сколько под нами подков, плугов, сколько булата? А? Тут завод надо ставить.

— А копать? Ты же говорил, что завод дымит?

— Что я, дурак, что ли! Разве я не понимаю, что от железа польза.

— Мне один старик говорил, что тогда Железная гора свое богатство откроет, когда все люди будут одной веры.

Могусюмка в уже измятом и изношенном суконном кафтане, в рыжей шапке, высокий, молодой, смуглый, стройный, на вороном коне, гордо поднял голову, оглядывая степь с вершины Магнитной. В том, как он сидел на коне, как напряжена шея, как взор стремился куда-то, видно было, о чем-то тревожно думает Могусюм, ум его ищет. Тревоги бывали у него и прежде. Сильно тронул Гурьяна приятель, когда сказал, что завод тут надо поставить. Только хочет, чтобы люди одной веры не обижали других. Все это понял Гурьян и пустил рысью свою мохнатую горбоносую кобыленку. Могусюм поскакал за ним.

Спустились пологим склоном и у подножья горы перешли вскачь. Вихрем пронеслись по вольному лугу мимо озера.

Трое казаков ловили рыбу на берегу реки. Берегут реку казачишки, рыбу никому ловить не велят.

— Э, казаки, ого-го-го! — заревел Гурьяныч и зашвистел дико.

Долго, с изумлением смотрели вслед всадникам бородатые староверы-станичники.

Вскоре начались перелески, а потом лес. Тут тепло, трава уже высокая. Друзья ехали молча. Кони вязли

ногами в глубоком песке. Около тучной красной лиственницы Могусюм вдруг спрыгнул наземь и обнял дерево.

— Урман! — сказал он весело.

Под деревом у самой дороги сделали привал. С собой были лепешки, баранина. Сварили чай.

Могусюмка подошел к черемухе. Почки ее лопнули, вот-вот появятся листья. Башлык обломал сухие сучья. По старой памяти он развел костер из черемухи. Она не дает дыма, никто не заметит, что в лесу люди.

Привык скрываться, осторожен Могусюм.

— А ты медведей часто встречал в лесу? — спросил он, прихлебывая из деревянной чашечки.

— Бывало!..

— Боишься?

— Как же!

— Когда идешь опасным местом, где медведи водятся, — пой песню! Медведь никогда не тронет...

После чая Могусюмка нашел траву курай и из дудочки сделал сток для березового сока, надрезав дерево.

— А знаешь, здесь растет дерево карагас — оно крепче железа. Из него делают плуги, оси. Раньше, когда не было заводов, были леса карагаса.

Глава 20

У АБКАДЫРА

— Смотри, козы! Значит, деревня близко! — сказал Могусюм.

За липняком открылись избенки. Их стены из липовых бревен, оплетены ивняком и обмазаны глиной, а крыши опутаны серыми, как грубое застиранное белье, полосами шербатой липовой коры.

На узкой улице и во дворах грязь по колено — все в следах конских и козьих копыт.

По улице идет низкорослый, еще крепкий старик с седой бородкой, сероглазый, скуластый, рядом рослый белокурый башкирин с голубыми глазами и с рыжеватыми жесткими усами. Мальчик несет маленького козленка на руках. Сзади идут женщины. Вся семья направляется в гости к бабушке, дети несут ей козленка в подарок.

Праздник начался. Окончился пост. Все веселы и гуляют. И здесь, в избах, крытых липовым корьем, в нишей деревушке тоже веселятся, радуются. Завидев всадников, все остановились. Могусюм и Гурьян спешили. Их пригласили в гости. Пришлось остаться...

Утром путь пошел в глухие леса. Вокруг росли древние толстые березы. После полудня ехали над Белой, потом свернули тропой. Тут холодно: в горах весна наступает позже, чем в степи.

Тучные разросшиеся березы еще только-только распустились. Они стоят поодаль дру от друга; кажется, что это дремучий, густой лес. Конца не видно чаще тяжелых белых стволов, всюду так бело, как будто вокруг снегопад. Зелени не заметно, хотя почки лопнули.

— Где башкиры живут, там и зверя больше и птицы, и лес лучше, — сказал Гурьян. — Ведь такого березняка, пожалуй, больше нигде нет по Уралу.

— А пашен хороших нет, — молвил Могусюмка. Он знал, что вокруг русских деревень лес уничтожается, нет зверя, мало птицы, но у русских хлеб и мастерство... Размышления об этом всегда тревожили его. Старая, большая дума вновь им овладела.

Березняк поредел. Выехали к пашне. Дул холодный ветер, и моросил дождик. Минули еще несколько перелесков. Видна стала гора с лесом на острой вершине, с несколькими избами по голому склону. Это деревушка Шигаева.

Слева, как снег, белела по ущелью, пробороздившему склон горы, пенистая грохочущая речка. Внизу по ее берегам камни, стволы мертвых деревьев навалены грудями. А вокруг пеньки. Местами вода валила по уступам, по завалам мертвых деревьев.

Рыжая и саврасая лошадки, упрямо упираясь, стали подниматься по крутому склону.

Ясней проступал лес на коническом высоком куполе горы. Отсюда он казался низкорослым и редким, хотя это тоже старый, могучий лес и никем еще не рублен от века. Когда-то вся гора была им покрыта.

— Здесь высоко. Наверно, всегда дождь, — говорит Гурьян.

— Зимой в эту деревню нет езды, — отзывается Могусюм, — все заносит.

— Зимой и на завод только одна дорога.

Стволов березы не видно в этот мутный день, на вершине горы заметны лишь лиственницы и ели, поэтому и лес кажется редким.

Абкадыр — старый друг Могусюма и Гурьяна — построил дом выше всех односельчан, ближе к вершине горы. Заметив всадников, он вышел из дому со всем своим семейством

В доме у него тепло. Горят дрова в сьуалэ. Над нарами — урындыком — развешаны на урдах — палках — лучшие платья жены и дочерей — целый полукруг из разноцветных нарядов. Сбоку, тоже на нарах, — окованный сундучок и груда прилежно сложенных одеял и подушек. Нары покрыты самодельным ковром.

Гостям подали вымыть руки и усадили на нары.

В дверь вошла целая толпа башкир. Среди них — улыбающийся Бикбай, за ним появился и Хибетка.

— Вы откуда? — изумился Могусюмка.

— Приехали ко мне гости на праздник, — отвечал Абкадыр.

— Благослови аллах! — поздоровался Бикбай с Могусюмкой, а также с Гурьяном.

— Давно я тебя не видел! Ну как, Бикбай, живешь? — спросил Гурьян. — Как здоровье?

— Глазами не совсем... Руками не совсем... — отвечал Бикбай, улыбаясь.

На нем синяя рубаха с большими деревянными пуговицами и с длинными петлями, нашитыми сверху.

Между прочих вещей, висевших над нарами, Могусюмка заметил наверху, на гвозде, какую-то странную вещь. Это форменная фуражка с черным лакированным козырьком. «Откуда такая у Абкадыра?» — подумал он.

Начались расспросы о жизни... Абкадыр рассказал, что рубит лес, возит на берег к реке.

— Хорошо платят? — с чуть заметной обидой спросил Могусюм.

— Хорошо! — добродушно ответил Абкадыр. — Теперь жить можно...

— Не жалко леса? — обратился к нему Гурьян.

— Чего жалко? Башкирам деньги надо, — ответил Абкадыр.

Могусюмка не подал виду, но слова эти поразили его.

— Теперь товара много всякого продают, — продолжал хозяин.

Один из низовских мужиков, по его словам, взял подряд на поставку бревен, уговорился с башкирами и вырубал лес. Работали сами башкиры, и, по словам Абкадыра, все очень довольны.

— Пусть рубят, — подтвердил Бикбай. — Разве лучше за каждым куском ходить к бояру?

Боярами здешние башкиры называли и своих баев, и заводского управляющего, и хозяина завода.

— Теперь уж бояр вас не лупит? — спросил Гурьян.

— И прежде башкир не лупил. Башкир — вольный!

Низовские были барские, их лупил бояр, — ответил Абкидыр. — Кто урока не справит. Да заводских...

Башкиры подсмеивались над Гурьяном, хотя и слышали, что одного из самых грозных бояр он закинул под молот.

— Почем же вам за лес платят? — спросил Гурьян.

— Сосновое бревно — девять аршин длина, шестнадцать вершков толщина — двадцать копеек...

— Старший сын поступает служить на завод, — продолжал хозяин. — Будет полесовщиком, ему выдали фуражку, дадут оружие...

А Бикбай стал жаловаться, что поссорился с низовцами.

— Каждое лето я продавал Акинфию поляну...

Гурьян догадался, что Бикбай не продавал, а сдавал косить за плату. Когда-то Бикбай мечтал, что община выделит ему пай. Он добился этого и стал извлекать выгоды, сдавать землю в аренду.

— Сколько же ты брал с Акинфия?

— Да за осьмушку чая один год сдавал. А другой год за табак... Но вот беда. Нынче приехал землемер. Акинфий говорит, что там его земля, гонит меня...

— Да велика ли поляна?

— Не знаю...

— Сколько десятин? — спросил Гурьян.

— Косил он маленькую поляну. А занял земли много. Наверно, пять десятин или, может быть, десять, — ответил Бикбай.

Старик признался, что еще в прошлом году он «продал» поляну не только Акинфию, но и еще одному заводскому мужику и с того тоже получил пачку табака. Когда дело выяснилось, Акинфий рассердился, выгнал заводского соперника, подрался с Бикбаем, а нынче заявил землемеру, что земля всегда принадлежала ему. Бикбай пошел жаловаться. Он доказывал землемеру, что эта земля принадлежит общине, что он лишь часть своего пая сдавал.

Рассказы затянулись до глубокой ночи.

Утром Гурьян уезжал на завод.

— Ну, прощай, не балуй зря, — сказал он Могусюмке. — Если опять будут разговоры — слушай, на ус мотай, а сам не попадайся.

— А знаешь, что-то мне нехорошо сегодня, сердце мое болит, — прощаясь, сказал ему Могусюмка. И он улыбнулся доброй, кроткой улыбкой. Взор его был чист и полон грусти.

— Какая может быть беда?

— Не знаю. Может быть, полиция на заводе? Смотри, чтобы тебя не схватили. Сердце мое болит. Кажется, что я не увижу тебя...

— Бог с тобой! Бог милостив, вернусь жив и невредим.

— Скоро сабантуй, — сказал Могусюмка. — Возвращайся скорей.

— Гуляй без меня, если не дождешься.

Гурьян обнял Могусюмку и поцеловал его.

На завод ему хотелось, но речи Могусюма встревожили его. Он заметил вчера, как огорчили друга рассказы Бикбая.

— Ну, ничего, бог даст, вернусь скоро... Родня, поди, не очень меня ждет.

Гурьян уехал.

Вскоре он подъехал к гребню хребта, и чем ближе был пролом в гребне, тем больше думал Гурьян о заводе, о том, как его примут там родные, как он подъедет, можно ли осмелиться заехать к ним среди бела дня. Но родные уже не казались ему такими желанными, как в то время, когда смотрел он со степи на горы.

Пришло ему на миг в голову, не зря ли бросил Могусюмку, когда тот в таких раздумьях. Не вернуться ли? Гурьян решил с пути не возвращаться и на заводе не задерживаться.

* *
*

Могусюмка, возвратившись в дом Абкадыра, задумался. Снова он вспомнил речи Рахима.

Вошел Абкадыр. Он с женой ездил доить кобылиц. Абкадыр веселый, с красным худым лицом, с кнутом в руках, в шерстяном чепане до пят.

— Сейчас встретил бояра Исхака, — сказал он.

Исхак жил под горой, с другой стороны ее. По словам хозяина, он уже перегнал табуны на летнюю кочевку, но зачем-то приезжал к себе домой.

Абкадыр рассказал, что у Исхака три дома, восемь табунов лошадей, баранов столько, что не сосчитать.

— Четыре жены! — сказал он, усмехаясь.

Не раз замечал Могусюмка, что в народе не любят тех, у кого по нескольку жен, смеются как над жадными дураками, которые хватают куски, а проглотить не могут.

Пришел Бикбай.

— А вы слышали, — спросил Могусюмка, — что появился странник с Востока?

— Нет.

— Собирает на магометанское государство и хочет подымать восстание против русских. Что вы думаете?

Дряблая шея Бикбая в глубокой сетке черных морщин дрогнула. Голова у него затряслась.

— Как это устроить государство? — заговорил Абкадыр. — Кто же будет царем? Ты? Или Курбан? Или наш бояр Исхак?

Башкиры выслушали Могусюмкины рассказы со вниманием, иногда переглядывались, насмешка являлась во взоре Абкадыра, страх в глазах Бикбая.

Во время разговора Абкадыр снял с гвоздя фуражку своего сына, повертел в руках, сдул пыль с козырька и бережно повесил на место и долго смотрел на нее снизу.

— Хорошая фуражка? — спросил он Могусюмку.

— Неплохая! — ответил башлык.

— А кобылицы уже доятся, уже трава в долинах есть, — заговорил Абкадыр, подымаясь. — Исхак у меня никак не может одну кобылу отнять. Он просит: продай... Хочешь, покажу тебе мою лучшую кобылу? А я Исхаку не уступаю!

Глава 21

САБАНТУЙ

Лето наступило.

Как-то сразу начались жаркие дни. Кумыс уже есть. хлеба посеяны.

Гурьян еще не вернулся. Башкиры переехали в летние жилища, в долину.

Могусюмка отправился с Бикбаем, Хибеткой и Абкадыром на древний праздник сабантуй.

Ярко зеленеет свежая трава и ярко горит солнце. Множество телег стоит длинными вереницами, и у каждой оглобли подняты вверх. Кажется местами, что это не степь а лес. Звонят боталы, играют гармони, толпы разнаряженных башкирок движутся во все стороны. Десятка два девушек с монистами на груди и на шее, взявшись под руки и голося бойкую плясовую, плывут среди расступившейся

толпы, как по улице. Иногда пройдет богатая башкирка с закрытым лицом в сопровождении служанок.

В толпе Могусюмка встретил хабибулинского муллу.

— Я приехал, чтобы встретить тебя здесь. Рахим ждет тебя...

Мулла сказал, как найти Рахима.

«Но что-то Хурмат долго не возвращается?» — думал Могусюм.

* *

*

Курбан-бай, потный от натуги, в черном сюртуке, при крахмальном воротничке и галстукке, и в тюбетейке, устанавливает фотографический аппарат напротив группы башкирских старшин.

Старшины — здоровые, рослые, один другого толще, некоторые с медалями, висящими на серебряных цепочках, как кресты у попов, одни в сюртуках, другие в халатах, а третьи и в том и в другом, — уселись и строго и упрямо усталились на аппарат.

Это люди отменно терпеливые, и они уже давно приготовились и не шелохнутся, но Курбан все не снимает. Стоит ему засунуть голову под черное покрывало, как является новая мысль, которую он не может тут же не высказать.

— Поднимите головы повыше, — волнуется Курбан-бай, выглядывая из-под черной тряпки. — Терпите! Долго надо ждать, тогда хорошо получится. Это редкий аппарат, не во всяком городе есть. Я его купил и привез на особой телеге осторожно. На сабантуе будет сам губернатор, — продолжает Курбан, — представим ему свидетельство процветания башкирского народа. Пусть увидит благоденствие мусульман под скипетром и державой его императорского величества государя Александра Николаевича. Сегодня русских много приехало, и дружество будет... Терпите, не шевелитесь! В городе даже деревяшки кладут под воротник, чтобы голова не валилась, когда снимают. Рожу подымите, я вам говорю! — вдруг с яростью кричит Курбан на одного из старшин. — Приготовиться надо! Теперь не шевелитесь! Долго терпите. Кто пошевелится, у того две-три головы будет

Аппарат, привезенный Курбаном с большим трудом и предосторожностями, вызывает всеобщее удивление. Собралась толпа зрителей.

— Что это за махину поставили? — спрашивают люди.

Курбан купил аппарат на выставке в Нижнем Новгороде. Впервые он увидел подобную штуку в Оренбурге у губернатора, который и объяснил Курбану, как делается дагерротип.

— Это аппарат. Дагерротип делает, лицо снимает и плечи, и грудь, башку, — объясняет бай любопытным. — Очень дорого стоит. Из чужого государства! Немецкий аппарат.

Курбан — жох мужик, но он красноречив и склонен к фантазиям, чем отличается от других богачей. И будучи человеком деловым, он, осуществляя свои замыслы, придает им вид человеколюбия. Он грамотен по-русски и не чуждается ничего нового. Например, первым из башкир собирается завести локомобиль на прииске. Теперь купил фотографический аппарат и, как оказывается, тоже не зря, а чтобы представить губернатору полную картину благоденствия и процветания башкирского народа.

Он опять залез под тряпку и долго не вылезал на этот раз. Старшины не знали, как быть, и один из них, старый и почтенный, зевнул во весь рот, показывая желтые крепкие зубы.

— Готово! — объявил Курбан несколько смущенно.

Курбан долго не решался снимать и, наконец, снял, но смущался, не зная, хорошо ли получится, достойно ли — люди все же почтенные, хотя и бранил их, пока снимал.

Теперь, следуя замыслу, он хотел запечатлеть то уважение, которое башкирский народ питает к начальству. Он пригласил одного из урядников и заставил солидного и важного старшину сниматься с ним рядом, а сам опять полез под тряпку, опять, выглядывая из-под нее, философствовал и делал снимающимся наставления по-башкирски и по-русски, благо оба понимали и так и этак.

— Еще надо? — спрашивал его толстый старик старшина, готовый сидеть рядом с полицейским урядником сколько угодно.

— Надо, надо! — кричал Курбан.

— Ну давай! — говорил старшина.

— Давай, — соглашался подвыпивший полицейский.

Курбан желал снять такую сцену для губернатора, надеясь, что тот развеселится. Все же снимок будет показывать преданность башкир порядку и расположение власти к башкирам.

Праздник продолжался. Уже закончилась самая любопытная и длительная его часть: байга — скачки. Курбан

жалел, что не мог сняться около своих коней, на которых мчались его сыновья в то время, как он сам, стоя в толпе, орал и махал руками, как простой башкирин. Уже били с завязанными глазами горшки, боролись, тянулись на веревках.

Теперь всюду слышались песни, кураи и гармони наигрывали башкирские плясовые. Начиналась самая веселая часть праздника, когда каждый делает, что захочет.

Курбан вдруг увидел черного бородатого мужика.

— А ну иди сюда, Макарка, — позвал он требовательно, так, как это обычно делали чиновники.

— Почтеньице! — снял шапку мужик и поклонился баю, опасливо приближаясь. Он не любил встречаться с людьми, от которых зависел.

— Аппарат, — показывая коротким пальцем на покрытый черным ящик, сказал Курбан.

Макар глянул туда косо, еще не разобрав, в чем дело. Ему этот ящик показался страшноватым.

— Снимает! — продолжал бай. — Как ты не знаешь? Дагерротип получается! Карточка! Дагерротип, знаешь?

— Музыка играет? — спросил Макар.

— Какая музыка! Лицо твое снято будет.

— Мое лицо? — Макар обиделся.

— Да, лицо снимает.

— Как это снимает? Шкуру, что ль, сдирает? Уж уволь, — с сердцем ответил мужик.

— Не сдирает! Только, как рисует. Сиди — увидишь!

«Кто же это там меня срисует?» — подумал старOVER, глядя на ящик.

— Прощения просим, — пробормотал он. — Прощения просим, — твердил он, кланяясь.

— Сейчас буду тебя снимать! — сказал бай. — Сядь! Сиди! А то худо будет! Ты слышишь, я приказываю!

Макар побледнел. Оставить свое лицо на чем-то, дать как-то снять себя, казалось ему величайшим грехом. Кого его срисует, а как — неведомо. Да и зачем все это? К добру ли?.. Но и отказать баю, которому он был должен и с земли которого кормился, не мог.

— Исай! — крикнул Макар хрипло.

Подошел другой старOVER, русский.

— Ага, ага! — обрадовался Курбан. — Рядом становись. Еще вот Бикчентай Махмутович с вами снимется, — сказал он, кивая на толстого старшину.

Макар несколько успокоился: на миру и смерть красна. И навели на староверов с подставки аппарат, и глянул на них глаз стеклянный.

— Э-э, так это шайтан нас рисует! — молвил Макар.

— Не бойтесь, тут все правильно, худого нет ничего, — говорил Курбан.

Староверы сидели ни живы ни мертвы.

«Правда, — думал Макар, — Курбан человек свой и вряд ли станет делать худое, все же он не городской! Но все же много ли он смыслит, могли ему подsunуть бог знает что, он и сам не ведает, что в аппарате черт... Шайтан! Вон мигает глазом, видно ведь!»

Макар не мог вынести всего ужаса своего положения.

— Эй!.. — взревел он, вскакивая. — Постой, Курбан!..

— Готово! — появился из-под тряпки бай, смущенный и счастливый.

У Макара сердце замерло. Он переглянулся с Исаем.

Подошли Авраамий, Моисей и Иаков — трое пожилых староверов. В Николаевке любили давать детям библейские имена. Один мужик даже спорил с попом, желая назвать сына Каином. Многие жители там Моисеевы, Абрамовы и Исаевы — коренные русские люди.

Трое бородатых мужиков с библейскими именами подошли к Макарке и Исаю.

— Что это? — спросил огромный Моисей, у которого сапоги, как кожаные башкирские ведра, нос как свекла и окладистая борода густа, мягка и нечесана, как скатанная шерсть.

Макар, как мог, объяснил. Бай добавил, показал аппарат, открыл тряпку.

— Нечистый! — категорически заявил Моисей.

— Шайтан, шайтан! — выпучив черные глаза, сказал Макар. — Я думал, музыка!

— Какой нечистый? Какой шайтан? Чего, дурак, болтаешь! — рассердился бай. — Зачем глупости болтаешь?

Тем сильнее вспыхнул Курбан, что у него при упоминании о шайтане у самого ёкнуло сердце. Он толком не знал, как там все получается, отчего будет снимок, хотя и верил в науку. Он опасался, что темный народ подхватит, пожалуется муллам, и пойдут нести: мол, Курбан с шайтаном, что шайтан в ящике...

Курбан любил восточные стихи и даже сам сочинял. Красавицы в них были, как яркие звезды в небе, звезды

были гордыми, герои — богаты и прекрасны и ходили в серебре и золоте. В каждой фразе упоминалось про что-нибудь сияющее серебром, золотом или что-нибудь походило на звезды. Он всегда говорил, что любит «деликатность». Теперь он полюбил науки.

Губернатор благоволил к нему, даже обещал переменить ему фамилию.

«Какая неаккуратность!» — думал бай. Очень уже хотелось ему представить снимки, показать, как башкиры любят начальство.

Макар тем временем подвыпил с горя, что попал в лапы шайтана. И тут он встретил Могусюма, который, сидя под телегой, учился играть на гармонии.

— Эй, приятель! — подозвал его Могусюм и отложил гармонию.

Макар помнил поездку к Курбану и как Могусюм хлопотал. Но еще ярче — обиду, испытанную по дороге, когда Могусюмка упрекал его, что лес вырубил, и даже высказал подозрение, что мужики захотят со временем захватить землю обманом, отнять у башкир. И сейчас обида ожила с большой силой. Правда, потом Могусюм прискакал, хлопотал, но говорил не по-русски, по-своему. Бог знает, может что плел на нас. Макару еще пришло в голову, что условия, на которых снята земля, кабальные и виноват в этом Могусюм. В самом деле, приходилось платить дороговато. Макару и в голову не пришло, что Могусюмка цен на землю не знает по одному тому, что с арендой дела никогда не имел. По мнению Макара, Могусюмка поступил подло.

— Какой я тебе приятель? — с пьяной злобой ответил он башлыку. — Ты тот раз поехал, чтобы нам все испортить, да тебе не удалось. А теперь стал приятель!

— Ты что это? — удивленно спросил Могусюм.

— Поди! — грубо, толчком в грудь отстранил мужик Могусюма со своей дороги.

— Как? — холодно спросил Могусюм.

— Поди, поди, свиное ухо! — поддразнил Могусюма кто-то из подвыпивших парней, ватагой шедших мимо.

С полупьяными озорными лицами они насмешливо и дерзко озирались на незнакомого башкира.

Кто-то из них ударил Макара палкой, видно, приняв его по черной голове за башкирина. Мужик упал.

— Эй, наших бьют! — закричал Исай.

— Это же друг твой, ты разве не узнал? — пытался вразумить поднявшегося Макара старик Бикбай.

— Это мало важности! — отвечал тот. — Я помню, как он нам все дело хотел испортить. Кто его просил? Зависть его взяла! Видишь, как он меня ударил?

— Это не он!

— Нет, это он... Я видел сам! Он хотел убить меня...

В это время кто-то из парней здорово ударил палкой самого Бикбая.

На праздник съехалось множество богатых башкир, тут же собрались безземельные николаевцы, убежденные, что башкиры пасут баранов на черноземе и не дают пахать, что они хотя и бывшее военное сословие, но все в почете и с землей, и не работают, и все живут как казаки.

— Бей их! Ишь, брюхо наели, один другого здоровей...

Пошла толпа низовцев. Они не вмешивались, а подуськивали и николаевцев и башкир.

Бикбай заметил мельком в толпе низовцев своего обидчика Акинфия.

Видя, что началась драка и толпа валит прямо на него, Курбан, наклонившись и вобрав голову в плечи, выхватил пистолет.

— Не подходи к фотографическому аппарату! Стреляю! Всех стреляю.

— Стреляй! — размахивая оглоблей, вылез вперед огромный Моисей.

Курбан навел пистолет, но в это время Моисей, как бы играя в городки, пустил оглоблей в аппарат и сшиб его с подставки. А затем другой оглоблей хряснули по брюху самого бая.

Макар ударил учителя духовной школы.

— А, меня? Меня смеешь? — закричал тот с перекошенным от страха и гнева лицом. — Жаловаться буду! Императору! Закон! Не понимаешь закона!

А сам держал руки по швам, зная, что если сам не ударит, то не будет виноват.

Макар за такие угрозы дал ему по скуле.

— По роже? Какое имеешь право?

Бикбай же был человек простой, не знавший тонкостей и не рассуждавший про власть и законы. Он, не задумываясь, ткнул Макара в зубы своим кулачищем так, что тот опрокинулся навзничь. К тому же при виде Акинфия в толпе он обозлился не на шутку и все зло вложил в этот удар.

— Бей, бей их! кричал кто-то из низовцев, отходя прочь.

Губернатору, подъехавшему с опозданием, показалось, что во всех концах табора танцуют. Но потом видно стало, что ломают телеги, бьют друг друга оглоблями.

— В плети их! — приказал генерал. «Как чувство вал я! — подумал он. — Хорошо, что взял конвой...»

Лупить нагайками! Есть ли на свете занятие приятней! С диким свистом, припав к седлам, помчались казаки на табор. Весь сабантуй пришел в ужас. Казачьи кони пластались в воздухе, перескакивая через телеги. Над толпой заработали нагайки.

Толкая вперед себя в кибитку бородатого Моисея, какой-то башкирин лез за ним с окровавленным лицом. Там уже прятались три хорошенькие башкирки и богатая толстая старуха татарка, усиленно закрывавшая лицо черной тряпкой.

В эту же кибитку влезли Могусюмка и Курбан. Бай дрожал от страха и прижимал к груди черный узел.

— Фотографический аппарат разбили, — дрожа, бормотал бай. И тут же он добавил, тяжело дыша и подняв многозначительно палец: — Дагерротип цел будет...

Моисей рад был, что хоть аппарат удалось уничтожить.

— Всех лупят подряд! — заскочил в кибитку Хибет

Хибетка радовался, что казаки не делают разницы, бьют всех и все одинаково прячутся и убегают.

— Сразу все помирились! — заметил по-башкирски Моисей.

Мгновение было молчание, а потом все недружно засмеялись.

— А это чья кибитка? Богатая, хорошая, — заметил Могусюм, на которого, кажется, нашло хорошее настроение.

— Эта? — не узнавая, где он, ответил бай. — Эй, да это моя кибитка! — удивленно воскликнул он.

И только теперь признал он Могусюма.

— Как я рад вас видеть, почтенный! — Он был поражен. Оказывается, Могусюм опять появился в здешних местах, давно его не было. Курбан испугался поначалу, но подумал, что он чист перед Могусюмкой.

— Как живете, уважаемый? — спросил Могусюм, приглядевшись к Курбан-баю.

— Благодарю.

— Как дети?

— Учатся.

— Как ваш отец?

— Здоров.

— Мне с вами надобно серьезно поговорить.

— Пожалуйста. Очень рад буду. Я обязательно исполню любую вашу просьбу.

Могусюмка намеревался поговорить с Курбаном о том, что низовцы отнимают поляну у Бикбая. Курбан — богач, мог помочь Бикбаю. Исхак его друг, и Акинфия он знает.

Какой-то казак заглянул в кибитку.

— Ты чего? — грубо спросил его бай, готовый, в свою очередь, сорвать зло на казаке, выставляя брюхо и грудь в медалях.

— Порядка наводим! — отступивши, по-русски ответил тот.

— Пшел прочь, дурак!

— Можно выходить, — учтиво сказал казак по-башкирски.

Вечером в толпе к Могусюму подошел рослый красавец в старом бешмете.

— Наконец-то! Ты откуда? — обрадовался башлык.

— Я тебя ищу, — тихо сказал Хурмат. — Только что прискакал. Был в Шигаевой и сюда скорей поехал. Есть к тебе важное дело. Я узнал много нового... Далеко ездил...

Могусюмка был настороже. Он опасался, что его теперь могут схватить. С губернатором прибыли казаки и полицейские. Он намеревался убраться сегодня же.

— Пойдем отсюда.

Друзья вышли из толпы, сели на коней и рысцой поехали.

— Я следил за Рахимом, как ты велел... Он поехал на юг. Был я и у Темирбулатова. Я видел там Зейнап...

Могусюмка быстро повернулся в седле.

— Кого, ты сказал, увидел? — стараясь быть спокойным, переспросил он. Глаза его узкие сощурились.

— Зейнап.

— Где же она? — стараясь подавить волнение, спросил башлык.

— В Юнусове, живет у богача Темирбулатова. Могусюмка вздрогнул.

— Она жена богача?

— Да...

Хурмат стал рассказывать, как он был в Юнусове, как случайно увидел Зейнап, он с ней не говорил: она его не видела.

— Ее муж не знает, что она была твоей невестой.

— А откуда ты об этом узнал? — с подозрением спросил башлык.

— С ней бабушка Гильминиса. Она мне все рассказала.

— Бегим знает?

— Нет, никто не знает. Бегим живет у Шакирьяна и ждет тебя.

— Не говори никому про Зейнап. Пусть не узнает ни одна живая душа.

— Она третья жена у бая.

Могусюмка вспомнил, что говорил Рахим про гаремы «А моя невеста тоже в гарем подала к богачу Темирбулатову, и он, верно, тоже любит русских женщин».

Теперь нельзя было сидеть сложа руки. Утром Могусюм рассказал Хурмату, как намерен действовать. Хурмат умел хранить тайны. Намерения Могусюма пришлись ему по душе. Башлык решил отомстить баю, воспользоваться помощью Рахима, войти в дом Темирбулатова и освободить Зейнап.

В тот же день у дороги Хурмат и Могусюм встретили возвращающихся с праздника шигаевцев.

Могусюмка сказал Абкадыру, что едет в степь.

— Подожди хоть Гурьяна, — посоветовал Абкадыр, заметивший сильную перемену в лице башлыка.

— Нет, мне некогда! Меня ждут дела. А Гурьян, когда вернется, пусть едет в степь к дедушке Шакирьяну или пусть даст знать ему о себе.

— А ты говорил о моем деле с Курбаном? — спросил Бикбай.

— Говорил! — ответил башлык. — Он обещал помочь. Акинфий его друг.

Посидели у костра в молодом березняке, сварили баранину, покушали.

— А ты, Хибетка, домой пойдешь? — спросил Бикбай у сына.

— Оставайся на этот раз с отцом, — сказал башлык своему джигиту. — Старик теперь трудно, дома поживи.

Верные товарищи очень нужны были теперь Могусюму, но он не желал оставить старого Бикбая, которого притесняли богачи, без поддержки. А когда кулаки узнают, что Хибетка жив и здоров, поосторожней станут.

СУЛТАН ТЕМИРБУЛАТОВ

Дремучий лес на двести верст окутал хребты и долины от чугуноплавильного завода к югу. Дальше горы становились ниже, леса редели, а еще дальше начинались безлесные скалистые бугры.

Между голых каменистых кражей в широких низинах были отличные пастбища, на которых башкиры круглый год выпасали скот — баранов и коней.

В тех местах с недавних пор прославилось торговое село Юнусово. В селе построили мечеть, школу, открыли несколько лавок, тайно скупая хищническое золото, заводили землепашество, давали работу батракам с окрестных кочевков.

С одной стороны Юнусова тянулась безлесая гора с кладбищем на вершине, а с другой — протекала неглубокая, но быстрая речка. До сотни приземистых саманных избенок с плетеными загонами для скота вытянулись между увалами и рекой в одну-единственную улицу. У подножья горы били роднички, отчего грязь на улице даже в жаркую погоду не просыхала.

Гордостью сельских обывателей была двухсветная мечеть с высоким минаретом и при ней школа, сложенная из бревен.

Через улицу напротив стоял большой деревянный дом, обнесенный завалинкой, обшитый тесом, крытый железной крышей, огороженный бревенчатым забором, с амбарами, баней и разными другими надворными постройками.

Дом этот принадлежал богачу, крупному башкирскому землевладельцу Султану Мухамедьянчу Темирбулатову. Неподалеку — богатые дома родичей Султана. Тут целое гнездо Темирбулатовых.

История землевладения Темирбулатовых была чрезвычайно темна. Дед Султана — казанский татарин Темирбулат, разбогатевший торговлей лошадьми на Южном Урале, женился на дочери богатого башкирского тархана* Юнуса и жил припущенником на чужой общинной земле.

Во время одного из башкирских бунтов, в котором участвовал его тесть, Темирбулат доставил начальству верные сведения о повстанцах. Юнуса поймали и повесили, а вскоре разбили и все башкирское войско.

* Т а р х а н ы — дворяне

После подавления восстания услуги Темирбулата не забыли. Большая часть семейных угодий Юнуса, которыми он, как тархан и богач, владел отдельно от общины, передали в собственность торговцу и лошаднику татарину Темирбулату.

Так дед Темирбулатова стал из припущенников крупным землевладельцем.

Вскоре он округлил свои владения. Щедро раздавая взятки чиновникам, он сумел отобрать все угодья у юнусовской общины. Башкиры оказались поголовно в долгу у Темирбулата и безропотно позволили баю присвоить часть общинных земель.

Сын Темирбулата — Мухамедьян не оказался предприимчивым хозяином, но зато внук Султан, который, по словам стариков, помнивших еще самого Темирбулата, походил на него ростом и лицом, приумножил доставшееся ему наследство, расширил торговлю лошадьми, завел скупку золота, возил грузы на прииски и на постройку медеплавильного завода, а также в степь, в «орду», для чего закупил у киргизов верблюдов. Покупая мед, шкуры зверей и скота, воск, Темирбулатов переправлял их в город знакомым русским и татарским купцам, с которыми вел постоянные сношения.

Султан владел обширными землями. С одной стороны они граничили с пастбищами юнусовской общины, дальше лежали владения русских. В этих местах границы были относительно точны. В северной же, лесной части, земли Султана примыкали к охотничьим угодьям малолюдной общины деревеньки Нукатовой, населенной юнусовскими выселками. Там границы были неясны. Межой когда-то служила речка, но она пересохла и заросла лесом.

Споров с нукатовскими башкирами из-за земли ни когда не было, в десятинах ни та, ни другая сторона своих владений не знала, леса у всех было доволь, и никто не заботился устраивать межи.

Темирбулатов славился среди башкир не только как богатый землевладелец; это он на свои деньги построил юнусовскую мечеть и школу, в которой учили молитвам, счету и арабскому письму.

Султан Мухамедьяныч оказывал помощь нуждавшимся. В год, когда от наста на раннем снегу погибло много скота у юнусовской бедноты, которая облепила своими жалкими избенками все косогоры вокруг богатых домов, он перегнал из лесу часть своих стад и роздал голодающим. После в течение нескольких лет отдавали они долг приплодом, шкурами, пушниной и деньгами.

...Однажды этим летом юнусовцы увидели на своей улице вереницу экипажей.

По лужам и ухабам к дому Темирбулатова подкатила лакированная коляска с откинутым кожаным верхом, запряженная парой вороных. За коляской следовала тройка киргизских лошадей, везших старомодную карету, уже потускневшую и загрязненную, но не потерявшею еще добротного вида. Следом тарахтела простая бричка.

Из коляски слезли двое приезжих. Один — высокий, плотный человек, с пышными усами на чисто выбритом розоватом лице, в серой шляпе, в дорожном пальто и сапогах. Крупный, но тонкий нос с легкой горбинкой и сильная нижняя челюсть придавали ему вид человека властного и решительного. Спутник его, невзрачный сутулый чиновник лет сорока, одетый в сюртук с форменными пуговицами и выцветший картуз, видимо, изрядно подвыпил, о чем свидетельствовали его соловые глаза и красный нос.

Из кареты появился полный здоровяк в белом расстегнутом кителе и синих панталонах, заправленных в сапоги. Он был без шляпы. Небольшая лысина блестела в его пышной каштановой шевелюре. Белым батистовым платком он вытирал потное, покрасневшее лицо. За ним появился толстый низкорослый татарин в цветной тюбетейке, в пестрых сапогах и в черном, застегнутом наглухо сюртуке.

Из тарантаса же вывалился пьяный, взлохмаченный мужчина средних лет, с огненно-рыжей бородой, в мундире исправника. Урядник, приехавший также в тарантасе, помог ему подняться, и все прибывшие направились к дому Темирбулатова.

Рослый здоровяк первый забрался на крыльцо, распахнул двери и повел остальных через сени в избу.

Чернобородый хозяин в кафтане, расшитом полумесяцами, встретил гостей на пороге. Он низко поклонился и сказал по-русски без акцента:

— Милости прошу, господа, милости прошу, дорогие!

Приехавшие вошли в просторную комнату, устланную коврами. Стол, скамья и несколько стульев — этим ограничивалась меблировка жилища. На нарах до самого потолка гряда подушек в ярких цветных наволочках. У громадного сьуалэ, смахивающего на русскую печь, блестит начищенный медью кумган и широкий таз. В углу перекинут через перекладину затканый серебром намазлык Султана.

— Здравствуй, хозяин, здравствуй, — бубнил высокий в кителе. — Вот я тебе приятелей привез... Лесли

Хэнтер опять у нас, — кивнул он на приезжего в сером пальто.

Англичанин снял шляпу, чуть наклонил голову и крепко пожал руку купца.

— Селям алейкум, — сказал он любезно и слегка кланяясь.

— Вагалейкум ассалам, Лесли Эдуардович, — ответил хозяин и пригласил садиться, кидая гостям подушки на край нар.

Хэнтер и Владимир Николаевич Зверев, так звали великана в белом кителе, предпочли простые табуреты. На урындык забралась приземистый татарин Ахмет Гарейч и сутулый чиновник.

— Здорово, здорово, чертова перечница, — хлопнул Темирбулатова по плечу исправник. — Все богатеешь, башкир к рукам прибираешь... — Он сделал серьезное лицо и, заплетаясь языком, строго выговорил: — А мне, брат, жаловались на тебя, жаловались... Твои же башкиры... А? Каково?..

Султан с достоинством слушал его, поглаживая бороду.

— Ты что ж это, брат, ведь я тебе внушение делаю, а ты ноль внимания, фунт презрения. Нехорошо, братец... Не уважаешь начальства.

— Садись, Иван Иваныч, гостем будешь, — усадил исправника на лавку Султан и сам устроился подле.

— Ну, Мухамедьяныч, как дела? С башкир ясак собираешь? — спросил Зверев.

— Живем очень скромно... — Султан поднялся, открыл дверь и крикнул, чтобы готовили угощение.

На женской половине дома засуетились.

В комнату, где сидели гости, вошла стройная башкирка в голубом суконном еяне — молодая жена Темирбулатова. Она оглядела приезжих быстрым, любопытным взглядом больших черных глаз и стала накрывать на стол.

— Красивая жена-то у тебя... — сказал Владимир Николаевич. — Хочь в Петербург такую! а? Какова?

— Это третья жена, молодая, недавно брал...

— Как зовут, красавица? — обратился к ней Зверев.

Женщина смутилась, закрыла лицо платком и убежала во двор.

— Где ты ее раздобыл, Султан Мухамедьяныч?

— В дальней деревне брал... Она сиротой осталась, я ее бедной взял, пришлось наряды заводить, серебро...

Султан гордился тем, что жены его открыто выходят к русским гостям, что все видят красоту их и прелесть.

— Как зовут-то ее?

— Мою жену зовут Зейнап, простое имя, уважаемый! — ответил Султан.

Женщины внесли закуски. Стол подвинули к нарам. Появилось несколько бутылок вина и водки. Темирбулатов стал разливать.

— Султан Мухамедьяныч! Почтеннейший! — перехватил у него бутылку Иван Иванович. — Позволь, позволь... разрешите... это, братец, закон: где я за столом, там я и разливаю. Вот, обрати внимание, как она, моя дорогушечка, весело бежит — буль-буль-буль... Позвольте вам, господин Хэнтер, от полноты души и до самого края. И вам, Владимир Николаич... А ну, Султан Мухамедьяныч, давай объегорим разок твоего пророка... Да ты не кобенься, не беда, что Магомет водки пить не велел, сказывают, сам-то он заправский был питух. Ты слышишь, что я говорю? А ну, глянь на меня, посмотри, кто я таков, слышишь, я тебе приказываю именем закона. Как ты смеешь отказываться, когда с тобой говорит лицо!.. Это, брат, не шутка. Итак, господа, разрешите провозгласить тост за процветание уважаемой компании.

— Постой, Иван Иванович, переведи дух, — перебил его Зверев.

Исправник перепил в дороге и терял достоинство. Звереву это не нравилось.

— Что-о?... — заерепенился было исправник, но Владимир Николаевич грубо дернул его за фалду мундира; тот замолчал и сел.

— Господа, за здоровье хозяина!

Все выпили.

— Восторг, прелесть! — не унимался Иван Иванович. — Владимир Николаевич, позвольте почтить хозяина знаком внимания. Султан Мухамедьяныч, дай я тебя облобызаю... Позволь троекратно, по-православному... — Он трижды чмокнул Темирбулатова. — Заметь себе: теперь, брат, не крепостное право. Все равны...

— Да отстань ты от него, Иван Иванович, — оттянул исправника за плечо Зверев. — Подвыпил он перед дорогой, а теперь не может удержаться. Закуси, закуси, Иван Иванович.

Вошла Зейнап и за ней коренастая старуха в белом платке. Они опять стали приносить блюда с угощениями.

Гости снова выпили.

— Русская водка! — с многозначительным видом сказал, обращаясь к хозяину, Лесли и стал медленно закусывать.

— Русская водка, уважаемый! — тоже глубокомысленно подтвердил Султан.

Русская водка была тут посредницей и основой для переговоров англичанина с татаринном.

— Хорош биш-бармак, ловко у тебя барана варят, — приговаривал Зверев.

Еще выпили, закусили, поговорили о ценах на золото, о конях. Женщины разнесли чай и сласти. Кумыс стоял в кувшинах.

После чая Владимир Николаевич значительно переглянулся с Хэнтером и сказал:

— А ведь мы к тебе, Мухамедьяныч, как ты понимаешь, по делу. Видишь, нас собралось как много. Хотим брат, доброе дело сделать. Дать работу народу.

К Темирбулатову не в первый раз приезжали городские богачи, чиновники и даже заводчики, у него были обширные знакомства среди русских. Но, как он понимал, не без причины нагрянули сегодня все вместе: и хозяева завода, и чиновник, и исправник, и татарин тут с ними привязался.

Темирбулатов насторожился.

— Ну, так продолжаем наш разговор, — сказал Зверев. — Ты, брат, так все и не сдаешься?

Речь шла о покупке земли у башкирской общины. Султан-бай, хотя и не был пайщиком в той общине, о которой шла речь, но все же влияние его огромно. Это был один из тех могущественных людей, через посредство которого совершались все сделки с башкирами. Покупка сулила ему большие выгоды, но он подобные дела совершал всегда с большой осторожностью.

— Да, у нас есть еще одно дело. Вот Лесли Эдуардович сам хочет с тобой поговорить. Он о тебе соскучился... Пожалуй, объяснит все лучше меня.

Англичанин спросил Султана, кому принадлежит земля от деревеньки Нукатовой к Сухому ключу.

— Не знаю точно, — ответил Султан.

— Эй, брат, далеко пойдешь! — воскликнул исправник.

— Видали? — обратился Владимир Николаевич к своим товарищам.

Султан держал ухо востро. Разговор клонился все к той же цели. Но, как видно, кроме тех земель, о которых шла речь прежде, эти люди желали купить еще и новые участки. Султан знал, что под Нукатовой есть золотые россыпи. Там земля богатая.

Гости стали усиленно добиваться содействия Султана

в покупке нукатовских земель. На то была причина. Прошлым летом туда послана была небольшая поисковая партия. Ездили смотреть золото, а разведку сделали на медь. Слухи о том, что в тех местах богатейшие залежи руды, подтверждались. Трудно было предвидеть, как пойдут дела дальше, дадут ли концессию иностранцу, чтобы разрабатывать там медь и золото. Хэнтер и Зверев решили купить те земли. Приобретались они обычно на русское имя, а в разработках участвовали те, у кого были деньги.

— Мы знаем, что там есть ваша земля, — продолжал Хэнтер, — а еще больше земли юнусовской общины и лес нукатовских выселков, а юнусовская община в вашем же юрте... Так вот, Султан Мухамедьянович, мы купим у вас всю землю между Сухим ключом и Курой, до самых верховьев вместе с хребтом и отрогами. Вы старшина общины и должны объяснить, что это к выгоде башкир. Деньги заплатим сразу же и дадим населению заработки. Будет рубка леса, добыча руды.

Темирбулатов молчал.

— Хорошее дело предлагаем, решай, — хлопнул его по коленке Зверев. — Народ воспрянет, и тебе выгода. Ведь люди у вас мрут.

— Верное дело, чистые деньги, клянусь аллахом, — подтвердил татарин.

— И опять же вознаграждение за посредничество, заговорил сутулый чиновник. — Господам с башкирскими мужиками неудобно торговаться. Ведь те будут подозревать дурное, когда тут все к благу. Обращаются к вам... Господин Зверев и господин Хэнтер пригласили меня как знающего земельные наделы губернии. Я вас заверяю, что вам нечего опасаться. Подтверждаю их самые лучшие намерения.

— Вот я тебе расскажу, — воодушевился Иван Иванович. — В Уфимской губернии в одном из степных уездов исправник подговорил кантонного начальника скупить весь ветер у башкир. Это еще когда кантоны были. Но недавно, братец. И что бы ты думал? Ведь ты сам не знаешь, что это за темный народ ваши башкиры. Уж наши темны, а тут глупость непроходимая. Да еще, брат, по-русски ничего не понимают и привыкли слушаться свое выборное начальство да этих ваших идиотов старшин. Вот эта страшная темнота, как я полагаю, была всему причиной. Скупили ветер. По сходной цене. Понимаешь ты, не воздух даже, а просто так себе, движение атмосферы. Купчую составили и расплатились. Башкиры смеялись, смеялись, а ветер-то, братец мой, перешел в полную собственность

покупателей. Ты, может, думаешь, что я того... Мол, приврал его высокоблагородие. Ни-ни, вот тебе честное слово! Какой курьез произошел! Ты слушай дальше. В тех местах башкиры хлеб сеют и по всем деревням у них ветряные мельницы. Так осенью-то кантон с исправником обложили все мельницы новой податью за пользование ветром. Башкиры туда-сюда, судиться — шалишь. Кантон, братец, там жулик был, так он все предусмотрел заранее. Вот тут и получилась оказия. Правда, потом исправника за это сместили, но ведь покуда суть да дело, а кантон-то разбогател. Вот какие дела бывают на белом свете!..

Разговор снова вернулся к делу. Зверев просил Темирбулатова приехать в город с представителями общин, чтобы там заключить сделку.

— Вот Иван Иванович за тобой заехать может и с ним прикатишь в свое удовольствие. Знаешь, брат, что такое полицейская езда? Прелесть! Быстрота! Ему в соседние аулы надо по делу, так он на обратном пути к тебе завернет.

— У меня не отвертись, ни-ни... Ты у меня как под арестом поедешь.

— Нет, я не могу этого сделать, — отвечал Султан, — и в город не поеду.

Все несколько удивились.

— Почему же? Что с тобой случилось? — спросил Зверев и переглянулся с исправником и с Хэнтером.

Те зорко смотрели на Темирбулатова.

— Видите ли, Владимир Николаевич, уважаемый, — начал Султан, — ведь я башкирин. И мне совестно в глаза своим смотреть. Совсем бы не желал я участвовать в таких сделках. Хотел бы жить спокойно.

— Э-э, брат, не притворяйся, любезный, — молвил Иван Иванович.

— Я не притворяюсь, а говорю чистую правду.

— Но ведь та земля, на которой стоит мой медеплавильный завод, при твоём же посредничестве куплена. Что же ты, брат? Ведь скольких мы с тобой облагодетельствовали.

— Нет, уважаемый Владимир Николаевич, я не забыл, хорошо помню. Тогда можно было, уважаемый. Теперь я это понимаю. Я не могу разорять народ и не хотел бы участвовать в подобных операциях.

Англичанин с кислым видом смотрел на Зверева, видимо, ожидая поддержки, но тот опешил от неожиданности и, разводя руками, в свою очередь взглянул на исправника. Иван Иванович не потерял духа и, подмигнув

Звереву, покачал отрицательно головой, как бы желая сказать, что Султан врет, что тут просто дело нечисто и ключ можно подобрать. Исправник, кажется, и в пьяном виде соображал отлично.

С Султаном долго спорили. Пили вино, шутили, говорили про женщин, потом опять возвращались к делу. Султан стоял на своем твердо.

Исправник уехал в тот же день. На прощанье он дал несколько полезных советов заводчикам.

Султану он сказал как бы между прочим:

— Слушай, брат, я слышал, у вас тут идут какие-то подговоры, будто проходили агенты и призывали народ собирать на мусульманское государство. Ты это слышал?

— Слышал, уважаемый, — ответил Султан.

— Заметь себе, кто эти люди, и при случае, если они слишком распустят языки, приукроти их... Ты помни, что я на тебя надеюсь.

— Это дурные люди, уважаемый Иван Иванович. Прошли быстро мимо. Всем известные разбойники. Представляют опасность! Если будут у меня, то приглашу и поинтересуюсь. Замечу мимоходом, что дело не мое, а ваше, Иван Иванович.

— Я, брат, знаю, что это мое дело, и говорю тебе на всякий случай, чтоб ты имел в виду. Ты умный человек...

— Я имею в виду, уважаемый Иван Иванович!

— Да ты подумай потом, как все уедут, о том, что я тебе сказал...

Гости остались ночевать. Вечером посовещались между собой, потом Ахмед Гарейч долго говорил с Темирбулатовым по-башкирски.

— Нельзя людей зря тревожить, — возражал Султан.

— Деньги, деньги платят! — утверждал Ахмед Гарейч.

Наутро Зверев дал Темирбулатову пять тысяч рублей без всякой расписки, но тот заметил, что ничего не обещает твердо, и добавил, что, может быть, вернет деньги. Простились дружески, назначили новую встречу в городе, куда, как сказал Султан, придется ему в скором времени приехать.

— Каков гусь! — заметил Зверев, когда подали экипажи. — Мне кажется, мы должны изменить наши методы, — добавил он по-английски.

— Our methods are not radically different from his own*, — мрачно сострил Хэнтер и, склонив свою большую голову, полез в коляску.

* - Наши методы не слишком отличаются от его собственных

— А ну, трогай! — приказал Зверев.

Кучер-татарин в черном полукафтани с красным кушаком подскочил на облучке и защелкал языком. Тройка захлюпала по глубокой юнусовской грязи.

— The last degree of lazy* , — добавил Лесли Эдуардович, кивая на избы из кривых бревен с жалкими соломенными крышами.

Глава 23

НОЧЬ В ЮНУСОВЕ

Вечерело. В сумерках расходились из мечети прихожане. По избам зажигались огоньки.

Султан Мухамедьяныч после вечерней молитвы отправился домой. Переходя дорогу, заметил, что возле ворот его дома у коновязи стоит добрый рослый конь.

«Еще какой-то гость?» — подумал Темирбулатов, оглядывая седло с увязанным к нему чепаном. Конь был мокрый, дышал тяжело: по-видимому, всадник ехал издалека и спешил. Султан вошел в калитку. На заднем крыльце старого дома, стоявшего в середине двора, там, где первая жена Султана, уже немолодая, Гюльнара готовила себе на костре пищу, сидел рослый худой башкирин в темном бешмете и рыжей шапке, с ружьем. Гость встал с крыльца и почтительно поклонился хозяину. На лице у него был глубокий шрам.

— Ах, это ты! — Султан узнал приезжего. — Ну, пойдем в дом, гостем будешь, — пригласил он. — С какими вестями в нашей стороне? — спросил Темирбулатов по-татарски.

Среди богатых башкир умение владеть татарским языком считалось признаком образованности. Темирбулатов же, внук татарского купца, любил блеснуть перед неграмотными единоверцами — бедными охотниками и скотоводами — умением говорить по-татарски.

— Вести разные, есть до тебя большое дело.

Султан не подозревал приезжего в дурных помыслах, но на всякий случай надо быть осторожным. У него под рукой всегда были крепкие ребята — работники. Он кликнул одного из них. Вошли в избу. Слуга зажег свечу, предложил гостю табурет.

* — Последняя степень лени!

— Слава аллаху, благополучно добрался до тебя, Султан-ага, — сказал Сахей. Он снял с плеча ружье и поставил его в угол. — Как ты поживаешь? Все ли благополучно у тебя?

— Слава аллаху, живу трудами и молитвами!

Разговор вели на разных языках: хозяин говорил татарски, а гость по-башкирски.

— Откуда? — спросил Темирбулатов.

— Из Бурзянского урмана.

Темирбулатов пристально взглянул в лицо собеседника.

— Когда ты расстался с ним?

— Сегодня утром.

— Где же он?

— Близо, — низко поклонившись, сказал гость торжественно. — Рахим велел спросить, можно ли к тебе приехать? Он на Соленом Лосином логу ответа ждет... Сам я тебе ничего не могу сказать.

— Это понятно, — сказал Темирбулатов.

— Рахим новости тебе сам расскажет.

— Он один приедет?

— Со мной.

Султан снял нагар со свечи, вытер пальцы о полу кафтана, усмехнулся.

— Так поезжай, скажи, можно. Да не держитесь так, словно мы делаем какое-то незаконное дело. Ко мне можно всегда приехать, в любое время. Я не стыжусь знакомых. Совсем не надо ждать, когда наступит ночь. Меня все знают, и вы с Рахимом можете не бояться.

Сахей смутился и что-то хотел сказать но Султан перебил его:

— Будьте здесь нынче ночью. До лога недалеко, скачи туда, и пусть Рахим сейчас же приезжает. Я ему буду рад.

— Ярыр, ярыр*, — тоже хвастнул на прощанье татарским словом гонец и, довольный, что выполнил поручение, стал прощаться.

Темирбулатов еще раз строго сказал ему, что не надо прятаться и что напрасно задержались, нужно было приехать днем, но уж раз так получилось, то не ждать же утра. Пусть Рахим приезжает ночью, только не стучит громко: двери на крыльце будут открыты и работник станет ждать.

* Ярыр — хорошо (татарск.)

Через некоторое время слышно было, как захлопнулась калитка, как под окнами забрякали кованые копыта, сначала медленно, потом чаще и чаще, и, наконец, дробный стук их стал стихать и замер вдалеке.

* *
*

Весной этого года, вот так же вечером, под окнами Темирбулатова дома появился всадник. Лошаденка у него была на вид плохонькая, но, как сразу определил взглянувший в окно Султан, выносливая. Всадник в оборванной одежде. Когда он вошел, Султан рассмотрел его лицо и понял, что это один из южных степняков, выходцев с великих рек Востока, из оазисов, из древних государств, расположенных далеко за сыпучими песками. У него был крупный горбатый нос и блестящие черные глаза, резко очерченные губы, острое лицо и почти черная от загара кожа, со светлыми бороздками в глубоких морщинах. Он чем-то походил на старшую жену Султана, уже постаревшую Гюльнару, которую бай когда-то купил далеко за степью, в тех краях.

Рахим привез ему письмо от знакомых купцов из киргиз-кайсацкой степи. Они просили оказать Рахиму всемерное содействие в том деле, с которым он обратится. Трудно было придумать что-нибудь более неприятное для Султана. Речь шла не о торговле. Дело было опасное. Султан понял, что это шпион, посланный под видом странника. Рахим говорил по-татарски и по-башкирски, а сам из Хивы, как он уверял, потомок башкир.

Но у Султана дружба с русскими! Он на отличном счету у начальства, сам губернатор жал ему руку на выставке. На миг Султан озаботился. Потом улыбнулся ласково. Он сказал Рахиму, что был бы очень рад помочь ему.

Темирбулатов был связан знакомством со многими людьми на Востоке, славился как правоверный. Он понял, что нельзя отвергнуть просьб, изложенных в письме.

Султан был из тех людей, которых огорчение и забота через некоторое время делают еще сильнее. Он умел извлекать выгоду из всякой рушившейся на его голову неприятности. Он провел вечер в разговорах с Рахимом, в вопросах о Востоке, о том, какие взгляды там на политические события. Рахим уверял, что положение России очень плохое, что все страны против неё, что Англия и

Турция заодно, что теперь, после поражения России в прошлой войне, весь мусульманский мир воспрянул духом. Султан спросил, что делается в Турции и Хиве, что там говорят, какие на что цены.

Султан — человек дела. И как торговец и промышленник, он желал выяснить, каковы силы у тех, кто хочет войны против России.

На другой день, поутру, Султан обдумал все, сидя в одиночестве. Очень может быть, что Англия и Турция будут воевать. В степи волнения. Об этом он слышал. Отказать Рахиму в помощи прямо нельзя. Может случиться, что Россия потерпит поражение, хотя в это плохо верится. Нечего гневить аллаха, и при русских живется хорошо, даже, может быть, посвободнее, чем под ханами за степью, где никакой законности и где купцам нелегко.

Но тут же явились и другие соображения. Приезд вестника с Востока и то уважение, которое выказано, гон привезенного письма — все это глубоко его тронуло. На Востоке была память о нем, надеялись на него. Время тревожное. Дерзкое завоевание русскими Бухары, видно, возбудило весь мир.

«Но все же глуп этот Рахим! Они глупы там, на Востоке! Глаз у них нет! Ничего они не понимают».

«Я только сделать вид могу, что их поддерживаю, чтобы не терять кредита на востоке. Вот что значит иметь дело с иностранцами — тюркского племени. Они России не знают. Но они богаты и за свое богатство требуют, чтобы я следовал им. Не тут-то было! Султан верный российский подданный!»

«А что, если в самом деле произошли бы перемены? — на миг подумал Султан. Мысль эта была отвращающе приятна. — Я не был бы простым купцом...»

«Все богатства огромной страны, которые захватывают сейчас промышленники, стали бы моими». Теперь он знал, чем богата эта земля и как добывают золото, железо, медь и другие руды.

И все же он помнил про силу русских и знал, что действовать и помогать Рахиму надо лишь для вида. Поэтому, не смотря на вспыхнувшую жажду власти и богатств, он должен быть осторожным. Рахим не поднимет бунта. Об этом и речи нет. Ждать войны, но ждать в полной верности русским.

Султан решил не держать гостя у себя. Ему нужны сведения о русских — пусть идет в город. И пусть побродит по северным башкирским землям, осторожно поговорит с людьми.

Но вскоре в уме его созрел новый план. Ведь на севере Могусюмка!

Султан был смелый человек, и всякому другому дела его представлялись бы совершенно запутанными, но сам он отчетливо знал, как надо действовать.

«Могусюмка храбр и отважен, — полагал он. — Храбрость, если рассудить как следует, — это тоже богатство. А богатства должны стекаться в руки богатых, и всеми богатствами должны управлять хозяева. Храбрый человек глуп, если он один и если он только храбр. Рано или поздно ему сломят голову. Долг умного человека воспользоваться этой храбростью и найти для нее цель. Храбрость — это тоже товар, и ее надо уметь купить и продать и пользоваться благами от нее умело и с выгодой».

Султан решил, что Могусюмку надо «приспособить к делу», или, как говорят русские, «сделать коммерцию» из его храбрости.

Башкирская беднота считала Могусюма благодетелем. Если действительно когда-нибудь случился бы бунт, его можно со временем сделать настоящим вожаком, люди пойдут за ним.

Султан сказал, что желает дружбы с Могусюмом ради дела веры, так понял его и Рахим. Но Султан втайне желал совсем другого. Давно уж он намеревался завести дружбу с каким-нибудь отчаянным сорвиголовой, у которого были бы товарищи, который мог бы служить семье Темирбулатовых, пользуясь их поддержкой. Могусюм казался ему самым подходящим человеком. Но не так легко его подчинить. Просто за деньги идти и грабить караваны соперников Темирбулатова он не согласился бы. Даже говорить с ним об этом нельзя... Теперь, когда Рахим явился, есть предлог и цель, есть и опытный краснобай-проповедник. Если же ничего не будет — станем учить детей любви к аллаху. А дружба с Могусюмкой пригодится. Можно было бы самому губернатору похвастаться, что Могусюмка раскаялся, даже выпросить прощение для Могусюмки. Будет ли на свете союз крепче: купец и храбрец, деньги и кинжал! Никто не устоит против такого союза!»

«Но кто поможет Рахиму все сделать? Где скроется он?» — размышлял Султан, решив отправить на север вестника из Хивы. Друзей, мулл, купцов там не мало. Но Султану пришел на ум один из его русских приятелей — Акинфий Ломовцев из деревни Низовки. Это человек, ненавидевший начальство и очень хитрый. Однажды, когда Султан ночевал у него, он жаловался на притеснения, что староверы недовольны, что им хуже, чем мусульманам: «Магометанам

никто не запрещает молиться по-своему, а нас все утесняют. вечные придирки. Вот слышал я в свое время, наши уходили в туретчину, и, говорят, славно живут там до сих пор... В старину ходили наши и в Австрию и в Сибирь».

Сказано это было в досаде, но в то время, когда шел слух о войне с Востоком. Султан запомнил этот разговор. Он решил: пусть Рахим поживет некоторое время у Акинфия, и написал письмо Ломовцеву, что к нему едет купец.

Никто не заподозрит заезжего татарина, живущего в русской деревне, в том, что он проповедует священную войну и шпионит в пользу турок.

...Теперь Султана очень занимало, сумел ли Рахим сговориться с Акинфием, пожелал ли Могусюмка стать пашой?

Султан думал сейчас и о другом. Надо продавать соседние земли. Пора! Селять нукатовцев! Этого хотят промышленники, и это выгодно. Дело сулило огромные барыши. Султан продавал землю общины и приобретал эту же землю как член акционерной компании. Одно общество разорялось, другое богатело. Султан становился чем-то вроде владетельного князя, которому постепенно подчинялись все горные и степные восточные башкиры. Он обдумывал, как лучше поступить:

«Может быть, Рахим и тут будет кстати? Он может объяснить народу, что вынудили продать землю.

Все же предстоящий приезд Рахима тревожил.

«Да тут еще исправник: мол, явились турецкие эмиссары. Знает! Кто донес? Конечно, свои башкиры... Народ у нас ненадежный...»

Рассуждая так, Темирбулатов готовился к встрече с Рахимом. Он снял с вешалки простой бешмет, опоясался сырымлятным ремешком, пошел во двор, разбудил работника Афзала, самого верного своего человека — низкорослого, плотного татарина, и велел сходить ему за своими родичами: Гильманом и Гулякбаем Темирбулатовыми.

Не успел Афзал собраться, как у ворот застучали колеса

«Что это он, неужели на телеге приехал?» — недовольно подумал Султан, но в это время в темноте за забором раздался голос исправника:

— Стой, тпру! Приехали!

Афзал открыл ворота, и во двор заехал тарантас.

— Вот я и прикатил,— вылезая из него, заявил Иван Иваныч.— Шалишь, любезный, я исполняю обещание в точности, и раз сказал, что заеду на обратном пути, то уж так и поступлю обязательно!

— Очень рад видеть вас, Иван Иваныч!

— Нет, что-то ты будто не очень рад, как-то кисло меня встречаешь. Может, ты кого-нибудь другого ждал?

— Да, действительно, ко мне должен один человек захватить. Но тем более я рад вам. Ведь, как вы знаете, я от вас ничего не скрываю.

Султан счистил с исправника ключья сена, которого урядник навалил в кузов, чтоб помягче было.

— Милости прошу, дорогой, очень рад, будешь ночевать у меня,— как бы невзначай, переходя на «ты», продолжал Темирбулатов.

— Ну, знаешь, мы гнали вовсю. Я и то, братец, рассудил, где у этих чертей ночевать стану в деревне. У них там вонюча, мерзость. Я так решил, что нынче сплю у тебя.

Вошли в дом.

— Ну как съездили, Иван Иванович?

— Плохо, братец, ужасно, просто невероятно,— говорил исправник. Сегодня он был трезв.— И что это за народ ваши башкиры. Живут как голодранцы. Ты, любезнейший, только рассуждаешь о помощи: мол, благодетельствую народ, строю мечети, мальчишек молиться учу. Черта ли им в твоих молитвах, когда им, братец, жрать нечего! И тебе не стыдно, что исправнику приходится объезжать деревни, определять, какие поступки совершены, кем бы, ты думал, совершены? Мертвецами. Да, да, любезнейший, мертвецами-с!

— Не понимаю, Иван Иванович, прости, глуп, видно, стал, не понимаю...

— Не понимаешь? Как же это ты, братец, не понимаешь?.. Должен бы понимать, не маленький...

Султан выставил на стол штоф и закуску.

Осушив бокал, Иван Иванович закусил бараниной и снова заговорил.

— Приезжаю я в деревню Кизильскую. Там у них драка произошла на прошлой неделе. Из-за пустяков дело дошло до поножовщины... Приехал и сразу же требую представить мне виновника и пострадавших. Понимаешь, требую. А ваш башкирский старшина, братец мой, такая bestия, ухмыляется. Я, Султан Мухамедьяныч, человек горячий, неуважения не переносу, не могу терпеть усмешек, непочитания чина... Я ему по морде... «Что ж это,— думаю,— за безобразие? Это ж не крепостное право!» Ну, нагнал на него страха. Опять требую... Бабай, видимо, образумился и объясняет, что, дескать, спор прекращен, так как пострадавший помер с голоду, а виновник опух по той же причине. Черт знает, что там делается в деревне. Голод, скота нет, жрать нечего, народ мрет. Экое безобразие!.. Пошел я к виновнику сам. Изба

у него плетеная, как вигвам у индейца, ребятишки есть просят, хватают меня за мундир, за штаны... А сам хозяин еле жив и распух, раздуло ему брюхо, как турецкий барабан. Так допроса и не сняли... Коего черта с него возьмешь? Вот, братец, какая оказия! А все твоя вина.

— Помилуйте, почтеннейший, в чем же моя вина? Ведь вы же сами, Иван Иванович, говорите, что башкиры лодыри, чем же я провинился?

— Султан Мухамедьяныч, я человек свой, ты передо мной дурачком не прикидывайся. Я тебя насквозь вижу. И не угощай меня больше. Сегодня пить не хочу. Ты тут по округе всех сородичей как липку ободрал.

Вошел урядник.

— Ну-ка, Тимофеич, дербалызни.— Исправник налил ему стакан водки.

Урядник разгладил усы, перекрестил рот, крикнул, вытянул губы дудочкой и, захватив двумя пальцами стаканчик, мигом осушил его до дна.

— Покорно благодарю, ваше высокоблагородие...

— Иван Иванович, где позволите стелить вам на ночь?

— На свежем воздухе, братец! Знаешь, предпочитаю сеновал или там что-нибудь в этом роде... Люблю запах сена, природу и все такое, так что ты мне, пожалуйста, прикажи стелить на свежем воздухе, а то я этих ваших изб не переносу.

Хозяин вышел распорядиться о ночлеге для Ивана Ивановича. Сходил в старую избу, поднял двух старух — служанок первой жены. Гюльнара сказала, что и где надо взять, чтобы устроить гостей. Служанки отправились на сеновал стелить постели.

Прогуливаясь по двору, Темирбулатов время от времени заглядывал в окно. Там при свете свечей исправник и Тимофеич сидели за столом и разговаривали.

Вернулся Афзал с Гулякбаем и Гильманом — родичами бая. Султан провел их на задний двор. Все четверо долго совещались, потом Гулякбай и Гильман вошли в избу, а Афзал отправился за ворота.

Султан залез на сеновал, посмотрел, как застланы постели. Ему хотелось угодить Иван Ивановичу, и он велел одной из старух пойти к молодой жене Зейнап, попросить у нее одно из шелковых одеял.

Старуха вернулась сердитая и без одеяла. Султан понял, что молодая жена недовольна. Он уж не впервой замечал, что между его женами нет мира и что две старшие жены не любят свою молодую соперницу. Видно, Зейнап решила, что

Султан послал за одеялом по совету старшей жены, и поэтому прогнала старуху.

— Ладно, ступай спать,— сказал ей бай.

Султан зашел к Зейнап, сказал ей несколько ласковых слов, погладил по голове.

Через некоторое время он возвратился на свою половину. Тимофеич допил водку и закусывал топленным маслом. Исправник писал, сидя за столом. Темирбулатов и Тимофеич отнесли его вещи на сеновал, а потом проводили туда исправника. Они помогли забраться наверх Иван Ивановичу. Урядник стянул с него сапоги и сам устроился рядом.

Убедившись, что гости улеглись, Темирбулатов посадил Гильмана во дворе на всякий случай, чтобы знать, если они станут подглядывать. Гулякбай сел за перегородку рядом с той комнатой, где предстояло беседовать с Рахимом. Султан задернул вход туда занавесью. Афзал сидел на крыльце, поджидая гостя.

Глава 24

ИВАН ИВАНЫЧ

В полночь приехал Рахим. С ним прискакал Сахей-джигит со шрамом на щеке. Коней работники Султана быстро увели на задний двор.

После приветствий и поклонов Султан предложил гостю подушку.

— Садись.

— Рахмат!*

Рахим разулся и в одних чулках присел на ковер.

Начали с незначущих разговоров.

— Издалека ли ехал?

— На Соленом Лосином логу посланного обратно дождался. Ночь-то темная, в степи плохо дорогу знаю.

— Кумыс пей!— Темирбулатов зачерпнул половником в бочонке, налил чашечку, подал гостю.— У меня ночуют приезжие, русские... Исправник и с ним урядник. Мои знакомые.

Он держался запросто и сказал это как бы между прочим. Рахим удивленно посмотрел на хозяина и еще больше выкатил свои огромные глаза. В них явно выразилась тревога.

* Рахмат — спасибо.

— Крепкий кумыс?— спросил его хозяин с чуть заметной насмешкой.

Рахим несколько растерялся, не зная, что ответить. Оба немного помолчали, приглядываясь друг к другу.

— Я ждал тебя с нетерпением и все время помнил о нашем общем святом деле,— сказал Султан. Он спросил про Могусюмку.

— А русские, которые у тебя ночуют, по-нашему понимают?— осведомился Рахим, поглядывая по сторонам и протягивая шею к занавеске, как бы желая заглянуть за нее.

— Да, один понимает,— безразлично ответил Султан.

Рахим взял себя в руки. Его лицо приняло восторженное выражение. Он поднял голову.

— Долго уламывал я Могусюма. Долго он колебался, но, наконец, согласился. Он, кажется, только дружбу свою с неверными потерять не хочет, однако мечтает стать пашой.

— Так удача?

— Удача!

— Слава аллаху!— заметил Темирбулатов.— А где же сам Могусюмка?

— Он в Бурзянских лесах...

Темирбулатов спросил, понравился ли ему Могусюмка, каков он. Сам Султан ни разу не видел башлыка.

— Наивен! В лесах рос. Колебался, долго спорил со мной. У него друзья есть русские,— многозначительно повторил Рахим.— Он тревожился за их будущую судьбу. Много мне пришлось повозиться с Могусюмкой.

— Что же он?

— Все время упирался и колебался, но, наконец, во всем со мной согласился. Он в нашей власти. Ему мешает дружба с русскими. Я отвлекал его от этого. Через некоторое время мы с ним опять встретимся. Я собрал мешок денег. Для нашего дела все охотно жертвуют.

— Разве этих денег хватит!— с презрением сказал Султан.

— Собираю деньги для того, чтобы люди думали, что на их средства все сделано. А, конечно, это гроши. Но люди будут гордиться, когда придут войска с Востока и начнется война. Подумают, что все это на их деньги.

Султан улыбнулся.

— А как Акинфий тебя принял?

— Очень хорошо,— ответил Рахим.— Это хороший человек.

— Очень хороший!— многозначительно согласился Темирбулатов.

Ломовцев, как оказалось, ни в какие подробности с Рахимом не входил, но сказал ему твердо, что в случае беды тот всегда может скрыться у него и что в Низовке его сам черт не сыщет. У низовских мужиков в окрестных лесах были займки и охотничьи балаганы, которых никто, кроме хозяев, не знал. Сами низовцы не могли добраться друг к другу в такие места без проводников.

— А исправник сам к тебе приехал? Он только ночует или надолго останется? Он знакомый твой?

По тому, что Рахим задал сразу три вопроса, заметно было, что он тревожится.

— До города отсюда двести верст. Неужели ты думаешь, что после того как вечером побывал у меня твой гонец, я успел послать в Оренбург и оттуда приехал исправник? И птица слетать не успела бы.

В больших глазах Рахима на миг выразилась обида и неприязнь. Он был пылок. Его упрекали в трусости, он желал быть лишь благоразумным.

— Исправник приехал по своим делам и остановился у меня ночевать,— пояснил Султан, видя вспышку на лице гостя.— Хорошо, если он увидит тебя, и все узнают, что ты ночевал здесь в ту же ночь, что и он. Тебя никто ни в чем не заподозрит. Утром я познакомлю тебя с исправником.

Выразительные глаза Рахима совсем потухли и размеренно забегали вправо и влево, как маятник у часов. Он опасался, что попал в ловушку. Темирбулатов всегда считал, что такие красивые острые лица бывают только у людей трусливых.

— Как же ты людям говоришь, что восстание поднимать надо? Что надо жертвовать собой во имя аллаха, а сам боишься встречи с русскими под моей крышей, где тебе никто не угрожает?— грубо сказал он.

Султан знал, что Рахим пришел не только, чтобы мутить народ. Он желал узнать настроения мусульман, за кого они в душе, можно ли на них положиться. Он делал ставку на веру. Хотел разжечь вражду мусульман к русским.

Султан старался показать, что будет делать так, как сам хочет.

— Ты познакомишься с исправником,— сказал Султан, сверкнув глазами.— Он хороший человек. Ты ему понравиться. Русские в моем доме, и мы с тобой не должны их бояться. Когда надо будет, у них же оружие достанем... Разве ты не знаешь, почему в Хиве у меня друзья? Ведь я отправляю в степь караваны с товаром и оружием. Где я достаю? Ведь у вас в Хиве не делают тульских ружей?

— Теперь я хочу походить по здешним селам, поговорить с народом,— сказал Рахим, показывая, что совсем не тревожится, пренебрегает личными обидами и напоминает Султану о его долге.

Этого нельзя делать,— ответил Султан. «Ему хорошо,— подумал он,— пришел и ушел. А мы-то тут всегда живем...» — Тебя мгновенно схватят.

— Кто?

— Кто? Верующие!

— Правоверные? — вспыхнул Рахим.

— Ты много говорил с ними на севере?

— Нет, только с некоторыми.

— А как же собирал деньги?

— Я не говорил ничего прямо... Там, на севере, горы и леса, и деревни малолюдны, живут охотники. А здесь огромные села и множество людей, все они земледельцы. Земледельцы — главная сила в войске. Потом я пойду за Урал.

— Но в горах и в лесах люди смелей, там легче хранить тайны.

— В лесах люди просты и невежественны. Они даже не знают, что есть тайна. Я объяснял им по корану, а они говорят, что впервые слышат. А потом я перейду за хребет в Уфу,— сказал Рахим.— Мне надо побывать в духовном управлении...

В эту ночь Рахим много говорил о будущем. Разговаривать о будущем стало его профессией.

Оба оживились, заговорив про гаремы Султан не прочь был поговорить на эту тему: чем старше и богаче становился, тем больше любил женщин.

Заговорили о золоте, об уральских драгоценных камнях. Опять вспомнили Могусюма.

— Могусюм мечтает спасти леса,— сказал Рахим.

— Мы виним заводских инженеров, что жгут леса. А ведь нынче хотят делить леса на участки и охранять! Что лес жалеть? Он растет все время. Могусюмка, видно, молодой еще, глупостей наслышался от своего отца, что лес жалеть надо. У него отец был не совсем в своем уме: всех жалел. Еще только деревья осталось нам с тобой жалеть. Жалеть надо веру, а не леса, и сохранять ее чистоту.

Беседовали долго, говорили о том, как действовать дальше, и разошлись поздно.

«Слава Рахиму! — думал Султан.— Он умело выполнил все поручения. Он прав, торопить Могусюмку не надо». Никакой благодарности Темирбулатов выказывать Рахиму не собирался. Это не в его правилах, уж по одному тому, что получившие благодарность обычно рассчитывают получить

выгоды. С Рахима и так довольно. Султан полагал, что его надо будет припугнуть хорошенько, чтобы на многое не рассчитывал. Пусть знает, что здесь, в России, он в полной моей власти. Ему еще придется обламывать Могусюмку, приучать башлыка повиноваться. Могусюмка не сразу поддастся, когда речь пойдет о торговых караванах, что надо средства добывать. Могусюм пылок. Хорошо, что Рахим уловил страсть Могусюма служить справедливому делу. Он говорил с ним вдохновенно и, видно, разбередил. Но разговоры Рахима о том, что Могусюмка колебался, насторожили Султана. Правда, если он вздумает противиться или умничать, то на крайний случай у Султана есть выход. Долго ли сказать Ивану Иванычу... и башлык окажется в руках полиции — конец ему.

Султан, уложив гостя, пошел через двор в домик молодой жены Зейнап. Он был бодр и оживлен оттого, что дело завязывалось и что так удачно подтрунил над «святым». Теперь Султана ждала хорошенькая молодая жена.

Утром он был несколько бледен, но весел и показался на дворе, как обычно, рано. Под глазами набежали маленькие мешки, и лицо, казалось, пожелтело немного. Он переступил закон порока и пил ночью.

После утренней молитвы он пришел к Рахиму.

Рахим ночью не пил, но был еще бледней и желтей Султана. Он плохо спал, ожидая обещанной встречи с исправником.

За завтраком Султан познакомил его с Иваном Иванычем.

Рахима он представил как паломника, вернувшегося из странствия и собиравшего на построение мечети, и даже попросил для него у Ивана Иваныча вид на жительство, сказавши, что ручается за этого человека.

Исправник покосился, но сразу ответил, что Рахиму будут документы.

«Морда твоя мне не очень нравится,— думал Иван Иваныч про Рахима.— Посмотрим, посмотрим, что они тут затевают».

— Слушай, а этот твой паломник не имеет отношения к этим подговорам о мусульманском государстве? — спросил Иван Иваныч, когда Султан вышел проводить его.

— Никакого! Ручаюсь... Конечно, они все толкуют темные речи, — добавил Султан, — но это добрый человек, я его знаю. Я скажу вам откровенно, Иван Иваныч, что сселению нукатовцев надо придать вид законности. Я представлю вам, как это надо сделать.

Расстались они, как всегда, друзьями.

«Любопытно, как Султан сгонит нукатовцев? — думал Иван Иванович по дороге.— Хитер, хитер!.. Наверно, втравит меня! Провокатор первой статьи».

Темирбулатов дал Рахиму поручение.

— Иди в Нукатову. Надо объяснить там, что вынуждают нас продать землю. Дело не моих рук, но иначе нельзя. Объясни, что с меня требуют. Все видят, кто ко мне ездит, и что я помогаю правоверным. Поговори там о долге, о вере, об аллахе, утешь народ, объясни, что в будущем вся надежда на торжество веры.

Рахим обрадовался поручению: продается земля, сгоняют людей — тут можно будет разжечь ненависть.

Потом говорили о политике.

— Хива — могущественное государство. Она заодно с Турцией и Англией. Хива, Англия и Франция! — твердил Рахим.

Султан один раз слышал, что Могусюмка проходил степью. В городе, где был в то время Темирбулатов, знакомые татары смеялись, что теперь Султану конец. Темирбулатов еще тогда испугался и долго не ехал в Юусово. Но Могусюмка прошел мимо, не задержался: торопился, видно.

Потом шел слух, что Могусюмка хотел ограбить Султана, но русские его спугнули. А говорили еще, будто бы он, узнав, что Султан помогает народу, хвалил его и поэтому пощадил. Слухи, как всегда, разные. Вообще, будь Могусюм не дурак, дело бы пошло. И Рахим ушел бы скорей и осчастливил бы своих восточных повелителей известием, что тут мусульманство верно вере и ждет. И русские власти были бы довольны. А исправник, пожалуй, когда-нибудь и коньячку бы выпил с Могусюмкой.

Глава 25

ЖЕНЫ

Когда казаки похоронили Ирназара и ушли из стойбища, Зейнап и Гильминиса покинули свое убежище в пещере, которой не было конца. Помолившись на могиле Ирназара, обе женщины решили, что надо уходить с пепелища, искать родню.

На одной из ночевок в пути встретил их Султан Темирбулатов. Этот старый человек был поражен красотой Зейнап. «Какие волосы!» — подумал он. Султан пожалел Зейнап, когда узнал от старушки Гильминисы ее историю...

Он пригласил обеих женщин в свою кибитку, угощал их и расспрашивал. Зейнап не пила и не ела, как ни любезен был бай, но в душе ей приятно было, что такой богатый, добрый и почтенный человек выказывает внимание и так ее жалеет.

Старая Гильминиса оказалась женщиной хитрой и изворотливой.

— Молчи, не говори, что было на самом деле. Никогда не говори, себя погубишь. Скажи, что была оспа, отец умер, ты жила с ним в лесу. Он был охотник. Где жила — не знаешь... Совсем молоденькая была, ничего не понимаешь. Притворяйся, что все видишь в первый раз, что впервые вышла из лесу... — так учила Гильминиса молодую девушку перед тем, как войти в кибитку богача.

— Ее отец умер от оспы, а она еще совсем глупая и не понимает ничего. Кроме отца, за всю свою жизнь не видела ни одного мужчины, — рассказывала старуха баю.

— Где же вы жили? — настороженно спрашивал Султан, обращаясь к Зейнап.

Та смотрела ему в глаза наивным и открытым взором.

— В лесу... — тихо ответила Зейнап и вдруг густо покраснела.

«Какая прелесть! — подумал он. — Ничего не знает...»

Чем сильнее она смущалась, тем больше нравилась баю. Ему казалось, что она стыдится и волнуется потому, что рядом с ней сидит незнакомый мужчина. А Зейнап стыдно стало за бабушку, которая так расписывает про оспу, и она склонила голову застенчиво.

— Она дитя, бедное дитя... Умерли все от оспы, — приговаривала старуха.

Если бы бай знал, как это бедное дитя вихрем скакало на полудиких конях, как ссорилось с женихом, как капризничало и заставляло его унижаться, как выбрасывало в окно его подарки, как лихо плясало по-башкирски и по-русски, как стреляло из ружья в цель, не хуже молодых охотников!..

А сейчас Зейнап сидит тоненькая и нежная, стыдливо краснеет, прячет лицо. Баю кажется, что она тает под его взором, и старое сердце бьется чаще; ему представляется, что она несчастна и слаба, ее хочется пожалеть и приласкать.

«Я богат, — думает он, — и волен сделать все, что захочется. Я не обижу ее. Я ее пожалею, и она будет моей, я возьму ее с собой».

Бай увез ее и старуху в Юусово.

Султан на самом деле понравился Зейнап. Он сильный, красивый и мужественный человек. Она чувствует, что он

добр к ней и жалеет ее искренне. И душа ее, лишенная поддержки, потрясенная несчастьем, невольно потянулась к нему.

Она не знала, где Могусюм, и старуха заклинала ее не спрашивать.

А старик становился все ласковее, и когда приходил к Зейнап и приносил ей подарки, его лицо оживлялось сухой, несколько неприятной улыбкой, но глаза сверкали ярко и горячо.

По его просьбе юнусовский мулла нашел в коране подходящий стих: «Если опасаетесь, что с сиротами женского пола не можете поступать по правде, берите в супружество из них, которые вам понравятся: две, три, четыре и не больше, ибо вы не можете исполнить долга своего со столь многими...»

Султан расплылся от счастья, услышав, как все мудро предусмотрено в коране. У него пока было только две жены.

«Какой умница и какой образованный человек мой мулла!» — думал Темирбулатов.

Вскоре Султан женился. Зейнап стала его третьей женой. Ей построили на огромном дворе отдельный домик. Старая Гильминиса жила вместе с ней.

У Султана не было ни евнухов-надсмотрщиков, ни особенных строгостей. Жены его могли встречаться друг с другом и с посторонними людьми, выходили к гостям и на улицу, не закрывая лиц. Все родичи, знакомые и домашние Султана вскоре полюбили Зейнап. Ее ненавидели лишь две старшие жены Темирбулатова и их наперсницы, решив, что она не такая простушка, какой представляется Султану.

— Это только одуревшему старику кажется, что она ничего не знала, была невинной голубкой, — уверяла старшая жена Султана остролицая Гюльнара.

Зейнап чувствовала, что старшие жены враждебны ей. Иногда они пытались выпросить ее о прошлом, выказывали недоверие, старались поймать на лжи. Но старая Гильминиса учила Зейнап распознавать их козни.

Иногда Зейнап становилось скучно и тяжело. Оставаясь одна, она горько плакала, вспоминая отца и Могусюма. Но приходил Султан, ласково заговаривал с ней. Она знала, что женщина обязана подчиняться мужчине. Это было общее правило для всех, никто не сомневался.

Султан гордился своей молодой женой. Когда в гости приезжали русские, он приказывал Зейнап вместе со служанками вносить кушанья, чтобы все видели, на какой молодой красавице он женился. Он не прятал ее в задних комнатах.

Зейнап жила в довольстве, но не забывала прошлого. Но вот однажды старая Гильминиса прибежала в тревоге.

— Ты знала Хурмата? — спросила она Зейнап. — Ну, Черного Хурмата, друга Могусюмки?

— Нет... Я слыхала о нем, но не видела. Где он?

— Он был здесь. Я видела его. Он узнал меня.

— Где Могусюм? — со страстью воскликнула Зейнап.

— Хурмат ничего не знает, — соврала старуха. — Не бойся: Хурмат не выдаст нас. Так ты не знала его? Он жил отдельно от Могусюмки и редко наезжал в Куль-Тамак. Он помогал Могусюмке, а жил далеко. Не бойся: он не выдаст, — повторила она.

Зейнап и не думала об этом. Душа ее затрепетала, все ожило в памяти. Через несколько дней она услышала, что к мужу в скором времени придет знаменитый башлык Могусюмка.

«Так он жив!» — подумала она.

Зейнап боялась встречи с Могусюмом. У нее уже сложилась своя жизнь, в которой неприятно лишь, что надо скрывать былое. Но ведь о том никто не узнает, Гильминиса не скажет никому. Иногда Зейнап сама начинала верить, что отец ее умер от оспы и что она до встречи с баем никогда не сидела рядом с чужим мужчиной.

Вечером того дня, когда она узнала о предстоящем приезде Могусюмки, к ней пришел муж. И вдруг, взглянув на его сухое, желтое лицо с остриженной черной с проседью бородой и с густыми черными, колючими бровями, она почувствовала, что он стал чужд ей, не нужен. В ее душе не стало к нему былой благодарности. В ней поднималась буря, его ласки казались ей сейчас отвратительными. Но она умело скрыла свои чувства и лишь холодно отстранилась.

Бай поразился внезапной перемене, не понимая, что случилось.

— Что с тобой? — спросил старик, сидя в белых шерстяных чулках на ее широком красном ковре, на котором она так часто его ласкала. — Может быть, я тебя чем-нибудь обидел?

Зейнап чуть заметно, но горько усмехнулась. Он был наблюдателен и уловил это новое выражение на ее лице.

На миг проснулась в ней былая бойкая девчонка

— Подумай сам, — сказала она, гордо подняв голову, — кто и чем мог меня обидеть? Пока ты не догадаешься, я не хочу тебя видеть.

И она расплакалась. Султан не на шутку огорчился. Но как он ни допрашивал ее не мог ничего добиться.

Зейнап перестала плакать. Она сказала насмешливо, что он надоел ей.

Султан в толк не брал, что могло стрястись. Он полагал, что тут дело в старших женах. Гюльнара вообще на себя много брала и любила поучать Зейнап. Один раз громко кричала, называя молодую жену Султана лентяйкой за то, что та много лежит и о чем-то думает, а не вышивает, как это делают все жены.

Султан ушел, занялся делами, а потом зашел к своей первой жене и стал упрекать ее. Он грозил, что накажет ее, если она будет обижать Зейнап.

— Ты еще проклянешь себя, — в ярости ответила ему Гюльнара, когда-то красивая женщина с острым восточным лицом и с огненным взглядом черных глаз. — Ты ослеплен! Не слушай никого. Ты плохо ее знаешь... Ты змею взял в дом! Где ты подобрал эту дрянь, кто она, чем и как тебя приворожила? Она все молчит, не жди хорошего! Ты думаешь, что это голубок, это маленький беленький кудрявый барашек?

Султан не мог слушать спокойно таких едких, яростных речей. Это лицо, такое знакомое, на котором привык он много лет видеть выражение страсти, перекопилось от ненависти. Это отвратительно. Он видел, как она стара, зла и противна. Глаза ее горели. Хороши были только ее густые черные волосы. То, что она говорила, резало сердце Султана, как ножом.

Он схватил плеть и с силой полоснул Гюльнару крестнакрест по обоим плечам.

— Бей! Бей! — складывая руки, страстно выкрикнула она.

— Проклятые бабы! — в досаде сказал Султан, выходя во двор. — Несчастный человек, у которого несколько жен! То ли дело бедняку: он рад одной и вечно с ней и умом, и сердцем, и все отдает только ей. А тут каждая рвет и мечет, хочет быть первой и тянет в свою сторону.

Оттого, что Зейнап сегодня рассердилась и отвергла его ласки, она казалась Султану еще прекрасней.

«Ведь она чистый-чистый ребенок, так долго чуждавшийся любви. Она всегда так сторонилась меня, — думал он, стоя посреди своего огромного двора. — Но зачем эти злые старухи лгут и тревожат меня, хотят ее загрязнить, делают какие-то подлые намеки. Как глупо!»

Никогда не замечал он в Зейнап интереса к кому-нибудь, кроме себя. Она как будто полюбила его, и полюбила страстно. Никакие изощренные ласки двух первых жен не шли тут ни в какое сравнение. И никакие козни их не могли подей-

ствовать, сколько бы яда и ненависти ни пускали эти арухи. Так казалось Султану.

Бывало, он ревниво наблюдал за ней. Иногда спрашивал себя, неужели ее никогда не привлекал какой-нибудь парень. Иногда казалось ему, что любовь старика может надоесть, что в ее маленькой хорошенькой головке явится мысль завести тайного молодого друга, кого-нибудь из его родственников или работников. Тогда он приходил в бешенство. Он не беспокоился за прошлое, он опасался будущего и благодарил пророка, что силы его еще не падали, что он не чувствовал себя слабее, хотя все больше седины являлось в когда-то черных как вороново крыло волосах.

Когда собирались гости, он приказывал Зейнап выносить кушанья, а сам с трепетом ожидал, что кто-то понравится ей, что вот-вот кинет она взор на кого-нибудь. Но Зейнап была кротка, скромна, со всеми почтительна, ни на кого не обращала внимания, и только ему посылала при гостях взор, полный выражения любви и благодарности. Ни во дворе, ни на улице, ни у знакомых, ни на праздниках, когда съезжались тысячи людей, она не подавала никакого повода к подозрению, и Султан был спокоен.

Он благодарил пророка, что тот послал ему такую кроткую жену, в которой сочетается и красота, и верность, и ласковость.

Султан надеялся, что проживет долго, что сил его хватит на много десятков лет и что Зейнап будет вечно любить его.

Только эта проклятая узбечка Гюльнара, привезенная когда-то Султаном с Востока, все твердила о том, что Зейнап совсем не такова, как ему кажется...

Султан привозил себе жен издалека. Ему не нравились свои, простые, выросшие в здешних деревнях. Гюльнара была с юга, вторая, Халида, — татарка с Волги, третья, Зейнап, — северная башкирка. Она-то, дочь простого охотника, оказалась прелестней обеих старших, образованных и благородных. Она светла, красива, как дочь древних богатырей.

Как ни верил он Зейнап, все же темные речи первой жены его сильно смущали. Он успокаивал себя, что все это пустые оговоры, бабьи сплетни, ревность и зависть.

Ночью он снова пришел к Зейнап. Она еще не спала, огонь горел. Впервые в жизни Султан обозлился на нее.

«О чем она думала? — размышлял Султан. — Чем занималась?»

— Я наказал Гюльнару плетью, и у нее теперь, наверное, плечи чешутся, — сказал он, свирепо улыбаясь и вешая плеть у двери, чтобы Зейнап хорошо видела ее.

— Зачем ты мне все это говоришь? — спросила Зейнап, делая вид, что не замечает плети.

Ему вдруг стало стыдно своей жестокости. Она смотрела на мужа все тем же чуждым взором. А когда он попробовал приласкать ее, толкнула его в грудь.

— Возьми плеть и побей, как Гюльнару, — вдруг резко сказала она.

«Это они, проклятые старухи, развратили ее, — думал Султан. — Ведь она была наивна, скромна, а теперь стала такая же сварливая, как они. Была дикая горная козочка, барашек».

— Я жду Могусюмку, — сказал Султан. — Вот поглядишь на знаменитого разбойника! Выйдешь и посмотришь, тебе забавно будет! Забавно? Ну, ответь!

— Да... — Она странно блеснула очами.

— Очень забавно! — воскликнул Султан счастливо. — Но что-то он не едет. Неужели этот подлец Рахим наврал мне? Он уверял меня, что Могусюм вот-вот будет. У меня уж и дело нашлось для него. Он будет охранять мои караваны. Уверяю, тебе он понравился бы! Знаменитый разбойник, но у меня шелковый станет!..

— Он не приедет! — сказала Зейнап.

— Приедет, приедет! — уверял ее старый муж. — А этот Рахим не нравится мне. Я сам ему не рад. Чтоб он сгинул, проклятый, так спокойно мы жили с тобой, а теперь исправник мне делает темные намеки, будто я чего-то замышляю. Скорей бы Могусюмка приехал!

У Султана было намерение отделаться от Рахима.

Часто, оставаясь наедине с красавицей женой, Султан сетовал на себя, что впутался в такое дело. Да еще Рахим неосторожен, кажется. Будь он проклят! Уж не мечталось, что будешь вельможей в мусульманском государстве. За эти мечты можно было поплатиться. Лучше не мечтать, а утешаться со своей миленькой женушкой и вступить пайщиком в компанию с самим Зверевым и англичанином. Ведь сын учится в Петербурге, будет образованным...

Глава 26

В НУКАТОВОЙ

Могусюм желал видеть Зейнап. И он желал мести Темирбулатову. Чтобы не возбуждать подозрений, он решил войти в дом Султана с помощью Рахима. Он кинулся на поиск «святого». В Юнусовой побывал он ночью. Не задерживаясь, проехал мимо дома Султана. С потаенной болью

оглядывал он темные строения темирбулатовской усадьбы, казавшейся ему вражеской крепостью, которую приходится брать не силой, а хитростью.

Утром свернули с большой дороги на проселочную. Начались перелески, потом сплошной лес. Могусюм оставил в лесу своих спутников — Мусу и Мурсалимку, а сам поехал дальше с Хурматом.

Нукатово — глухая деревушка. Она в горах, но лес вокруг расчищен с тех пор, как нукатовцы стали сеять хлеба. Редко-редко заглянет сюда кто-нибудь чужой. Уездное начальство вообще здесь никогда не бывает. Управляет нукатовцами старшина из башкир, собирает налоги, отвозит их и объявляет редкие распоряжения начальства.

Люди тут издревле пашут. В каждом доме есть сабан, борона. У всех на задах огороды. В этой деревушке умеют кузнечить, плавить руду, вырабатывать железо.

Могусюм увидел кузницу, въехал в ворота. Во дворе навес на четырех новых бревнах — станок дляковки лошадей.

На широком дворе толпится народ. Посередине сидят старики. Среди них, поджав ноги под себя, чернолицый Рахим. Он в белой чалме, важный, властный.

«Даже не пожелал посмотреть, кто въехал во двор! Строго же Рахим обращается с простым народом!»

Могусюм слез с коня, протолкался среди стоявших и сидевших и, подойдя к Рахиму, не очень вежливо положил ему руку на плечо.

Тот вздрогнул и, не торопясь, с достоинством обернулся. Глаза его выкатились, лицо выразило испуг, но тотчас же явилась улыбка. Он поднялся, поздоровался. Могусюмка тоже поклонился, но без особенных церемоний.

Рахим прервал беседу, повел гостя в дом.

— Так ты приехал?

— Приехал.

Слышно было, как толпа во дворе загудела. Рахим только что рассказывал им о Мекке и Медине и о счастливой жизни в мусульманских странах. Сидевшие на траве старики вставали, разминали кости, беседовали, опираясь на палки, о том, что пришлось услышать. Эта беседа была, как родник святости и чистоты, каждый чувствовал себя чище душой.

Кузнец Кагарман, рослый, горбоносый, сероглазый, с костлявой грудью, пошел в кузницу.

Складно говорил Рахим. Еще тяжелей на душе, как сравнишь свою несчастную жизнь, когда вот-вот выгонят, разорят гнездо, со славной, сытой и свободной жизнью в странах, где, как толковал Рахим, реет знамя с полумесяцем и где, как он осторожно намекнул, неверные покорны. Ко-

нечно, не все поняли! Тут намек! Но чем здешние магомгане лучше неверных? На одного из них особенно зол Кагарман. Богач Султан — злейший враг Кагармана. Он давно уж хочет отнять обширные немереные нукатовские уголья. А этот святой, говорят, жил у Темирбулатова.

— Но кто это еще приехал к нам — молодой и красивый такой? — обратился Кагарман к своему брату-старичку, который вошел следом за ним в кузницу.

* *
*

Рахим обрадовался Могусюмке. Он с неприязнью взглянул на него только потому, что тот явился не вовремя, забрался на кухню, когда ничего еще не готово. В намерения Рахима совсем не входило открывать все раньше времени Могусюмке.

— Я ждал тебя, — говорил Рахим. — Аллах тебя благословит. Ты очень нужен мне.

— Я все обдумал. Я согласен, — сказал Могусюм.

— Да?

— На все!

— Но не отказываешься от дружбы с русскими? — с напускным добродушием спросил Рахим.

— Отказываюсь!

«Вот когда полная победа!» — Рахим даже не ожидал.

— Готов ли ты на коране поклясться?

— Да.

И Могусюмка поклялся на коране. А вечером Рахим разоткровенничался. Толковали о разных делах.

— Чтобы поднять зеленое знамя, нужны средства. В степь скоро пойдет большой караван. Отправляют его богатые купцы. Курбан-бай — главный хозяин.

— Я знаю Курбана.

— Повезут товары и серебро. Султан велел спросить тебя, не следует ли разбить этот караван и взять серебро для государства. Этот караван принадлежит отступнику Курбану, которого ты ведь знаешь.

Могусюмка ничего не ответил. А Рахим опять начал про гарем, что на Востоке есть спрос на здешних девочек.

Опять Могусюмка вспомнил о Зейнап, что она томится, как те дети, которых продают на Восток и на которых нажиться хочет Рахим.

— Ты хочешь, чтобы здешних детей продавали? — спросил он Рахима.

— Да...

— Маленьких?

— Да, да! — подняв голову, с видом знатока и любителя острых приправ ответил Рахим.

Могусюмка мог бы удавить сейчас Рахима собственными руками.

Рахим признался, что хочет поднять в этой деревне бунт.

— Если его подавят, будут за это наказания, слух об этом пройдет всюду, так и надо народу, пусть знает, пусть одумается... Они служат неверным. Пусть все дружбу оставят с неверными, возьмут с тебя пример, поступят, как ты.

«Так вот он каков! — подумал Могусюмка. — Если бы я честно пришел к нему, то был бы обманут. Но я солгал, сказал, что во всем с ним согласен, и он мне открылся. Ну, погоди... Кажется, тут шайка. Они — разбойники, а не мы с Гурьяном».

Рахим сказал, что ему надо узнать все о войсках, где они стоят, сколько их.

Рассказы Рахима обеспокоили Могусюмку. Он решил, что надо не только о своем думать, но и хорошенько узнать, что это за заговор. «Я пойду к ним и разберусь там, как хороший хозяин в своем амбаре. Я перетрясу их всех вместе с муллами...»

Ему хотелось в Юнусово, но он старался не подать виду раньше времени.

— Теперь мне бы надо видеть Темирбулатова, — сказал он утром, когда Рахим после молитвы уплетал сыр с молоком и лепешками. — Я мечтаю подружиться с ним

— Он рад тебе будет. Обязательно с тобой сдружится. И он мечтает об этом.

— Поедем вместе!

— Нет, я еще тут задержусь, у меня есть дела. А ты поезжай, поезжай! Он рад тебе будет! Я дам ему знать сегодня..

Сердце у Могусюмки замерло. Он почувствовал, что Зейнап уже близко.

Рахим желал на некоторое время спровадить Могусюмку, чтобы свободней проповедовать. Он не только не желал посвящать башлыка в тайны своего ремесла, но опасался, что нукатовцы начнут упираться и Могусюмка это увидит. Конечно, Рахим сумеет их припугнуть. Но Могусюмке не все надо видеть и знать

Могусюмка зашел в кузницу. Кузнец Кагарман казался ему похожим на Гурьяныча — такие же цепкие лапы и костлявая грудь.

Могусюм стал помогать кузнецу. Из-под молота полетели искры, окалина. Кагарман крутит, переворачивает кусок железа, а Могусюм работает молотом, как хорошая машина

«Где-то сейчас Гурьян? — думает он. — Скоро ли вернется? Жив ли? Бегим там его ждет. Пусть ждет. Хорошо, что я не взял сюда Бегима».

Могусюм строго наказал Шакирьяну и Бегиму толком рассказать Гурьяну, куда он поехал, передать — пусть ждет.

А кузнец Кагарман еще вчера услышал, что приезжего зовут Могусюм.

Кагарману известно было про знаменитого Могусюма. Он присматривался к гостю. Не тот ли это Магсум? Уж очень ловко он работал молотом, где это научился? И сильный. Кагарман вспомнил, как люди говорили, что Могусюм является всегда, представляясь простым человеком, и помогает. Правда, этот очень молод. Ему нет еще тридцати.

— Откуда ты приехал? — спросил Кагарман.

— Я из Бурзяна.

— А ты давно знаешь этого муллу? Паломничал с ним?

— Нет, я недавно с ним познакомился, когда он в наших местах проходил.

Кагарман подергал ремень над головой — мехи со свистом сжимались и разжимались, струя воздуха ударила под углы, выгоняя из них синие и красные языки. Вокруг полутьма, стены обросли копотью, как в черной бане. Кажется, что и воздух весь в нагаре и железная пыль стоит столбом.

— Он ходит проповедует и на государство собирает, — сказал Могусюмка, опираясь на длинную ручку молота.

Кагарман как будто не слышал этих слов.

— Так ты из Бурзяна?

— Да...

Тут Кагармана, несмотря на жару, прошиб холодный пот. Бурзянец Могусюмка работал у него молотобойцем в кузнице! Кузнец схватил разогретый кусок железа и сунул его на наковальню.

— У Рахима много таких друзей, как ты? — спросил Могусюмка.

— Я его первый раз вижу. Он никогда у нас не был. Он по-башкирски плохо говорит. Он хивинец, по лицу видно. А таких, как ты?

Могусюмка не ответил.

Кагарман сказал, что их деревню хотят согнать, что в этих местах найдены будто бы залежи меди, богачи хотят построить тут завод. Хотят купить землю, чтобы народ работал на руднике. И луга отберут. Темирбулатов в компании с заводчиками.

Казалось, он жаловался Могусюмке, ждал от него ответа, одобрения, не то сам винил его, что тот делает не то, что надо.

— Ты Султана Темирбулатова знаешь? — вдруг быстро спросил Могусюмка.

— Знаю хорошо! — ответил Кагарман.

Вечером Могусюмка и Кагарман сидели у костра с пастухами.

Над костром на березовой палке висел широкий низкий чугунный чайник с литыми узорами вокруг крышки. Сегодня появились в окрестностях волки, и пастухи перегнали нукатовский косяк поближе к жилью. Все пастухи здесь же сидят у костра. Старик Салимгарей скрестил ноги на верблюжьем войлоке, рядом облокотился на окованное деревянное седло брат его Саитгарей, низкорослый, подслеповатый старичок в суконном чекмене и в засаленной тюбетейке на лысине. Двое молодых парней резали дудки. Тут же сидел русский Сорока — старый каторжник, отбывший срок и живший у башкир. Чтобы не видели клейма на лбу, он нахлобучивал шапку до бровей. Присев на корточки, Сорока перетирал красным полотенцем груборезанные деревянные чашки.

— Темирбулатов всегда посредником бывает при покупке земель русскими, — рассказывал пастух Салимгарей. — Он дружит с заводчиками и с купцами, исправник у него останавливается, когда приезжает.

— Чайник вскипел, — перебил брата старичок в тюбетейке.

Он порылся в переметной суме, достал красную железную коробочку. Открыл ее, щелкнув, ко всеобщему восторгу парней, маленьким ключиком, захватил щепоть чая и бросил в кипяток.

Сорока-каторжник расставил чашки и стал разливать чай. Для здешних жителей этот напиток был редкостью. Старичок в тюбетейке желал угостить знаменитого башлыка. Вскоре все взяли чашки в руки и потянули из них густой настой.

— Ну, вкусный чай? — самодовольно улыбаясь, спросил у парней старичок в тюбетейке.

— Хорош чай, очень хорош, очень вкусный, — хором ответили пастухи.

Вблизи костра заржал жеребец.

— Смотрите, ребята, не зверь ли подошел? — приподымаясь и ворочая белками, покосился на пастухов Сорока-каторжник.

Один из пастухов поднял большой лук и ушел. В огонь подкинули хвороста. Костер ярко вспыхнул и осветил на стоптанном лугу длинный ряд лошадиных хвостов.

Так ночевал нукатовский косяк. Жеребцы и здоровые кобылы встали на ночь, тесно прижавшись друг к другу боками. За этой живой изгородью в безопасности ночевали жеребята, молодняк и жеребые кобылы. Горе зверю, если попробует он подойти к такой ночевке. Удары копыт посыплются на него и отобьют охоту лакомиться молодой кониной.

Снова заржал сторожевой жеребец. Тревога пробежала по косяку. Вся груда коней вздрогнула и затопталась на месте.

Зрелище это взволновало Могусюмку. Кони и те встали тесным кругом, чтобы отбиться от зверя, а люди не могут установить порядка и справедливости.

— Еще есть тут звери? — спросил Могусюм.

— Да... Еще много зверей в здешних лесах, — проговорил старичок в тубетейке.

— И леса хороши?

— И леса очень хороши... Но скоро не будет ни леса, ни зверья, ни конских косяков.

Всходила луна. Вдали блестел изгиб реки.

Пришел пастух. Он снял лук с плеча и положил его на землю.

— Ну что там? — спросил Кагарман.

— Все тихо, ничего не слышно, — уклончиво ответил пастух.

С реки повеяло холодом. Могусюмка лег на войлок, накрылся жеребьячьей шубой. Неподалеку укладывались пастухи.

Сорока опять добавил в костер валежника. Могусюмке не спалось.

Ночь была тихая. Башлык встал и пошел мимо спящего табуна к обрыву. Полная янтарная луна светила теперь ярко.

Могусюмка тихо запел:

Урал, Урал, гребни твои под луной
Серебром чистейшим сияют.

Где-то далеко-далеко раздался густой протяжный звук. Могусюмка не мог понять, трубит ли кто-нибудь в рог, или это зверь кричит. Он долго вслушивался. Стояла совершенная тишина.

«Рахим говорил, что люди любят Султана, — подумал Могусюмка, — что на юге хотят все восставать. У каждого бая, мол, свои люди. Вранье! Вот каков Рахим! Не зря я

клятву дал. Аллах простит меня за ложь! Зато я знаю истину, что они мерзавцы: именем аллаха и корана обманывают».

Утром прискакал гонец. Темирбулатов ждал Могусюмку

Глава 27

БЕСЕДА

Султан-бай встретил гостя с почетом.

— Селям алейкум!— сказал он так же восторженно, как обычно говорил Рахим.

На всякий случай, как всегда, меры предосторожности были приняты — Афзал и Гулякбай сидели за занавеской.

Но бай был в отличном настроении.

— Я ждал вас, рад... Много слышал о вас! Вы помогаете нашему народу, избавляете людей от беды. Наш народ живет плохо, совсем плохо. Бедные наши мусульмане!

Могусюмка волновался, глядя в лицо хозяина. Казалось невероятным, что этот седой, сухой старик овладел Зейнап.

Султан заговорил о своих благих делах, что мусульмане вокруг живы лишь его помощью.

— Я вам могу предложить, поступайте ко мне на службу, мне нужен такой отважный человек, как вы. Охранять караваны, ходить далеко в степь. Будете как свой у меня в доме. Узнаете чужие страны... Ваши подвиги будут нужны народу. Вам будет спокойно. Вы отдохнете... Найдем невесту... Ведь вы всю жизнь в скитаниях...

О Рахиме он не поминал, словно того не существовало.

Могусюмка слушал, кивая головой и как бы соглашаясь. Мгновениями ему казалось, что Султан в самом деле славный человек и желает добра ему и людям и что, быть может, произошло недоразумение.

Вдруг дверь отворилась и вошла молодая женщина. В руках у нее медный кумган с кумысом.

Могусюм сразу узнал ее: это была Зейнап. Он никак не ждал, что она так сразу войдет в ту комнату, где он сидит. «Но, может быть, не она?» — подумал он, не смея верить еще глазам своим. «Одета по-другому, стала чуть полней. Но нет, это все же она, ее лицо».

И вдруг он заметил, что ее маленькие еще детские руки, опускавшие кумган на скатерть, задрожали так сильно, что посуда вот-вот могла выпасть. Он быстро перевел взгляд на Султана; тот не заметил тревоги гостя. Старика заботило иное: впервые уловил он, что его кроткая юная жена смотре-

ла любопытным и тревожным взором на чужого мужчину. «Напрасно я расхвалил ей Могусюмку. Она уж растаяла!» Бай взглянул на нее свирепо. Зейнап поставила кумган и вышла. У Султана отлегло от сердца; он подумал, что, кажется, напрасно горячится и ревнует. Но вдруг Зейнап снова появилась в дверях и уже совершенно неприлично смотрела на Могусюма.

Темирбулатов кинул на нее яростный взгляд, как бы изгоняя прочь, но она подходила к гостю, твердо и прямо глядя в его глаза и не обращая внимания на мужа. В руках у нее было что-то. Она наклонилась, поставила и вдруг, опустив голову, как бы заплакавши, быстро вышла. Султан проводил ее подозрительным взглядом. «Неужели ей в самом деле понравился этот бродяга?»

Могусюм взглянул на Темирбулатова. «Злодей-старик держит ее в своих лапах, ласкает ее, — подумал башлык. — Ни одной ночи больше!»

Могусюм был стойкий и терпеливый человек, он мог выдержать пытку, избиение, но тут вскочил, ни слова не говоря, выхватил кинжал и кинулся на Темирбулатова.

— На хозяина? — закричал Афзал, выскакивая из-за занавески.

Как верная собака, Афзал давно уже заметил, что с Могусюмкой происходит неладное, что рука его все время пляшет по рукоятке кинжала. Афзал все время не спускал с Могусюма глаз и, едва тот выхватил кинжал, прыгнул на него, как зверь. Но уж Могусюмка кинулся и ударил бая, но неловко. Афзал вцепился в него. Выскочил Гулякбай.

Не ждал Могусюмка, что их тут целая ватага. Ведь он ехал не убивать, а приглядеться. Он приехал один, как просил бай. Он не выдержал пытки. Ведь это мука видеть того, кто обладает твоей любимой. Тут выход один — бить, убить насмерть!

Афзал сильный человек, и руки его, как железные клещи. Но башлык, уловив миг, ударил татарина спиной об стену. Афзал лег без памяти. Тут Могусюма схватили Гильман и Гулякбай. Султан вцепился ему в горло.

— Что? — кричал Султан, чтобы все слышали. — Ах, вот что ты хочешь? И красть и грабить сюда приехал?.. Злодей! Ты будешь проклят! Ты предатель! Подослан!

Из-за перегородки притащили клубок вожжей и веревок. Афзал пришел в себя, вскочил и крепко связал Могусюмку. Султан осматривал разрезанную одежду и царапины на груди от кинжала.

— Лежи смирно, проклятый! — говорил он.

Афзал затягивал ремнями руки пленника.

Сейчас, когда Могусюмку схватили, он почувствовал, что все равно вырвется, рано или поздно, тем страшней и мучительней будет смерть проклятого старика. Нет силы в целом свете, которая бы заставила Могусюмку забыть позор невесты и свой... Ничего не спасет Султана. Не может быть, чтобы Зейнап не была отомщена... «Я умру, но прежде прикончу тебя, собака!..»

Боль, которую испытывал Могусюмка от душивших его веревок и от побоев, которые сыпались на него, лишь отвлекали от другой, в тысячу раз сильнейшей боли. «Прикончу не просто... Страшись теперь!.. Узнаешь, какова месть Могусюмки!..»

— За что хотел убить хозяина, разбойник?

Татарин со страшной силой ударил Могусюмку палкой по голове.

— Тащи его в амбар! — велел Султан.

Связанного и потерявшего сознание Могусюмку схватили за ноги и быстро, бегом, выволокли. Во дворе послышались крики. Там сбежались женщины, прислуга, работники, и видно, каждый норовил ударить башлыка.

— Ах, ты вот какой! Я помогу мусульманам, избавлю их от вора, — бормотал Султан. — Уж судьба такова. Сам аллах решил... Ах, вот что затеял! Подлец, лазутчик! Кем подослан?

Темирбулатов решил пойти на риск. В тот же день послал Гильмана на розыски Ивана Ивановича. Тот опять был в соседней волости. Кажется, он следил за волнениями, которые начинались в деревнях из-за новой продажи земли. Султан сильно боялся, что исправник что-то подозревает. Сейчас можно было навсегда обелить себя. Нет худа без добра!

Зейнап все видела. Во дворе было много разговоров, и каждый старался угадать, почему кинулся Могусюмка с кинжалом на Султана, но никто ничего не мог понять. Одна Зейнап все понимала. Но она стояла, не шелохнувшись, не вскрикнув. Красивая, злая, бессердечная. Такой она показалась каждому, кто хоть немного пожалел избиваемого Могусюмку. Многие из бедных башкир, работавших на Султана, хоть и толпились и кричали, что надо бить башлыка, но в душе жалели его. Страшна была им в своем безразличии к Могусюму молодая жена Темирбулатова.

Вскоре бай пришел к ней.

— Тебя чуть не убили! — сказала она с притворным радушием.

— Да...

— Как я жалею тебя!.. — Она склонила свою голову к нему на плечо.

Султан просял: «Она действительно любит! Вот когда познается настоящая любовь! В таком несчастье она со мной!»

— Покажи кинжал, которым он тебя ранил. Этот кинжал у тебя?

— Да! — радуясь и млея, отвечал старик. Он сейчас отчетливо понимал, как верно поступил, послав за исправником.

Он побежал, принес кинжал.

— Я сам схватил его за руку. Я его замучаю, этого Могусюмку, — сжимая кулаки, свирепо прошипел Султан.

И вдруг он увидел, что жена смотрит на него, чуть прищурившись, холодно и враждебно. Он несколько испугался, а она, заметив это, тотчас же опять стала улыбаться.

Вечером к крыльцу подкатил тарантас. Раздались крики, и, расталкивая любопытных, к дому двинулся Тимофеич. За ним шел исправник.

— Эй, посторонись, дай дорогу! — закричал полицейский.

— Что у тебя, братец? — спросил исправник, встречая Темирбулатова. — Тебя убить хотели? Могусюмка пойман?

Темирбулатов с гордостью рассказал о поимке башлыка.

— Кой его черт занес к тебе? — прищуриль глаза, спросил Иван Иванович.

— Я его заманил. Привлек, знал его склонности... Раскром все нити, многоуважаемый Иван Иванович. Он ударил меня кинжалом. Скажу вам, что он замыслил поднять восстание и склонял меня.

— А ну, представь мне его сейчас! Я сам с ним поговорю.

Ввели Могусюмку со связанными за спиной руками. Тимофеич поставил его на колени.

— Кто таков? Откуда? — рявкнул на него Иван Иванович.

Могусюмка молчал.

— Ты Могусюм? Вот про тебя говорят, что Могусюм, как, верно это или нет?

Могусюмка делал вид, что не понимает.

— Может, ты кого другого поймал? Или у него язык вырван, как у того башкирина в «Капитанской дочке»? — спросил исправник у Султана.

— Нет, есть язык! — сказал бай. — Это Могусюм настоящий!

— Могусюм, Могусюм! — подтвердили Гильман и Гулякбай, со страхом и злобой глядя на связанного.

— Ты что же задумал? Забыл, как вашему брату рвали ноздри и клейма ставили? Сколько вас сослали в старину? Ты что же это, баранья башка, разбойничаешь? Бунтовать вздумал против порядка? Ты, говорят; тут народ смущаешь. Это ты, подлец, мутишь башкиры? Хочешь, чтобы башкиры с ума посходили? Уж кое-где есть такие подлецы, кричат, что их притесняют, землю у них берут. Это твои дела? Да я тебя, сукиного сына, в порошок изотру! За коим лешим тебя принесло в степь? Ты же жил в горах? Ну, отвечай, или язык отнялся? Бунтовать народ явился? Ты что молчишь? Ты знаешь, кто я таков? Да он, братец, — обратился Иван Иванович к Султану, одурел, или он в самом деле по-русски не понимает?

— Он всяко понимает, Иван Иванович только хитрый карак*, запирается...

За что ты ударил хозяина? Какие у тебя с ним счета? Смотри, брат, я во всем разберусь, и лучше развязывай язык вовремя... А ну, бери его, — обратился Иван Иванович к уряднику.

Афзал подсобил поднять Могусюмку на ноги.

— Так не будешь говорить? А ну, дай ему по роже...

Тимофеич ударил башлыка по лицу. Гильман и Гулякбай с восхищением переглянулись видя такое обхождение начальства. Могусюм не проронил ни слова.

— Ладно, — прикрикнул Иван Иванович, видя, что башлык упорствует, — мы тебя бить не будем больше!.. Тимофеич, бери бумагу там, в кузове тарантаса, да будем составлять протокол. Так это он, по-твоему, замыслил поднять восстание на Урале? — обратился исправник к Темирбулатову.

— Я государя-батюшку люблю, — сказал Султан, — и разбойника вязал. Я все скажу, как сам понимаю.

Когда Султан вышел, Иван Иванович посоветовал Тимофеичу, знавшему башкирский язык, потолковать с Могусюмом по-свойски.

* * *

..Веревки давили грудь, резали руки, ноги. Весь день слышал, как возле амбара ходили люди, ругались по-башкирски и по-русски Могусюм ночью слышал, как возился Афзал за дверью, как он высекал огонь и закуривал. Афзал — собака Султана, сел караулить. Вдруг в ночной

* Карак — вор, разбойник (башкирск.)

тишине щелкнул замок. Могусюм насторожился. Тихо открылась дверь. Женщина в платке скользнула во мрак.

— Могусюм! — позвала она.

Он вздрогнул, забился. Зейнап подошла, дотронулась до его плеча, нащупала веревки и разрешила их. Могусюм освободился, вырвал тряпку изо рта.

— Ты? — спросил он горячо, и она увидела во тьме амбара его блеснувшие глаза.

— Я, Могусюм... Вот твой кинжал и пояс... — сказала она. — Возьми их... Скорей беги! Сейчас все спят.

— А караульный?

— Он мертв.

— Ты?.. Это ты?..

Зейнап молчала. Подкравшись из-за угла, изо всей силы она ударила Афзала кинжалом в спину. Удар был верен. Афзал тихо склонился набок, а затем свалился в траву.

— Зейнап, я тебя давно ищу, никто не мог сказать мне, куда ты исчезла. Какое горе, жена богача!..

Казалось, им овладел припадок ревности.

— Торопись, Могусюм...

— Бежим вместе!

— Беги, твой конь здесь, я вывела его. Стоит кому-нибудь войти, и все погибло. Я остаюсь тут... Я жена Султана... Грех... Я не могу... Закона не переступлю... Никогда не уйду...

— Идем... Идем!..

— Я жена Султана и не пойду... Закон запрещает... Я буду проклята... Беги скорей! Сейчас выйдет кто-нибудь.

Ночь была черная, кое-где на небе светились звезды. Глаза Могусюма, привыкшие в амбаре к темноте, разобрали крыши домов. У сарая темнел силуэт настороженного, поднявшего голову коня.

— А ты здесь останешься? А-а!.. — в ужасе воскликнул Могусюм, хватая ее за руки и прижимая их к своей груди.

И вдруг она вырвалась и исчезла. На миг Могусюмка задумался. Конь стоял перед ним. Он не был трусом, но понимал, что один ничего не сделает. Нужны товарищи. А Зейнап исчезла. Ее нет. Где она?

Вдруг конь заржал и нетерпеливо ударил копытом, а где-то в стороне в темноте кто-то, видимо, спросонья стал лениво приотворять скрипящую дверь, кто-то кашлянул... Могусюм шагнул вперед, тронул ладонью шерсть на шее своего жеребца. Он быстро вскочил на него, тронул коня ногами, натянул поводья, разогнал его по двору, перескочил бревенчатый заплот и помчался вскачь по спящей улице.

Утром все обнаружилось. Темирбулатов был в бешенстве.
— Кто убил?! — дико кричал он, стоя посреди двора.—
Чем? Кто?!

— Это она, она! — вопила Гюльнара, показывая на Зейнап. — Я видела, она выходила ночью, но не знала зачем...

Темирбулатов пришел к молодой жене. Она не сумела солгать...

— Я! — дико вскрикнула Зейнап, подымая руки в отчаянии.

— Ты?

— Да, убей меня!.. Убей свою жену! Я твоя жена, но я его освободила...

— Ах, это ты!.. — тихо сказал Султан и улыбнулся.

У него был такой вид, словно он обрадовался, что, наконец, открыл долго мучившую его тайну.

Гюльнара кричала на весь двор, что Зейнап подлая: обманула мужа с разбойником.

— Из одного гнезда с ним!

Султан снял кушак, связал Зейнап руки и волоком утащил в тот амбар, из которого убежал Могусюмка.

Обе старшие жены Султана хохотали.

— Вот так любимая жена!.. — кричали они.

— Я все узнаю! — бормотал потрясенный Султан.

Он запер амбар, разогнал толпу любопытных и отругал старших жен. Потом пошел к Ивану Ивановичу, который еще спал и ничего не ведал о страшном происшествии. Исправник на этот раз вспылил.

— Как это бежал? Ты что, Султан, дурака из меня строишь?

«Это все вранье, — решил он. — Быть не может, чтобы женщина освободила Могусюма у такого волка, как Султан! Это все подстроено. Как будто поймал, обелил себя...»

— Да ты врешь, мерзавец! — вдруг закричал он. — Ты сам помог бежать ему! А где Рахим?

— Рахим в степи, Иван Иванович, не у меня.

— Э-э, брат! Молодец ты, Султан Мухамедьяныч... Но все же крутишь... Так вот, голубчик, поедешь со мной в город! Тимофеич, арестовать его!

Султан стал уверять, что найдет Рахима. Но еще ночью з Нукатово поскакал Гильман с известием, что дело рухнуло, что надо исчезать.

НАБЕГ

Рахим, испуганный и бледный, отступал к дому. На него наседали рослый Ахмет, одутловатый башкирин с черными усами, бывший солдат.

— А ты зачем такой разговор ведешь? Зачем, я тебя спрашиваю? — кричал Ахмет. — Когда ты хорошее говорил, мы тебя слушали. А теперь ты что хочешь? Какое имеешь право государственную измену замышлять? Спрашиваю тебя, отвечай! Какое имеешь право? Молчишь... Лучше уйди отсюда, из нашей деревни, а то в волостное тебя потащим!

Ахмет воевал с французом, был ранен, награжден под Севастополем медалью.

— Моих товарищей убили, их муллы благословляли на смерть! Зачем старое поминать? Старое совсем другое дело. Ты на старое не указывай. Хивы и Турции тогда не касалось. Тогда свое дело было. А ты государственную измену замышляешь. Зачем ты государственную измену хочешь делать? Зачем народ подбиваешь? И так плохо жить нам. А? Кто тебя послал? Отвечай! — в бешенстве схватил солдат Рахима. — Тебя за государственную измену могу в волостное. Зачем так учишь?

— Ты Мухамеду веришь? — грозно выкатил глаза Рахим.

Как только Рахим стал поминать пророка и коран, все стихли.

— Верю! Молитвы знаю! Татарские песни пою! В бога верю!

— Так сознай свой грех! На страшном суде уже поздно будет! Тот, кто раскаивается лишь перед смертью, не будет прощен!

— Какой грех? Про русских в коране не сказано ни слова! Тогда на Севастополь мулла приехал, благословил нас! Как же нас тогда мулла на войну за царя и отечество благословил против француза и турка? Что мулла, обманщик, что ли, у нас был? Или ты обманщик?..

— Аллах указал...

Солдат не сдавался.

— Аллах не велел! Врешь! Теперь на Хиву поход будет! Башкиры на Хиву пойдут, целый полк... При Перовском башкиры первые шли на Хиву! Ты марш Перовского — песню нашу — знаешь? Весь народ поет. Хватай его!.. — вдруг закричал солдат. — И представим...

В голове солдата, видавшего смерть в бою за отчизну, не укладывалось, как можно по-разному толковать коран.

— Худо будет! — громко и отчаянно вскричал Рахим, с силой вырвать руки.

— Вяжи его! В волостное! — закричал старик в белой войлочной шляпе.

Кагарман выступил из толпы.

— Я долго молчал, — сказал он. — Но зачем требуешь бунта? Султану наших детей не жалко! Ему землю нашу надо продать.

— Они тут проделки затевают! — закричал солдат.

Народ двинулся на Рахима.

— В коране сказано: «Не заметил ли тех, которым было глаголено: воздержите руки ваши от войны, будьте постоянны в молитвах и раздавайте законные милостыни?» — грозно заговорил Рахим. Толпа опять стихла.

— «Когда им повелено изыти на войну, смотри! — Рахим показал прямо на солдата. — Они убоялись людей, как должно было убояться бога; Господи! Почто повелел нам идти на брань и не попустил дожидаться конца нашего, уже приближающегося, скажи им: запас сей жизни мал; но запас для будущей жизни полезней будет для боящегося бога; и с вами в день судный сотворится точно, как повелевает правда».

Как только поминались священные истины, все цепенели. В это время во двор въехала целая группа всадников в чалмах. Муфтий из Уфы, из духовного управления мусульман, держал путь в Оренбург, пробираясь тропами, желая побыть в самых глухих деревушках. Услышав, что происходит во дворе у кузнеца, он поспешил сюда. До муфтия в Уфу уже дошли вести о том, что за Уралом появился странник, выдающий себя за посланца из Мекки и ведущий вредную проповедь. Об этом писал маленький мулла из горной деревни. Муфтий понял, что нечаянно встретил самого проповедника.

Глава мусульман России — могучий, плечистый старик. У него большое лицо, выдающиеся скулы, широкие челюсти и высохшие, запавшие щеки. Огромные глаза навывкате, косой лоб, чалма на голове. Это человек образованный, он знает арабскую литературу и по-русски прекрасно читает. Когда-то учился он в Казанском университете, получил европейское образование, выписывает русские и немецкие газеты. В должности муфтия утвержден ныне царствующим императором Александром Вторым.

— Ложь! — громко и твердо сказал муфтий.

Рахим пытался затеять спор. Старик муфтий рассердился и велел схватить его. Рахима обезоружили, посадили на телегу и в тот же день увезли в волость, в соседнее село.

А муфтий сказал, что этот человек лжец, неверно толкует коран, он лазутчик. Муфтий обещал просить в Оренбурге, чтобы общину не трогали, не сгоняли с земли.

Муфтий за свою жизнь много передумал о судьбе мусульманства в России. Сам он верил в бога, полагал, что бог един, но что различные веры сложились в результате различных исторических условий и что вражда между ними — дело прошлого, и это в будущем все поймут. Он бывал в Мекке, в Константинополе, знал, какая нищета в арабских странах, что там масса разбойников, опасно ходить паломникам в святые места, часто их грабят. Он отчетливо понимал, что именем мусульманской религии пытаются втянуть целые народы во вражду с Россией, заставить магометан воевать как будто за веру, а на самом деле совсем за иное. Муфтий не желал несчастий башкирам.

* *
*

День клонился к вечеру, но жара не спадала. Степь, опаленная засухой, желтела на холмах и по склонам гор.

Меж скалистых холмов, на которых не видно было ни единого куста, ни деревца, тропа проскользнула на берег просторного озера.

Могусюмка с товарищами шел в набег. После жаркого, истомляющего дня вид воды, голубевшей меж голых кряжей, манил к себе. Здесь, вдали от большой дороги, всадники остановились на привал.

Легкий ветер колебал поверхность озера. Волны набегали на пологие берега. На середине озера виднелся маленький скалистый островок. На его белых камнях выросло несколько очень высоких голенастых берез с обильной зеленью в вершинах. В жаркий день они походили на те пальмы, которые ткнут на восточных коврах. Но пальмы далеко-далеко... А тут камень, сосны, березы.

Башкиры, поджав ноги, расселись на берегу и молча наблюдали бег волн.

Ждали, когда стемнеет. Поговорили о событиях. Уже знали о поимке Рахима. Тот по дороге сбежал. Видно, Султан подослал своих людей. Сопровождавшему Рахима уфимскому мулле из свиты Муфтия в схватке разрубили топором плечо.

Ночь наступила быстро. Все еще стояла жара. Выехали на большую дорогу и поскакали друг за другом в сплошном облаке пыли.

Налет на Юнусово произошел в полночь. Переправившись через реку, Могусюмка с четырьмя джигитами прим-

чался в село. Осадили коней напротив мечети у высоких ворот дома Султана Темирбулатова.

Хурмат перескочил с седла на ограду и открыл запоры. Во дворе ночевали караванные погонщики с верблюдами и лошадьми. Они готовились к отправке грузов на постройку нового медеплавильного завода.

Могусюмка выстрелил из ружья и крикнул, чтобы все ложились.

— Разбойник, разбойник! — завопили караванные работники.

Снова раздался выстрел.

— Ложись! — грозно прокричал Хурмат, и все, кто был во дворе, повалились на траву.

Ревели верблюды, и ржали лошади. Хибет и Могусюм ломились в дом.

Гюльнара не пускала их.

— Ты не войдешь сюда, разбойник, ты не посмеешь грабить!.. Тебя накажет аллах...

Сильным ударом Могусюм вырвал дверь.

Зажгли огонь. Султана нигде не было. Схватили Гильмана и Гулякбая и потащили их во двор. Они клялись, что еще вчера русские увезли Султан-бая в город. Могусюм желал мести, но он не хотел тратить зря свою злобу и не стал избивать родичей Султана: не они отобрали его невесту

Могусюм открыл ту самую дверь, через которую его выпустила Зейнап.

Зейнап!.. — кинулся Могусюмка.

Ее освободили от веревок и бережно отнесли в домик. Ей принесли платье, шаль, сапоги, красный суконный кафтан и серебряные украшения.

— Где Султан? Он бежал? — спрашивал Могусюмка.

— Нет... — слабо отвечала она.

— Идем со мной... Идем домой, на волю, в леса...

— Исправник увез мужа в город...

— Он не муж тебе.

— Меня проклянут... Могусюм, я погибла! Султана русские самого схватили. Что мне делать? Я боюсь закона... А муж меня загубит...

— Идем в леса, там у нас будет свой закон. Прочь закон лжи!

Могусюм спросил Гильмана и Гулякбая, что случилось, почему их хозяин у властей в немилости.

— Исправник винит во всем Султан-бая, что ты бежал, — рассказывал Гулякбай. — Сказал, что больше ему не верит. Увез с собой в Оренбург.

«Пусть бы его в тюрьме сгноили!» — подумал башлык. Он втолкнул обоих родичей бая в погреб.

Джигиты забрали ружья, пять фунтов рассыпного и самородного золота, целый мешок серебряных монет: видимо, собранных Рахимом. Мешок этот стоял в спальне бая. Забрали халаты, кафтаны, шубы.

Захватив всех лошадей, джигиты двинулись в обратный путь.

На небе ярко горела Большая Медведица. Рядом с Могусюмом на верховом аргамаке скакала красавица Зейнап.

С востока дул жаркий ветер.

* *
*

Дом оренбургского генерал-губернатора с огромным садом выходил на главную улицу. Стояла жара. Откуда-то с юго-востока из пустынь дул горячий ветер.

В приемной у губернатора множество живых цветов, пальмы, картины, в кабинете четыре огромных полукруглых окна, портреты, массивный стол.

Сам губернатор — невысокий, очень полный, с багровым лицом. Узнав о событиях, происшедших в Юнусово, он решил показать, что не придает им большого значения. Были события поважней.

В Оренбурге шла большая подготовка к походу на Хиву. Съехалось множество интендантов. Подходили войска. Прибыли офицеры генерального штаба. Ждали, что, быть может, приедет известный художник Верещагин, который был в Бухарском походе. Должны были явиться несколько газетных корреспондентов.

Генерал-губернатор обсуждал дело о пойманных шпионах со своими ближайшими людьми. Гражданский губернатор, худой, седеющий человек, с поблекшими от старости голубыми глазами, с прямым носом и худыми, жесткими руками, надушенный и модный, стоял за строгие меры.

— Что вы, господа, волнения желаете вызвать? — возразил ему генерал-губернатор.

— Исправник, мне кажется, совершенно прав. Нужна осторожность...

— Да он сам взятки брал у этого Султана!

— Об этом я еще буду говорить с ним.

Губернатор подумал о том, что пятнадцать лет тому назад при императоре Николае, когда здесь был генерал-губернатором Василий Алексеевич Перовский, за такой случай ухватились бы обеими руками. Немедленно пошла бы кара-

тельная экспедиция, в ход пустили шпицрутены. Этих мулл и кулаков, у которых скрывались шпионы, рекомендовавшие себя проповедниками, забили бы в колоду. Теперь другой подход. Зачем бессмысленно озлоблять? Башкирские крестьяне неповинны в том, что шпион так далеко забрался. Другое дело Темирбулатов.

Губернатор потребовал исправника, который в этот день только что вернулся в Оренбург и привез с собой Султана.

Иван Иванович, волнуясь, вошел в кабинет. Еще по дороге в степи много думал он о происшедших событиях. Стояла жара, он часто пил коньяк, но это не мешало ему смотреть на дело трезво.

— Я осмелюсь сказать, ваше высокопревосходительство, что дело здесь довольно серьезное, и на этот раз необходимо проект Зверева и Хэнтера провалить. А Султана Темирбулатова, несмотря на то, что он моим приятелем считается и я всегда был с ним в своих отношениях, простите за выражение, надо взять в оборот.

Иван Иванович сказал, что давно подозревал Султана и следил за ним и за всей той волостью, бывал там часто.

Губернатор выслушал исправника внимательно и согласился.

— Ни в коем случае деревню не сгонять, — сказал он. — Не допускайте брожения. Мы не можем всегда плясать под дудку заводчиков.

— Мне кажется, Зверев — авантюрист, подставное лицо, а фактический хозяин Хэнтер, — сказал генерал гражданскому губернатору, когда исправник ушел.

Он вызвал адъютанта.

— Темирбулатова ко мне!

Султан был уже допрошен прокурором и жандармским полковником. Султан и генерал-губернатору ответил то же. Он твердо стоял на своем, что бежать разбойнику помогла жена.

Во время этого разговора на улице послышалась солдатская песня.

Губернатор молча прошелся по кабинету, подошел к одному из окон и распахнул сначала одну, потом другую раму.

Э-эх, зачем я тебя провожала,
Жар безумный в груди затая!—

хлынуло в комнату.

Под окнами двигался сплошной поток блестящих штыков. В длинных белых рубахах, перепоясанных широкими ремнями, и в белых фуражках с большими козырьками от

солнца шагали устало, но браво усатые солдаты. Они возвращались с ученья, из степи. Их приучали ходить в зной, чтобы на будущий год отправить на Арал и дальше через море в пустыню, в поход на Хиву. Эти белые рубахи и белые фуражки должны спасти их от смертельной жары.

Вы не вейтесь, русые кудри,
Над моею больной головой...—

гремело внизу.

Рота за ротой ползла, как огромные стальные щетки с косой щетиной. Вся улица превратилась в сплошную белую реку. Губернатор взял Темирбулатова за плечо и подвел к окну. Тот невольно зажмурился.

Меж отрядов пехоты иногда проезжал на коне старший офицер, младшие офицеры шагали пешком.

Пи-ишет, пи-ишет
Царь турецкий,
Пи-ишет ру-у-усскому царю,—

подходила под окна новая песня, и с ней новый широкий и дружный строй белых рубах.

Эх, всю Рас-с-с-ею завою-ю-ю,
Сам в Рассею жить пойду!

Когда смолкала вдруг песня, слышно было, как под окнами по песку тысячи сапог глухо, но устрашающе грозно держали дружный шаг. И в этом ритмичном звуке, который подобен был ходу часов, силы и согласия было больше, чем в громкой песне.

Двое молодых высоких офицеров в белом шли рядом, впереди белого прямоугольника, кажется, наслаждаясь, что шагают в ногу с этакой громадиной.

Солдатушки, бравы ребяташки,—

запевал в рядах тенорок.

А где ва-а-аши же-ены?
Наши же-е-ены — ружья заряже-ены, —

хором подхватывала вся улица.

Вот где на-а-аши же-е-ны!

— Ты чувствуешь, чем это пахнет, Султан Мухамедьяныч? — спросил губернатор.

Потом прикрыл окно и невесело вздохнул, как бы неохотно возвращаясь к допросу, не сулившему ничего хорошего Султану.

— Что же ты хочешь, чтобы я отдал приказ посадить тебя в тюрьму? — Губернатор знал Султана прежде, жал ему когда-то руку, благодарил за помощь, оказанную голодающим. — Ты не до конца откровенен, и поэтому разговор будет прост. Я тебе не верю! Печняй на себя. Именем императора, последний раз...

— Жена, ваше высокопревосходительство! — низко кланяясь, твердил Султан.

Губернатор приказал позвать есаула Медведева.

— Вот, Темирбулатов пойдет с вами проводником на ловлю Могусюмки, — сказал он, показывая на Султана. — Я тебя, подлец!.. — вдруг крикнул генерал. — Ты что думаешь, самый богатый человек в губернии, так мы будем с тобой церемониться? Ты же шпиона приютил. Его башкиры схватили, возмущенные его словами. Ты не надейся, что он сбежал. Мы поймали его снова, на этот раз он сознался, что ты помог ему бежать. Нет, голубчик, я тебя так просто из своих рук не выпущу!.. Ты забудь, как шутки шутить со мной! Надвое, подлец, играешь! Знай: это у меня уж не первый случай! — сказал губернатор.

В этом году выловили несколько лазутчиков в оренбургской степи. Они пытались поднять восстание киргизов*.

Губернатор и генералы были извещены из Петербурга о происках Хивы, о позиции афганского шаха и о кознях англичан. У губернатора свои лазутчики в Хиве. Он знал через них, например, что туркмены ненавидят хивинского хана.

Русские готовились к походу на Хиву с трех сторон. С берегов Каспийского моря, где в составе отряда — терские казаки, апшеронцы и дагестанские мусульманские сотни, а проводниками — туркмены.

Из Оренбурга должна пойти пехота, а также уральские казаки и башкирская конница.

А с востока, как знал губернатор, в новый поход подымались участники недавнего марша на Бухару.

В тот же день пришло известие, что в деревне Юнсовой на дом Султана Темирбулатова совершен был налет и жена его бежала с разбойником Могусюмкой.

Губернатор озаботился искренне, тем более, что новость была не из приятных. «Возможно, что в самом деле она пошла бежать Могусюмке... Тогда, может быть, Султан неви-

* Так называли тогда казахов

новен?» — подумал он, узнав об этом вечером за ломберным столом, и сказал любезно:

— В таком случае жаль ее. Исправник говорит, что она молода и очень мила.

— Да, говорят, прехорошенькая, — подтвердил гражданский губернатор. — И убила своей рукой... Безумие, конечно! Преступная страсть!..

— Какой скандал в нашем магометанском обществе! Значит, был мезальянс... Темирбулатов, старый дурак, высоко оценил себя...

— Да, ваше высокопревосходительство...

Помянули, что на днях приезжает из Петербурга на службу старший сын Темирбулатова, выпущенный из корпуса офицером.

— Надо сознаться, что в магометанстве многое нравится мне, — шутливо говорил губернатор.

Все заулыбались почтительно.

— Позвольте королем... Отлично понимаю магометанство! Серьезно, господа! Но вот явился ко мне, тоже из Петербурга, получивший там образование башкирин Ахметзянов и толкует о желательности открытия светской школы для башкир.

— Что значит — светские школы у башкир? — спросил стриженный ежом, с острыми огромными усами поляк-генерал, недавно приехавший в Оренбург.

— У них все школы при мечетях и учителя — муллы. Грамоты своей нет. Учатся писать по-арабски, по-татарски, по-турецки, — стал объяснять гражданский губернатор. — Так предполагают, чтобы коран преподавали муллы, а остальные предметы — учителя недуховные. Но тогда пришлось бы башкирам свою письменность изобретать. Пока они желают открытия новых русских школ для своих детей. А знаете ли, разбойник Могусюмка, говорят, не хочет писать по-арабски, так пишет башкирские слова русскими буквами. Ахметзянов тоже что-то в этом духе проповедует.

— Вон чего захотели! — шутливо молвил генерал-губернатор. — Нет уж, пусть молятся аллаху и в наше общество не лезут! Своих разночинцев достаточно!

Появился лакей с мороженым на подносе.

— Жаль, жаль эту молодую башкирскую даму!.. — продолжал генерал-губернатор, тасуя колоду пухлыми руками. — На что он теперь может рассчитывать? Ведь скоро мы поймаем и пов им любовника. Впрочем, хоть миг, да мой!..

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ЗИМНЯЯ БУРЯ

Глава 29

ЛЕСНОЙ КУРЕНЬ

По лесной дороге к куреню, где в ямах топили древесный уголь, заваливая его землей и дерном, вышли двое мужиков. Один, высокий и плечистый, с темно-русой бородой, был постарше, другой, веснушчатый и рыжий, — помоложе.

Из-за поленницы дров появилась женщина в мужских брюках, лоснившихся от сажи, и в такой блестящей от грязи рубахе, что казалось, она сшита была из листового железа. Лицо ее перемазано сажой. На плече — лом. Она приостановилась и стала вглядываться в обоих путников, отходивших от черной стены елок по вырубленной поляне, на которой видны были торчавшие из-под земли две слабо крившиеся деревянные трубы.

«Никак, бродяги», — подумала она.

На курене оставалось совсем мало людей. Лес для выжигания заготовлен, громадные поленницы стоят, как полуразрушенные крепостные деревянные стены. Лесорубы ушли, до самой зимы у них не будет работы, выйдут снова, когда установится санный путь. Дедушка Филат, да сама куренная хозяйка Варвара, вдова старого углежога, знавшая выжигание не хуже покойника, да девчонка ее Танюшка составляли все население куреня. Они сами укладывали в ямы огромные поленья, заваливали их землей, томили, потом разгребали кучи и студили уголь, потом вытаскивали, складывали его.

Варвара бродяг не особенно боялась. Бывало, что на курень забредали разные люди. Приходилось приютить, дать ночлег, угостить, чем богаты. Все же всякое появление незнакомых людей всегда сильно тревожило «куренную мать», как прозвали рабочие тетку Варвару.

Житель тайги всегда безошибочно узнает бродягу. По походке и по тому, как человек смотрит вокруг, ведь сразу

заметно, кто таков пришел и что хочет. А тут оба брели не торопясь, видно, что у них нет никакого дела, хотя оба молодые и, кажется, здоровы, особенно тот, что порослей.

«Озорные люди,— подумала Варвара.— Да, никак, Степка...» — всмотревшись хорошенько, признала она.

Степка был женат на родной племяннице Варвары, на дочери ее брата. Брат Варвары, старик, строит барки, плотник, а Степку выгнали с завода, будто бы крал шинное железо, и нынешний «верховой» Запевкин грозился посадить его в тюрьму, но Степка сбежал. Как еще слышала Варвара, он собирался идти в город на заработки. Запевкин ему будто бы говорил: «Уйди с завода, или я тебя сгною. Видеть тебя не могу!»

Варвара обрадовалась, что идет свой человек, но и тревога не исчезла.

«Боже ты мой, да с кем это? Неужто он где-то Гурьяна Сиволобова сыскал?» Вот уж года три пропадал он после того, как порешил Оголихина. «Это он! Тут нельзя ошибиться. Ей-богу, он!»

Бродяги подошли ближе и сняли шапки. Теперь видно стало, что они пришли покорные, как с повинной, что грядущая зима, видно, припугнула их и выгнала из лесу.

Взгляд Варвары остановился на богатырской фигуре Гурьяна. Ей даже приятно стало, что будут у нее мужики жить. Работа найдется. Ведь Гурьян был первый труженик. Неужто разучился? «Пусть-ка стены эти разворотит», — подумала она про поленницы, обступившие курень чуть ли не с трех сторон. И пришло Варваре в голову, что зря люди несли, будто Гурьян стал главарем шайки, убивал людей и брал золото мешками, принял магометанство. А он вот пришел и кланяется ей, бабе. Видно, ему не сладко. И стало Варваре жаль этого огромного, но, как ей казалось, нескладного и несчастного мужика.

— Здравствуй, тетя Варвара!— ласково и глупо улыбаясь, молвил Степка.

— Здравствуй, племянничек!— постаралась ответить Варвара с видом кислым и неприветливым.— Что это, каким ветром?

— Соскучился по тебе, тетечка...

Ах, ты!— ответила тронутая Варвара.

Степка врал, но ей приятно было слышать. Давно уж о ней никто не скучал, и, кажется, никто в ее жизни вообще не говорил ей ничего подобного.

Она пригласила гостей в землянку. Наскоро затопив большую русскую печь, ушла на «кучи». Потом вернулась быстро приготовила обед. А Гурьян со Степкой сходили в

лес и привели трех лошадей. Оказалось, не так уж они бедны.

К вечеру тетка Варвара отправила мужиков в баню, потом пошел мыться дедушка Филат, а после всех сама с девчонкой. Баня тоже в землянке, в такой же, как и жилье у углежогов.

Варвара пришла к ужину в чистом платье, в вымытых сапогах, и Гурьян заметил, что она еще хороша. Там, где была сплошная сажа, выступил на светлой коже густой румянец, губы были пунцовы, сережки блестели в ушах; казалось, и глаза стали светлее, словно промылись, и полны живости. Чистые волосы закручены под платок, а полная, свежая шея открыта.

На другой день с утра Гурьян и Степка вышли на угледные ямы. Лучших помощников Варваре и не надо было. Убедившись, что мужики жгут уголь не хуже ее, она через несколько дней положилась на них и занялась хозяйством. Каждый день у землянки сушилась полная веревка белья. Варвара привела в порядок дом и коровник, готовила пищу. У Гурьяна было ружье, он убил лося, и теперь на курене стало куда сытнее прежнего.

В пятницу Варвара запрягла коней, повезла уголь. Гурьян дал ей денег купить муки, еще рубль — девчонке на обнову, да рубль на водку. Варвара не спрашивала, откуда у него такие деньжищи.

Вернулась она с Марфутой, Степановой женой. Женщины привезли новости, что в заводе будто бы нового управляющего хотели убить, кто-то вчера стрелял на улице у господского дома. Марфута рассказала, что хотят ломать кричную, переделывать огненное заведение, будут ставить машины.

До завода было почти двадцать верст, и Степанова жена домой не поехала, прогостила на курене целую неделю.

Весной, простившись с Могусюмкой, отправился Гурьян на завод.

Въехал он в поселок в воскресенье, под вечер. После башкирских деревень хороша показалась ему широкая улица с сосновыми избами, что почернели от смолы, вытопленной солнцем из бревен. У второго дома — шатровые ворота. Под окнами в палисаднике зацвела черемуха. Вышли две девицы, — обе беловолосые, розовощекие. Одна глянула бойко на Гурьяна и, оправив светлый сарафан, переглянулась с подружкой. Обе побежали туда, где среди улицы собралась на лужайке целая толпа парней и девиц.

Гурьян придержал коня. Тут все, как прежде.

Девицы все как на подбор — русы и белы, румяны, бойки, с быстрыми озорными взглядами. Простая самодельная белая одежда их — передники и сарафаны — сияла чистотой.

И девицам приметился Гурьян. Молодой еще мужчина, удало сидит на коне, сам статен, взор орлиный. Кто он таков, они не знали, но с живостью посматривали на него. Это все были молодые девицы, подростки после ухода Гурьяна.

Одна из белокурых девиц, обогнавших Гурьяна у палисадника, подошла к парню в картузе.

За вчерашнюю насмешку за твою,—

запела она, избоченившись,—

Что не ходишь на постельку на мою...

Вдруг вмиг сбилась толпа девушек.

Без тебя моя постелька холодна,
Одеяльце заиндевело,—

продолжала просмешница.

Все захохотали. Парень снял ремень.

Подушечка потонула во слезах...

Гурьян разгладил усы от удовольствия. Парень с ремнем сорвался с места, кинулся к девице, но тут подъехал Гурьян.

— Ну и храбёр!

— Здорово, лохматый! — окликнул его чей-то голос.

В калитке ближайшего дома появился Кузьма Залавин, босой, с мокрой головой. Видно, только из бани.

— Здоров будешь, Гурьяныч!

— Гурьяныч! — с удивлением молвила одна из девиц, глядя восторженно-изумленными глазами на всадника.

Девицы хором ахнули.

Залавин подошел. Гурьян слез с коня и обнял старого горнового. Девушки кинулись врассыпную. Парень с ремнем стал гоняться за обидчицей, но она убежала, пряталась за подруг и смеялась.

Потолковавши с Кузьмой, поехал Гурьян к сестре. Кузьма ни словом не помянул про старое.

Девицы запели где-то сзади хором, дружно и бойко, как бы напоминая о себе удалому красавцу, проехавшему мимо.

Гурьян подумал, что славную жизнь он покинул, с хорошего места ушел.

Он явился к двоюродной сестре. Семья была староверская, соблюдавшая обычаи. Дом врос в землю, уперся окнами на траву в палисаднике.

Муж сестры — старый горновой — сначала на все вопросы о жизни и работе на заводе отвечал, что все хорошо, на все воля божья. Но понемногу разговорился.

О переменах на заводе слышал Гурьян еще в степи. Завод продан старым владельцем, теперь принадлежит русско-бельгийской компании Могау.

— Но марка на железе старая, пашковская! — толковал Залавин, пришедший к соседям. — Могавское железо никто не берет. Никому такого не надо. Требуют: «Поддай нам пашковское!» Вот, говорят, Могау будут платить Пашкову за марку пятьдесят тысяч в год и на заводе как была, так и висит вывеска: «Железоделательный и чугунолитейный завод господ Пашковых».

Кузьма и свояк рассказали, что новый управляющий хочет заводить машины и все переустроить, притесняет их с землей, требует соблюдать уставную грамоту.

Историю с уставной грамотой Гурьян помнил. Грамоту эту составляли, когда вышло «освобождение». По ней полагалось за пользование заводской землей платить или выкупить землю навечно. Платить не соглашались. Выкупать никто не хотел — землю считали своей: деды отняли ее у тайги. Дело чуть не дошло до бунта. Много было споров. Приехали в то время чиновники: уговаривали, доказывали, грозили. Наконец хозяева завода дали льготу, разрешили пользоваться землей несколько лет бесплатно, но уставную грамоту пришлось принимать. Мазали безграмотные мужики свои пальцы чернилами и вместо подписей ставили на ней оттиски. Потом этот льготный срок еще продлили.

Кузьма Залавин и свояк рассказали Гурьяну, что когда новый срок прошел, с рабочих снова стали требовать плату. Но до сих пор кое-как «обходилось». Выставляли угощение новому «верховому». Вместе с управляющим, у которого была любовницей заводская девка, писал он в Питер, что недород, голод, народ погибнет, разбежится, если еще не продлить льготу. Завод был глухой, далекий. «Верховой» и управляющий оттого и ухитрялись не менять старых порядков. Идя навстречу заводским с землей, обирали их, платя гроши за труд на заводе. Так завод давал доход, достаточный для его прежнего хозяина. Управляющий и «верховой» тоже были не в убытке.

— А нынешний управляющий грамотку-то подшил, толковал Кузьма,— требует платить! Да нынче пашню обмерить грозится. Пользуйтесь, мол, покосами, а хлеба не сейте, по малости дает земельки. Главное, говорит, завод.

Пришли Иван Волков и Колька Загребин — кричные мастера, старые приятели Гурьяна, с которыми вместе коротал он долгие годы под задумленными навесами.

Гурьян схитрил: сказал им, что хочет «объявиться», выйти с повинной, поэтому и прибыл.

— Нет, брат,— закричал Загребин, могучий русский мужик с крупным носом,— обожди! Еще будут перемены!.. Скоро выйдет всем прощение, а сейчас тебя упекут. Не время еще!

Седоусый, приземистый Волков рассказал, что хотят лопать кричную, поставят паровые машины, устроят прокатку. Новый управляющий желает, чтобы крестьяне поменьше работали на пашнях, заявил; это, мол, можно было при крепостном, когда денег не получали, и надо было все добывать в своем хозяйстве, а теперь, мол, платим денежки, и будьте любезны, трудитесь как полагается... Требовать теперь, чтобы рабочий не отлучался на поле, куда до сих пор, по старому обычаю, всех отпускали на несколько недель весной и осенью. До сих пор в сенокос завод останавливали, а теперь этого не будет больше; подменяй друг друга; как хочешь.

— От машин — голод. Где машины, там народу гибель!— кричал, колотя кулаком по столу, Загребин.— Гурьяновского сорта уж давно нет! Никто, кроме тяти твоего да тебя, гурьяновских полосок не ковал. Разве машина может «гурьяновку» сковать?

Представлялось Гурьяну, когда он въезжал на завод, что жизнь тут хороша, а оказалось и здесь беды немало.

Когда все разошлись, Гурьян улегся на сеновале. Он вспомнил, как обступили его сегодня девки на улице, их взгляды, а потом бывшее, как сам любил бойкую русую красавицу и как долго не мог забыть... И сейчас еще было обидно и больно, как вспомнишь.

Утром Гурьян пошел по улице, желая глянуть на завод. Выйдя к плотине, услышал он громкие возгласы. В стороне заиграла гармонь, запели хором, с выкриками. Сестра сказала вчера, что на окраине Верхнего поселка свадьба, у Фортуниных; они женили сына своего на девушке с соседнего Авзянского завода.

С пригорка к пруду шла с песнями толпа ряженных. Впереди какие-то толстозадые, коротконогие парни с наведенными сажей усами, с приплясом, бойко орудуя метлами и

лопатами, расчищали дорогу, скидывая с нее камни, щепки. На подносах несли стаканы, в жбанах и бутылках — водку, мед, брагу.

По тебе, широка улица,
Последний раз иду,—

горланили они девичьими голосами. Им басом отвечали девки огромного роста, носастые, в платках, в мужских штанах и в сарафанах, с грязными небрежно надетыми лентами, с лицами, полузакрытыми цветным тряпьем.

На тебя, моя хорошая,
Последний раз гляжу.

И снова общим хором запели:

Эх, по тебе, широка улица,
Последний раз иду!..

А среди толпы с пустыми ведрами на коромысле шла плечистая, в расшитой белоснежной рубашке, в сарафане и простых сапогах белокурая молодая. Брови у нее темные, густые, соболиные.

Гурьян приостановился. Молодая была уже близко. Казалось, вихрь налетел, вокруг загорланили громче, заплясали, в воздухе замелькали метлы и лопаты.

Невеста шла гордая, спокойная, ни на что и ни на кого не смотрела, погруженная во что-то свое. Все делалось к ее спокойствию и удобству: камень, кочка исчезали перед ней, ее берегла вся эта толпа.

У пруда сбилась другая толпа. Не давали подошедшим воды. Сначала началась было драка, потом на железных подносах ряженные вынесли желтый медок в стаканах и мутную сивуху, и за это невестиных спутников пустили к воде. Молодой набрали два полных ведра и повесили на коромысло. Она, все такая же гордая, спокойная, с недогнувшими плечами, пошла обратно.

На тебя, моя хорошая,—

снова загорланили вокруг.

«А ну, взглянет она на меня или нет», — мелькнула озорная мысль у Гурьяна. Он стал пристально смотреть на молодую. Та поравнялась с ним, почувствовала взгляд, это заметно стало по ее чуть дрогнувшему и насторожившемуся лицу, но не взглянула на Гурьяна, так же холодно прошла мимо. «Гордая! Молодчина будет баба!» — подумал Гурьян, хотя в душе немного раздосадовал, что такая красота проплыла мимо, не удостоив взором.

А вокруг шел дым коромыслом. Отплясывали вприсядку. И опять повторяли:

Эх, по тебе, широка улица!..

Вдруг басистые девки подхватили сильными руками Гурьяна под бока и потащили его.

— Ба-а... Да, никак... — не узнавал он размалеванные рожи.

— Ты, что ль, Гурьян?

— Я...

— Все свои. Не бойсь!

Его привели на свадьбу. Во дворе долговязый парень в розовой рубашке поднес медок и водку на подносе. Пошли в избу поздравлять молодых. Жених оказался знакомый. Пошли пьяные речи. Помянули, что вдова Оголихина перебралась вместе с сыновьями на Тирлянский завод. Гурьян понимал: сказано для него, мол, можно смело гулять. Однако он ума не пропивал: привык быть настороже.

Когда стемнело, Гурьян решил убраться восвояси. На прощанье он сказал старому приятелю своему, Ваньке Волкову, что будет в лесу, неподалеку, и при случае может пригодиться. Обещал дать знать о себе и пригласил в лес, если будет нужда «посоветоваться».

Жаль было расставаться с заводом, с кругом людей своих: толковалось с ними так просто и привольно. Жизнь тут родная, от нее отвык, но теперь, снова повидавши, потянулся к ней всей душой. Тут много забот, строгости новые.

Захотелось Гурьяну поселиться под заводом, где-нибудь в лесах и не таскаться больше по степи.

На обратном пути Гурьян, как обещал, заехал к Бикбаю, но Могусюмки там не оказалось. Гурьян узнал, что за ним приезжал Хурмат.

Гурьян забеспокоился и подался в степь на Шакирьянову заимку, но и там башлыка не было.

«Почему он не подождал? — встревожился Гурьян.— Ладное ли затеял дело?»

Заимка Шакирьяна стоит в степи, нет у нее ни заборов, ни амбаров, а чернеют две юрты из гнилых бревен, да вокруг кое-где раскидано несколько кибиток.

Дождь шел, вся степь в воде, всюду лужи, как блюдца, блестят в траве. На возвышенностях бродит скот, кони. Шакирьяна дома нет.

Еще подъезжая к заимке, заметил Гурьян, что не видно Могусюмкиных лошадей.

Вскоре откуда-то явились Шакирьян и Бегим. Бегим уселся на нарах, курил трубку, не глядя на Гурьяна.

— Где Могусюмка?— спросил его мужик.

— Нету, — спокойно ответил Бегим.

Башкиры молчали.

Гурьян и прежде замечал, что Бегим как-то не прост, временами норовит обидеть. Приходило в голову Гурьяну, что Бегим ненавидит его, только при Могусюмке стесняется себя выказать. На этот раз неприветливость старика сильно его раздосадовала. Не время было этак выламываться.

На другой день Гурьян опять спросил про Могусюмку, но толку не добился.

— Что ты дуришь, отвечай! Куда же он уехал?

— Не знаю, — безразлично ответил Бегим.

— Как, бабай, не знаешь...

— Не знаю.

— Давно нет?

— Давно. Как ты ушел, и он ушел, — пояснил Шакирьян.

— Могусюмка от тебя отказался, — сказал Бегим.

Шакирьян усмехнулся.

— Меняй веру, — сказал Бегим.

«Э-э, нет, тут дело нечисто!» — подумал Гурьян. Он догадывался, что могло случиться.

— Меняй веру, меняй веру, — как бы смягчившись, твердил старик, — а то худо будет!..

Гурьян не стал отвечать, пошел к табуну, догнал коня, изловил его, оседлал, поехал в степь, нашел других своих лошадей, завьючил их у кибитки и уехал от Бегима.

Он твердо верил, что не мог Могусюмка позабыть дружбу, отказаться от всего ради «святого» и его подговоров. Тут что-то было не так... Бегим, конечно, хитрил.

Гурьян пошел не на завод, как ему хотелось, а, желая прежде дожидаться Могусюмку, поселился у знакомого казака на постоялом дворе. Хозяин двора понимал по-башкирски и знал все, что делается в округе.

Время шло. Могусюмки не было. А с завода дошли вести, что там народ волнуется. Где Могусюмка, Гурьян не знал. Он рассчитался на постоялом и решил идти на завод, уговорившись с одним из хозяйских батраков-башкир, что тот даст знать о нем Могусюмке, если башлык появится в этих местах.

Казаки убирали хлеба, когда Гурьян поехал верхом по знакомой дороге.

В горах встретил он Степку Рыжего. Тот шагал с сумой на плечах в степь.

Увидев Гурьяныча, молодой мужик обрадовался.

— А я слышал, ты гостил у нас на заводе, — сказал он.

— Вот опять еду. А ты куда?

В этот день решили никуда не идти, свернули в лес, развели костер у ключа под скалами и долго рассказывали друг другу новости. Степка рассказал, как и почему решил бросить завод и пошел наниматься в город. Но, как заметил Гурьян, он уже скучал по дому.

Потолковавши, мужики решили заглянуть к Степановой тетке на курень. Там место глухое, а завод неподалеку.

«Поживу у нее. Жена будет ко мне приезжать, — подумал Степка. — А с Гурьяном не пропадешь».

В полдень послышались колокольцы. Они приближались необычайно быстро.

— Эка, скачет кто-то. Не исправник ли на завод едет? — сказал Гурьян. — А ну, пойдем к дороге, поглядим.

Оба мужика поднялись на лесистый холм, залезли в ветви кряжистой кривой сосны. Желтое хлебное поле видно внизу. Около него дорога расходилась надвое: одна шла на завод, а другая — в башкирские улусы.

Внизу быстро мчалась по дороге тройка, а позади нее несколько конных казаков.

— Э-э, брат, это становой куда-то помчался.

— На завод? К нам?

— Сейчас узнаем.

— Видать, что-то стряслось...

Тарантас и конный отряд свернули вскоре на башкирскую дорогу.

— К ним. Башкир драть поехали!

Звон колокольцев стал стихать. Вскоре скрылись тарантас и быстро мчавшаяся ватага всадников.

— Будет порка! — сказал Гурьян. — Что-то башкиры провинились. Не бунтуют ли? Не в Шигаеву ли они поехали? Может, троеженец Исхак чего натворил?

Гурьян подумал: «Был бы Могусюмка тут, может, досталось бы и становому».

Гурьян и Степка поехали верхами прямо к заводу. Не доезжая его верст восемь, свернули на тропу, добрались до куреня, спрятали коней и вышли к тетке Варваре с поклоном.

Варвара всем понравилась Гурьяну: и волосы хороши, и лицо, и взгляд живой; сразу видно свою, заводскую. И опять вспомнил Гурьян, как въехал он впервые после долгого отсутствия в заводской поселок и увидел игры, хороводы, живые, светлые лица девушек...

ТОЛКИ

Захар пришел домой и сказал:

— Гурьян под заводом появился!

— Гурьян? — хотела переспросить Настасья, но язык у нее онемел, и она почувствовала, что кровь отливает от лица. «Что это со мной?» — подумала она.

Она знала, что нынче Гурьян был у своих, виделся с кричущими рабочими и потом опять исчез. Что все девки, видавшие его, с ума сошли, — слухи об этом дошли до Настасьи. Она все узнавала раньше мужа.

Прежде Захар все на ярмарки ездил да по деревням. А нынче с учителем целые вечера толкует или день-деньской в магазине. А то наденет очки, как старик, и сидит книжку читает.

Спасибо Акулюшке, что не забывает, нет-нет да и забегит. Соседки и знакомые не так забавляют Настасью, как эта старуха. С теми разговор все про одно и то же. Про «политес» да про наряды, а бабуку заслушаешься, хоть с причудью она. Как занятную книжку читаешь.

С тех пор как Настасья выучилась грамоте, она полюбила книжки. Прочитала «Ночь перед Рождеством», потом «Тараса Бульбу», снились ей по ночам запорожцы и парубки с чубами, дивчины черноокие; и казалось, страны прекраснее, чем Украина, нет на свете. Хотелось побывать там, повидать хохлов.

У калитки загремела щеколда.

— Легка, бабушка, на помине. Только об тебе думала. Заходи, да, смотри, не запнишь в калитке. Захарка доску снизу велел повыше наладить. Дом-то у нас неприступный.

Настя занялась самоваром. Вошла бабушка Акулина — дальняя ее родственница, женщина низкая, коренастая, одетая во все темное.

— Уж не для меня ли ты самовар-то греть собралась?

— А хоть бы и для тебя, так что же?

— Не надо, не надо... Что ты, не вовремя...

— Ты не спесивься; чем богаты, тем и рады. Садись, Акулюшка, посиди со мной, гостя дорогая. А то ведь я все одна да одна. Феклуша да ты — вот только у меня и подружек. Да учительша Евгения Николаевна. Захар-то не велит мне с бабами водиться. «Куда, — сказывает, — гольтепу эту звать!» А богачек сама не люблю: с жиру бесятся. Да и он с купцами нынче не ладит. Дружил с Прокопом Собакиным, а нынче разошелся.

— Нынче всюду перемены! — отозвалась старуха. — Народ волнуется!

Это был как раз тот разговор, который и желала завести Настасья.

— Вы-то богаты, вам что...

— Какие мы богатые, — небрежно сказала Настя.

Сама она была из бедной семьи и все ее богатство, принесенное мужу, — здоровье и красота. Первое время после замужества льстило, что живет в достатке, но потом привыкла.

Зашумел самовар, запел, засвистал.

— Ишь ты, пузатый, деньги ворожит! — проговорила Акулина.

Настасья сняла трубу с самовара, продула его, подкинула углей.

— Нынче Прокоп-то на базаре толковал, что, мол, дело нечисто. Народ-то глуп, мол, лихие люди его мутят. Разбойники, мол.

— Уж что это, бабушка! Какие же разбойники? — с приторным изумлением спросила Настя.

— Ох, верно, милая, есть люди в лесу, скитаются они, за бедных заступаются. Их богатые клянут, их ищут... А мне их жалко, я за них богу помолюсь. Они такие же люди, как мы. Слыхала ты, поди, про Степку-то Рыжего, жена-то у него Марфа, отец-то ее барки на запани ладит. Так веришь ли, Настенька, васейка один мужик с рудника приехал, сказывал, будто и Степка ушел в лес. Слух идет, что нынче есть голова всему делу...

— Да ты не о Гурьяне ль толкуешь, бабушка? — с деланной наивностью спросила Настя.

— О нем о самом. Люди говорят — разбойник. Эка ведь!.. А он ведь святой! Святой великомученик! И в старину святых казнить хотели. Страдает народ!.. Он узнал, что горе у нас, и вышел. Бродит под заводом по лесу. Его бог послал. Да ты что это покраснелась? Как тебя краской-то залило...

— Да это я так, — не смущаясь, ответила хозяйка. — Самовар-то продувала, вот, видно, меня и разжарило.

— Уж знаю, знаю!.. Был у тебя ухажер!..

— Вот, ей-богу, нет, не от того. Жарко, чай!

Самовар закипел, заплескался, пар повалил из-под дрожащей крышки. Настя убрала трубу, вытерла самовар тряпкой и подняла его на стол.

— Угощайся, бабушка, — поставила Настасья изюм. Хоть и желала она потолковать о Гурьяне, но теперь уж и не рада была, что зашел такой разговор. — Это, бабушка, ви-

ноград сушеный. Азиаты его продавали. Захар из Азии привез с ярмарки. Кушай, бабушка, кушай.

— Уж Захарка твой не знает, как мудрить. Чего только не везет в магазин. И азиатские-то и московские товары! То-то есть с чего жиреть да во что наряжаться. Эта шаль-то давно у тебя куплена?

— Третий месяц. Санка из города привез.

— Добрая шаль! Шелк чистый... И оренбургские, поди, есть у тебя?

— Как же! До пят, и вся шаль, бабушка, в перстень проходит...

Из козьего пуха, вычесывая его весной, вязали шали и на заводе, но таких, чтобы проходили в перстень, здесь делать не умели.

— А ты, баба, бога гневишь, такого мужика не ценишь!

— Как это не ценю?

— Да уж по глазам вижу! Книжек-то начиталась, вот и лезет в голову всякое.

— И вовсе нет. Один только раз во сне чью-то бороду видала, будто так и исколою всю щеку...

— Спасибо, мать моя, спасибо,— отставила и перевернула старуха пустую чашку, делая вид, что не слышит.

— Ах, бабушка, что же, по-твоему, мне в голову лезет?— шутливо отозвалась Настя, и голубые глаза ее приняли опять наивное выражение.

— Грех!— молвила старуха.— А вкусный этот твой виноград!

— Какой же грех? Расскажи-ка мне, уж я люблю послушать. Распиши мне про грехи-то...

— Ишь ты! Не тяни меня за язык, сама знаешь... Ты не шути: Гурьян не зря ходит, ох, не зря!.. И на заводе у нас беспокойно. Люди мучаются, страдают. Жаль мне их, а чует мое больное сердце — быть беде...

Тут старуха оглянулась на обе стороны, как бы кого-то опасаясь, и заговорила потихоньку:

— Быть бунту... Быть, родимая, сердце мое трепещет... Вот я тебе расскажу. Идет вчера племянница моя по плотине и смотрит — стоит народ, смущение произошло: Люхина Андрейку с кричной фабрики на руках вынесли. С тех пор как кричную ломать стали, его немец на печи поставил, а Андрейка все томился, говорил: «Нет у меня расположения!» И вот как лётку пробили, как хлынул чугунок, да и, видно, чуяло его сердце недаром — уж как угодило, никто не знает, а только забрызгало ему глаза... Вот я и говорю, что быть бунту. Найдется мужик умный, голос подымет зычный, прогремит, что господня труба. Страшный-то суд нач-

нется. В старину подымался у нас народ. Я от бабушки слышала, как людей терзали, как потом казнили... И все сердце с детства болело у меня за тех, кого повесили.

— Так уж дозвожь, я тебе еще налью, — сказала Настя.

— Нет, и на том спасибо.

— А коли хочешь, так у меня варенье свежее наварено.

— Э-э, нет уж, пора и честь знать. Вишь ты, солнце на закате. Того и гляди Андреич воротится.

— Так что же с того! Какое его дело, это мы сидим.

— Да лясы точим, как ни дело.

— И-и!.. Не беда, посиди, бабушка.

— Мне всех жалко. В старину ведь был бунт на заводе. Пугач приходил с войском. Обратился он к нашим заводским крестьянам: «Эй!— сказывал.— Загребенские, запорожские и вы, мужички заводские, со пня садитесь, а с дубины не валитесь». Истинное слово, так Пугач говорил. Сами-то были нищие и темные, не могли на коня вскочить, не умели верхом ездить, а Пугач был казак, хорошо сидел на коне. Он и сказал: мол, со пня садитесь... А то в седло, мол, вскочить не умеете с места, так хоть со пня, мол, а с дубины не валитесь, это потому, что дубинами воевали, оружия на всех не хватало, мужики с кольем поехали. А сам будто сел на красную лодку и поплыл вниз по Белой. Тогда в Белой воды было больше, а теперь курица перейдет. А нынче леса рубят — все сохнет. Прежних рек нет. Могусюмка-то поэтому и бунтует: ему леса жаль. Пошли тогда за Пугачом и наши мужики. Один из них, Люшой его прозвали, и теперь еще жив. Люшу знаешь? Люхины-то от него, его род. Жив, жив еще. Он один только не помер из тех, кто бунтовать ходил. Уж скрючило его, а смерти нет. Другим-то ноздри рвали и били всяко, а ему обошлось. Он в воде пересядел. Покуда других ловили, он да наш-то дедушка взяли в рот по тростинке да и залезли в озеро, а после в лес убежали... Ну, мне домой пора. Спасибо за угощение. Прости нас, грешных. А ты евангелие-то читаешь?

— Нет, бабушка.

— Грех... В евангелие-то сказано и про бунты, читай, хо-рошенько, читай да разумея, там и про наш завод сказано. Я все жду. И немца мне жалко: он ведь один живет, как сирота. Тоже, поди, жене и детям хочет заработать. И как подумаешь, мы чем виноваты, за что нас мучить? А чем башкиры виноваты? Уж их-то доля не легка, лес у них вырубают... Могусюмка-то недаром бродит, а ведь сам он славный, добрый, ласковый. А все свой урман жалеет. Бывало, встретит меня, ухмыльнется да спросит: «Здорово, бабка, как, мол, живешь?» А я его спрошу: «Ну как, мол, еще цел

твой урман?» — «Еще маленько цел», — отвечает. «Ну; — говорю, — коли цел, так тебе есть еще где укрыться, слава богу!»

Старуха вспомнила, как башкиры бунтовали в старину, как их запарывали насмерть, одинаково с заводскими. Насте так и не удалось еще порасспросить про Гурьяныча. А хотелось опять повернуть разговор на него. Бабка ушла. Под окнами мелькнула ее коренастая темная фигура.

Настя вымыла чашки, убрала самовар и посуду, собрала крошки со столешника. Установила возле печки гребень в донце. Вытащила из ящика мохнатый ворох кудели, посадила на деревянные зубья, уселась пряхть. Сегодня не читалось. Когда читаешь, думаешь про других, а сегодня хотелось про свое.

А в окне проплыл высокий картуз Захара, загремела щелка.

Хозяин пришел домой.

— Что это ты сегодня замешкался?

— Новый управляющий в лавке был, да с Петром товар в Низовку отправляли.

В Низовке открыл Булавин лавку, и торговля там шла очень хорошо, не хуже, чем на заводе. Деревня большая, и других купцов нет.

— Управляющему-то чего надо?

Захар разделся, стал умываться. Заметно было, что он не в духе.

— Так вот, пришел он ко мне: дай, мол, ему сукна на шубу. Разворачиваю один товар, другой — все ему не по нраву, — рассказывал Захар, стуча медным рукомошкой. — «Ты, — говорит, — купец, привези для меня такой товар, чтобы другие его не покупали. Я не могу носить такой материал, который носят все. А пока, мол, отрезай сукна», — и показывает на тот кусок, что Санка из Кундрavy привез, — только я его буду левой стороной наверх носить, чтобы на других не было похоже. Завернул ему, подаю, а он и говорит: зачем же это я письмо подписал, жалобу, мол, это не купеческое дело, да еще, мол, с Рябовым в компании. Оказывается, приехал инспектор из города: видно, нашей жалобе дали ход. Да как дело обернется — бог весть. Управляющий доказывает, что, мол, надобно подсоблять друг другу, контора с торгующим купцом должна жить в мире, доказывает мне, что машинная сталь лучше и что Азия нашей стали не берет. «Да ведь я купец, — отвечаю ему, — бывал в Азии и знаю, какой там спрос на нашу сталь». Завтра нам идти в контору. Меня, Рябова и учителя призывают. Да Ивана Кузьмича я уже третий день не вижу...

— Он на охоте. Да к башкирам ездил с женой.

— Управляющий стал спрашивать, когда и какое я железо по ярмаркам возил. Рассказал ему: «Приходи,— говорит,— обязательно в контору». Попрошался и уехал на коляске. Важный такой, видный, прощался, так руку жал, рука крепкая. И взором светел, а за сукно денег не заплатил. Какие новые порядки! Раньше отцу барин за товар платил, а я стал торговать — боже сохрани, управляющий гроша не задолжает, а этот считает свое право забирать товар. Или, может быть, хочет показать, что по-свойски это, как у своего, мол, и беспокоиться нечего... Мне куска не жалко, а выходка нехороша.

Захар стоял с полотенцем в руках и все говорил.

Настя подала щи, тарелку с нарезанным вареным мясом. У Булавиных была в доме и хорошая посуда, и мебель, и книги, и разные городские вещи, но в обычные дни питались они просто, на кухне, так же, как в свое время небогатые родители их.

— Иван Волков, говорят, ездил в лес, встречался с Гурьяном,— продолжал Булавин, прихлебывая щи. — Тот в самом деле, видно, где-то поселился под заводом. Вот до чего доводят людей, что они сами идут к разбойнику.

— Что ты так честишь его, Захарушка?— спросила жена, смутившись.

— Ну, для нас с тобой он не разбойник,— мягко ответил муж.— А начальство судит по-своему. Оно не посмотрит.

— Мало ли кто, Захарушка, как судит. Ведь он пострадал за других. Нынче люди добрые о нем толковали.

— Люди! Мало ли, что они толкуют! А схватят его, и они будут хвалить того, кто схватил. Народ, что вода...

Захар сам был очень недоволен новыми порядками, которые вводил немец-управляющий. Но, полагал он, не следовало ставить себя под удар, давать повод обвинить общество в сношениях с убийцей, скрывающимся не первый год.

— Впрочем, Ванька Волков — стреляный воробей. Конечно, они, кричные, старые приятели. Их так разбередили тем, что кричную ломают, что они хоть к черту в лапы, а не только к Гурьяну.

Захар не жалел, что впутался во все эти дела. С учителем и с одним из старых грамотных рабочих он написал жалобу губернатору. Винили новых хозяев и управляющего, что не знают рынка, не умеют обращаться с народом, не знают обычаев здешней жизни и этим самым вызывают волнения.

Захар стал говорить, что урожай нынче хорош, а народ не рад, кричат: мол, последний раз сымаем, больше пахать не будем, если платить за землю надо, лучше откажемся от земли и разбежимся, а еще в недород не отработаешь все-го — в кабалу попадешь. Они боятся, что опять станут крепостными.

— Загребин, Чеканников и Курбатов сегодня были в волостном и объявили, что платить за землю никто не будет ни гроша, что они готовы за общество пойти на каторгу, но не уступят. Я даже удивился, как нынче народ дружен. Еще вчера я удивился, откуда что Залавин взял про Касли. Он вчера зашел ко мне в лавку и говорит: мол, в Каслях такая же заваруха была, но народ держался дружно, ни один не выдал. Плату каслинским прибавили и земли не отняли. А я подумал: Санка в Касли зимой ездил, ничего не слышал. Сдается мне, что это Гурьянова ума дело да Ваньки Волкова, а что в Каслях ничего подобного не было. А теперь уже толкуют, что в Лысьве года два, как был бунт, и тоже своего добились. Ну что же, дай бог им! Они, видно, хотят, как сход будет свое условие выставить.

Настя слушала, сидя у печки, возле гребня с куделей. Теперь она понимала все по-другому, не так, как прежде. Когда-то стыдилась, что Гурьян, любивший ее, убил человека. А теперь из книг знала: тот, кто убивал злодея или врага, считался героем, другом народа, а не разбойником. Почему же в других местах или в чужих странах, у других народов это хорошо, а у нас плохо? Чем же Гурьян не герой? И вот сейчас, когда народ хотят заставить платить деньги за землю сразу за несколько лет, он снова явился, в лесу живет, люди в сговоре с ним! И народ зовет его мучеником.

Захар сам научил ее думать, пробудил в ней достоинство. И много-много о чем думала Настя. После таких раздумий муж иногда казался ей немилым.

— Хотят сход собирать. Управляющий вызвал станowego и мирового посредника, — толковал Захар. — Как они народ разобьют?

У Захара дома целая библиотека. Он поднялся, хотел пойти взять книгу, но приостановился.

— Сегодня Абкадыр был из Шигаевой. Акинфий с зятюшкой, офеней, строчили-строчили доносы на башкир, угощали Хамзу и Исхака из Шигаевой и свое доказали. Бикбаев пай отняли, приехал землемер и отрезал им большой кусок башкирской земли. Бикбай рассердился, был дома сын его Хибетка. Они на меже схватили Акинфиева зятя Ваську. Тот плакал: мол, его зря обижают, кричал, надо, мол, о человеке, о человеке, а не о деревьях думать, о душе его... Мол, бога,

бога надо помнить! Человека, мол, жалеть надо, а не лес... А кончилось тем, что башкиры взяли их в колья. Ваське проломил голову. Приехал становой. Бикбая схватили и Исака тоже, хотя он пособлял Акинфию. Курбан будто хлопотал за Бикбая; так Васька теперь доказывает, что Курбан укрывал Могусюмку и дружил с ним. Вот какие дела у башкир! Почище наших! Бог знает, что на свете делается!

Глава 31

УЧИТЕЛЬ

Иван Кузьмич Пастухов брел с ружьем по лесу. Настроение у него, как и у всех на заводе, неважное. Сосед его и добрый знакомый, с которым вместе сочинили они жалобу, Захар Андреевич советует действовать поосторожней.

Жалоба послана, но Иван Кузьмич полагает, что этого мало. Он готов на большее. «Что это за «освобождение», — рассуждает он. — Полумера какая-то. Рабочие получают теперь на заводе в месяц полтора-два рубля, а за десятину земли завод желает получить с них рубль. Политика тупая, бессмысленная, из-за грошей подрывается основа горнозаводского дела, благосостояние народа. Класс потомственных рабочих, которым позавидовала бы любая страна, хотят превратить в нищих только из-за того, чтобы не дать им по клочку земли. И еще смотрят: мол, рабочие это или крестьяне, что, мол, за новая разновидность рабочих, не предусмотренная в Европе. А люди уходят в степь наниматься к кулакам-казакам; отличные мастера собираются стать батраками, девки идут с отцами в город, пойдут в присяуги, обнищают, дойдут до разврата. Какая-то бессмыслица во всем».

Пастухов готов впутаться в спор рабочих с хозяевами, да так, что управляющему жарко станет. Жалоба написана, но ходу ей могут не дать. Тут надо действовать не одними жалобами.

Обычно Пастухов ездил на охоту верхом, брал коня у кого-нибудь из соседей. Наездник он отличный и любит лошадей. Когда-то хотел поступить в ветеринарный институт.

Нынче Пастухов отправился на охоту пешком, чтобы не утруждать знакомых просьбами; ночевал две ночи в лесу, а сегодня пробродил по болотам весь день. Сшиб двух глухарей. Стреляет Иван Кузьмич довольно хорошо, но больше любит природой, здешними лесами.

Он приехал в Оренбургскую губернию, в ее заводскую горную часть из тех соображений, что владели в те годы мно-

гими молодыми людьми. Он желал нести знания в народ, в самую гущу, пробуждать в нем интерес к тому, что делается на свете, воспитывать в своей школе разумных и здоровых людей, которые бы стали основой, главным костяком будущего общества. Только так, полагал он, можно пробудить Россию.

Иван Кузьмич сам из простых и по себе знает, что думает русский и чего он хочет, чего ему не хватает и кого бы он при случае шибанул как следует, да до поры не смеет. Возмущали его люди, которые уверяли, что русский народ — раб природный. Ходи или не ходи «в него», он как был неграмотным и злым грубияном и насмешливым по своей глупости, «не способным к усвоению цивилизации», таким и останется; его удел, мол, трудиться и воевать для блага высшего класса европейски космополитического.

Здесьние ребяташки понравились Ивану Кузьмичу. Они в самом деле на редкость здоровы. Один из залавинских мальчишек, больной, при температуре не меньше чем сорок, бегал в дождь по лужам, лазал через заборы, да еще свалился с высокого тына, грохнулся боком о землю, и все же выздоровел.

Но дети не только здоровы, но и смышлены. Рассказывали им Пастухов про законы физики, про жизнь растений, про разные страны — ребята все понимали. Казалось, в них есть все, что нужно для будущих настоящих граждан.

— С такими задатками народ может поистине стать великим, — говорил Иван Кузьмич жене своей, тоже учительнице, Евгении Дмитриевне, маленькой, худенькой, белокурой женщине лет двадцати пяти, дочери разночинца, разделявшей все взгляды мужа. — Дети способные, а отцы в большинстве случаев люди, в которых многое хорошее подавлено в зачатке нечеловечески тяжелым трудом.

Никогда прежде не думал Пастухов, что рабочий народ может так сжиться с заводом и — что всего удивительнее — с железом. Тут даже у детей были навыки по частиковки и плавления. Люди здесь поистине любили завод, как живое существо. Пастухов немного смыслил в металлургии. Старшим ребятам он старался объяснять процессы, происходящие во время плавки, в свободное время бывал с ними у печей, у молотов, в литейной. Рабочим нравилось, что учитель ходит на завод. Пастухов еще в Москве, отправляясь на Урал, обучился слесарному делу. Теперь это пригодилось.

В семьях, где росли дети, каждый взрослый умел выковать железную вещь. С ранних лет тут привыкли к железу, к горячему чугуну.

Под вечер Иван Кузьмич вышел на какую-то поляну, заваленную дровами.

«Да это Варварин курень!» — обрадовался он.

Пастухов обошел поленницы. Какие-то кони бродили между пеньков. Полузамерзший мох мягко проваливался под их ногами, и в след просачивалась вода. Завиделась крыша землянки. Она как ярко-зеленый бугор. Видно, недавно обложена свежим дерном, и трава сохранилась, не выгорела и не замочила, не сгнила. На бугре торчала железная труба, и густо валил дым. Трезор кинулся вперед. Знакомая куренная собака выбежала ему навстречу с радостным лаем.

Пастухов отворил дверь в землянку и несколько удивился, видя, что там полно народу.

— Заходи, заходи, Иван Кузьмич, — признал его дедушка Филат, — милости просим!

— Милости просим, господин честной, — всполошилась и Варвара.

Все поднялись при виде гостя.

«Что за люди?» — подумал Пастухов. Он разглядел Чеканникова, Загребина и Волкова. Видимо, попал на какое-то сборище.

— С охоты? — здороваясь с рабочими, спросил учитель.

— С охоты! — с чуть заметным оттенком насмешки отозвался Загребин, рослый, носатый мужик лет сорока, с голубыми глазами. Это человек порывистый и неровный, на сходках кричит во весь голос, ругается последними словами.

Чеканников — бородатый, широколицый, с карими ястребиными глазами. Он сложил руки на столе, как бы приготовившись не ужинать, а что-то обсуждать. Пальцы у него вдвое толще, чем у Пастухова, приплюснутые, словно разбитые, красные, с черными ногтями, на ладонях двойные ряды желтых мозолей.

Волков невысок ростом, усатый, с веселым, острым взором умного и пытливого человека. Волосы стрижены коротко, по-городскому.

Загребин стал рассказывать, как он нагрубил управляющему, и громко смеялся — так, что слезы выступили на глазах.

«А вот этого мужика я и не знаю. Кажется, человек новый», — умывшись и подсаживаясь к столу, подумал Пастухов про Гурьяна, который видом своим отличен был от всех сидевших в землянке.

Ивану Кузьмичу — под тридцать. Он высок, волосы его расчесаны сбоку на пробор, лицо крупное, бритое, со светлыми бровями, руки худые, длинные. Он отдал Варваре жарить одного из глухарей.

На столе появилась водка. Пастухову поставили небольшой граненый стаканчик.

— Глухарь — царь всем птицам, — молвил Волков, подмигнув своим товарищам.

Пастухов уже смекнул, что мужик хитрит.

— Вон, видишь, барин глухарей принес, — сказал Гурьян, ласково обращаясь к маленькой белобрысой девчонке, и что-то еще добавил ей потихоньку.

Учителю такое внимание к ребенку понравилось, и бородатый мужик расположил его к себе. Пастухов знал, что в простых семьях, да еще при посторонних, внимания детям почти никогда не выказывают.

— По стаканчику, — молвил дедушка Филат.

— С горя-то, — добавил Гурьян многозначительно, и Пастухову показалось, что этот человек хочет вызвать его на какой-то разговор.

— Какое же горе? — спросил учитель.

— Конечно! Едим, пьем, мясо есть, глухаря жарим, — подхватил дедушка Филат. — Что же горевать!

— Охота нынче плохая! — мелко покачивая головой вправо-влево и как бы нацеливаясь злым взором на гостя, сказал Загребин.

Гурьян поднял одну бровь и весело взглянул на барина. Ему хотелось поговорить по душам с образованным человеком, узнать, чего они, ученые, хотят, к чему они, грамотеи, клонят. Он уже догадался, что это заводской учитель. Слышал про него не раз.

— Кричную пропиваем, барин! — заметил Гурьян.

— Ломают кричную-то, — меняясь, подхватил Загребин с оттенком жалобы. Теперь в его голосе слышались плаксивость.

Пастухов готов был к ответу.

— Ну и что же, что ломают! Правильно делают! Работать нашими вододействуемыми колесами это все равно, что лаптем щи хлебать.

Это был вызов, и сразу по всем, кто сидел в землянке, словно пробежал электрический ток.

— Иного выхода нет. Надо ставить машины и машинами работать. Катать железо.

— Купцам на пятистенные-то дома, — заметил Чеканников и, хитро прищурившись, приоткрыл рот, как бы в лесу слушая эхо.

— Нет, не обязательно купцам, можно катать не только кровлю. Да, кстати, и кровля нужна — пожаров будет меньше... Но ведь есть машины, которые могут катать хорошую, сортовую сталь. Тот же кричный молот на других заводах

превосходно приводится в действие машинами. Есть заводы, где это уже давно, еще при крепостном так делалось. Машина не враг, а друг человека и должна помочь ему.

Гурьяныч слушал, насупившись.

— Пусть-ка попробуют выковать так... Сталь-то молодая...

— Знаю, прекрасная молотовая сталь! Но у нас часто бывает так: хозяин привозит машины, и ручной труд становится ненужным. Рабочие волнуются. Так не только у нас в России, но и в других странах. Бывают бунты против введения машин. А ведь если подумать, разве машина виновата? Да взять ту же кричную. Нет слов, мастера на нашем заводе хороши. Я видал, что они выделывают. Говорят, не так давно были мастера еще лучше, — добавил он, чтобы не подумали, что он льстит им, кричным мастерам. — Какой-то был, я забыл его фамилию. Меня еще не было на заводе, но все его поминают.

Загребин взглянул на Гурьяныча.

— Но вот нет этого мастера, — продолжал Иван Кузьмич, — а завод поставит машины и будет эту же сталь выпускать сплошной полосой. Разве ручным трудом, поворачивая крицу руками, много накуешь? А поставь этого же мастера на сортовой стан, он завалит всех нас сталью.

— Той отковки не будет, — заметил Гурьян.

Волков зорко приглядывался к Пастухову. Загребин опять от волнения мелко затряс головой.

— Я сам видал работу машин, — продолжал учитель. — Получается превосходная сталь. И рабочие не жалуются на машину. Жалуются на людей. Беда не в машинах, а в нас самих. Да и виноваты не только хозяева, но и сами рабочие.

— Как же так? — недоумевая, спросил Гурьяныч.

— Машина не нужна! — закричал с сердцем Загребин, ударив кулаком по столу. Он всхлипнул. — От машины голод! Немцы приехали, удивляются, сколько у нас леса, земли, сколько хлеба у нас от казаков везут. У них нет этого. А у них машины!

Кулак его сильной руки так и заходил по столу, словно он желал драться. Все его тело било от волнения.

— Вот вы выросли тут, привыкли к своему родному заводу, — продолжал Пастухов спокойно. — Вы -- рабочие, знающие дело отлично. Вы легко привыкнете к машинам. Но ваша беда, что вы привыкли подчиняться безропотно. Разве нельзя потребовать, чтобы, устанавливая машины, не прекращали выпуск сортовой стали, не выгоняли народ на улицу? Разве все это нельзя объяснить представителям ком-

паний? — Тут Иван Кузьмич поднялся и заговорил с чувством. — Они люди новые, действуют, как им велено, здесь ничего не знают. Разве нельзя настоять на своем? Я хочу сказать, что у вас есть любовь к делу. А что скажет хозяин — вы подчиняетесь. Да знаете ли, вы простите, что так обращаюсь к вам... не знаю вашего имени-отчества.

— Гурьяном прозываюсь, — нехотя ответил Гурьяныч.

— А по батюшке?

— Да... Иванычем... — соврал мужик.

— Вы сам, конечно, заводской рабочий?

— Да нет, я в полесовщиках теперь.

— Ну, это неважно, я не к тому... Ну так вот, Гурьян Иваныч, я хочу сказать, что при той привычке к заводскому труду, что есть у здешних людей, при тех навыках и при наших запасах руды и леса здесь можно выплавлять множество железа, можно свои машины делать из здешней стали, как где-нибудь в Германии. Разве здешних рабочих нельзя научить делать сложные машины? Конечно, все это не сразу, нужны хорошие дороги, общее развитие промышленности.

— Кто ж нас, барин, темных послушает, — перебил его дедушка Филат.

— Кто послушает? Вы теперь не крепостные, а свободные люди. Заставьте уважать себя.

— Это только так говорится, — отозвался Филат. — При крепостном-то спокойнее было. А теперь машинами загадят весь завод. Мы и без машин сколько надо произвели бы, постарались.

— Вот видишь, как он рассуждает, — сказал Пастухов, обращаясь к Гурьянычу. — А разве нельзя добиться, чтобы не увольняли рабочих, чтобы не урезали запашки, чтобы не увеличили плату? Вот стойте же вы крепко, когда вас хотят утеснить с землей? Ведь машиной и хозяину выгодней работать и рабочему можно больше платить. Надо уметь за себя говорить. Вот рассказывают, что еще при крепостном, если были недовольны чем-нибудь, то говорили: баста...

— А что, барин, когда сход? — спросил Волков.

— Да, говорят, скоро будет, — ответил учитель. — Управляющий грозит, что взыщет деньги за землю...

Никто не ответил, хотя учитель явно был за рабочих. Чеканников и Загребин поднялись.

— Ну, нам пора! — сказал Волков. — Мы мимо ехали, утром на работу.

— Завод доламывать, — добавил Чеканников.

Рабочие взяли ружья и вышли. Все трое приехали на курень верхами. В здешних горных местах все хорошо ездили на лошадях.

Когда гости уехали, в землянке все улеглись и свет погасили. Гурьян вдруг спросил Пастухова, не может ли он рассказать, какие видел заводы.

Учитель начал рассказывать про Москву и Петербург, потом про металлургию в Германии и Англии, перешел на рабочее движение, заговорил о забастовках. Сказал, что вообще со временем все заводы, леса и земли перейдут в собственность народа.

Тут дед Филат не выдержал, слез с лавки и зажег лучину. Пошли споры и расспросы.

— Ведь хозяева меняются, а завод и вы, его жители, не меняетесь. Завод-то, по сути дела, ваш, а не хозяйский.

Утром лил дождь. Дорога размокла. Варвара предложила довести Пастухова на телеге.

— Конечно, — обрадовался тот. — Кто-нибудь из мужиков поедет?

— Да нет уж, я сама.

— Зачем же, у тебя теперь есть люди?

— Нет уж, пусть сидят дома, — уклончиво ответила Варвара. — Мне надо самой...

Поехали в телеге. Дорога шла по размокшей глине, между стен векового соснового леса. Дождь шумел, и ветер волнами ходил в вершинах сосен.

— Славный мужик этот Гурьян Иваныч, — сказал Пастухов.

Он заметил вчера, что рабочие разговаривают с ним так почтительно, словно он старший. Учитель решил, что это в самом деле полесовщик, которого бояться.

— Неужто славный? — взмахнувши кнутом, спросила Варвара через некоторое время.

— Да, и не глупый! Откуда он?

Варвара отвернулась, не отвечая. Она была тронута таким отзывом. Ей очень хотелось поговорить о Гурьяне.

Пастухову же показалось, что она не хочет разговаривать: может быть, тут какие-то личные дела причиной. Однако он не заметил вчера никаких особенных любезностей в обращении ее с этим человеком.

— Ведь это, барин, Гурьяныч, — вдруг молвила Варвара, оборачиваясь, тоном печального признания, и во взгляде ее выражена была и тревога и надежда. — Он не Гурьян Иваныч, а Гурьян Гурьяныч.

Она знала Пастухова и его жену, верила, как своему, родному человеку.

— Гурьяныч? — Пастухов даже поперхнулся. Как же это он сам не догадался, что с ним толковал бывший кричный мастер! — А я сначала принял его за твоего рабочего.

— Нет, он не рабочий... Переночует да уйдет, — ответила Варвара, не желавшая признаваться, что Гурьян живет у нее. — А может, и задержится. Будет работать, так пусть живет, — добавила она, вдруг решивши, что нечего скрываться, тем более от такого человека, как Иван Кузьмич. — Ведь они о машинах не спорят. Они землю не хотят брать; боятся, что народ опять крепостным станет, попадет под помещика, если землю возьмет.

Пастухов подумал, что все-таки рабочие ему не доверяют, считают его чужим, барином, хотя он всей душой за них и учит их детей. «Это беда русского народа, не умеет друга от врага отличить, — думал он. — Ведь у меня отец тоже был простой мужик и тоже спорил с помещиком. Разве я стал барином оттого, что получил образование? Самую образованность считают признаком барства! Как тут быть, как добиваться доверия?»

— Неужели опять попадет народ под помещика, если землю примут? — спросила Варвара. — Как, Иван Кузьмич?

— Нет, уж крепостному не бывать. Но, вообще-то говоря, они правы по-своему. Зачем попадать в зависимость, окажутся потом в вечном долгу.

— Как ты говоришь, Иван Кузьмич, что крепостному не бывать? А вот у нас люди толкуют другое, что такие законы не зря.

Пастухов замечал, что народ как-то еще не совсем верит в свою «волю», считает «манифест» новым подвохом, обманом. «Привыкли, что все новые и новые кандалы на них хотят надеть», — думал учитель.

— Гурьяныч — бывалый человек, он много горя повидал, — молвила Варвара и взмахнула кнутом.

Глава 32

В ДОМЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО

Жалобщиков приняли в кабинете. Горный инспектор Иванов — лет пятидесяти, в зеленоватом мундире с бархатным воротником, с лысиной в темных волосах, с полной физиономией и с маленькими, немного заплывшими глазами, смотрел строго и внимательно и казался докой.

Тут же инженер Верб — управляющий, великан с рыжеватыми жесткими бровями, широким, сильным лицом, с тяжелым нависшим лбом, сильными челюстями.

Оказалось, что жалобе дали ход. Губернатор послал инспектора на горные заводы, чтобы все обследовать и представить отчет.

Инспектор записал имена и фамилии жалобщиков и род их занятий и попросил рассказать, в чем суть их недовольства, так как из жалобы это не представляется ясным.

Верб держал сигару в замершей руке. Лицо его было совершенно спокойно, хотя эти разговоры, сама жалоба и приезд инспектора были неожиданностью. Он полагал, что волнения рабочих неизбежны в подобных случаях, когда происходит переоборудование завода, и что нечего церемониться там, где работают допотопными методами. Однако он достаточно благоразумен и готов послушать, не скажут ли жалобщики чего-либо основательного, что стоит принять во внимание. Ведь эти люди знали местные условия; конечно, у них нет широкого взгляда, но они, быть может, пригодятся еще. Однако выказывать своего интереса к ним или идти на какие-либо уступки управляющий не желал уже по одному тому, что действия свои считал совершенно правильными.

Молодой купец Булавин производил и на Верба и на Иванова приятное впечатление. Они и приняли его гораздо любезнее, чем учителя и Рябова, и, обращаясь, называли его господином Булавиным. Но Захар стоял на своем твердо. Он сказал, что жалоба писана не зря, что в ней все сказано ясно, что нельзя заводских крестьян лишать покосов и запашек: они могут уйти. А ведь завод имеет превосходных рабочих, родившихся и выросших тут, мастерство которых известно.

— России надо сохранять все, что воспитано в народе веками, — заговорил Пастухов, — а не уничтожать при каждом историческом повороте. Наше презрение к своему народу и к навыкам его труда граничит с варварством. Образованный, патриотически настроенный хозяин не может желать, чтобы его родной народ забыл свое мастерство.

Тут Иванов сильно смутился, когда Иван Кузьмич помянул про Россию и про родной народ и про патриотически настроенного хозяина, так как не знал, русский ли Верб, и не обидится ли он. Уж очень резко сказал Пастухов и, кажется, в пику управляющему.

— Ох, уж эти навыки! — произнес Верб, не шевеля рукой с дымящейся сигарой. Он знал, что здесь следует быть осторожным; уральцы оказывались очень ревнивыми ко всему своему. «Жаль, конечно, что в век машин приходилось посягать на все их здешние святыни. Но ведь и крестили Русь насильно. Потом эти же рабочие и дети их будут благодарны за переоборудование завода»

— Если смотреть в будущее, то на Урале со временем

не может не возникнуть грандиозного центра русской металлургии и машиностроения, — продолжал учитель.

— Зачем так далеко в будущее заглядывать, — строго перебил его Верб, — когда мы сейчас не можем обойтись с самой простой машиной без привозных рабочих? Ведь вы знаете, что я привез пять человек немцев, без которых работать нынче не может ни одна фабрика.

— Прекрасно, что вы везете машины! Пусть приедут с ними и немцы, знающие работу машин. Учите здешних рабочих обращаться с машинами, но не прекращайте выпуска лучших сортов стали.

— Так мы и будем учить. А сорта стали определяет рынок!

— Для уральской сортовой стали нет рынка, — заметил Иванов.

— Как нет рынка?! — почти вскричал возмущенный Пастухов.

Судя по этому замечанию, Булавин понял, что Иванов уже толковал с управляющим обо всех делах подробно и усвоил его взгляд. Захар решил, что инспектору надо ответить то же самое, что сказано было Вербу в лавке.

— Азия, о которой вы толкуете, — любезно заметил Верб, — берет теперь сталь из Западной Европы. Да и это слишком высокая материя для такого простого разговора.

— Европейская машинная сталь лучше! — подтвердил Иванов, подымая палец кверху. — Мы должны не стыдяться признаться в этом! Нам надо учиться хоть кровлю катать современными способами.

Когда жалобщиков отпустили, управляющий заметил:

— Личности с великими фантазиями!

А под вечер на завод, проездом из Оренбурга, приехали заводчики — Зверев и Хэнтер. Вечером вчетвером сидели за карточным столиком.

У Хэнтера и Зверева дела, казалось бы, шли на лад, и они рассчитывали в скором времени начать постройку нового медеплавильного завода. Но были две помехи: дошли слухи о предстоящей войне России с Турцией и о том, что двое лазутчиков с Востока пытались вызвать среди башкир волнения. Хэнтер допускал, что война возможна, но полагал, что Турция пойдет на нее только в случае поддержки со стороны западных держав. Если были посланы турецкие эмиссары, то это признак, что Турция чувствует силу за своей спиной. Ему представлялось, что грядущие события будут чем-то вроде Севастопольской кампании, с той разницей, что союзники не станут сражаться сами, а будут действовать за спиной турок.

Конечно, он понимал, что двое «святых» среди миллионов русских мусульман — мелочь, капля в море. Но эта мелочь была очень значительная, отзвук вполне реальный больших международных событий.

Хэнтер надеялся, что в Петербурге все узнает.

— Но почему против англичан постоянно всюду восстания, а против русских не может быть? — спросил Хэнтер. Англичане, имевшие торговые дела в восточной части России, в разговорах между собой иногда объясняли умение русских сживаться с другими народами азиатизмом простого русского народа.

— А что у вас тут за события произошли? — спрашивал Владимир Николаевич Зверев управляющего заводом.

— Жалобу написали на мои действия, не успел я приехать, а уже донос, — ответил управляющий.

— Кто же осмелился?

— Купец, рабочий и учитель. Вот вам уже первое действие, наподобие этаким забастовки.

— Ну и как, вы считаетесь с их требованиями? — улыбнулся Зверев.

— О нет, мы дикое вододействуемое колесо остановили, а этих знаменитых мастеров поставим на полезную работу — лить чугуны и чайники!

Долго играли в карты, потом пили и еще разговаривали.

Глава 33

ЖЕНСКИЙ УМ

Танюша в зипунишке, босая, несмотря на сильный дождь, прибежала на «кучу», принесла чугуны с блинами и крынку сметаны. Белобрысая, с тонким, вздернутым, покрасневшим носом, сопливая, с красными от холода глазами, уселась она на корточки, глядя, как мужики, расположившись в балаганце, уплетают материны блины. Варвара — славная хозяйка, иногда балует мужиков, пошлет им, иззябшим и измокшим, прямо на «кучу» что-нибудь вкусное сверх обычных порций.

— Приду пособлять? — спросила девочка у Гурьяна, когда чугуны и крынка опустели.

Таня любила помогать Гурьянычу.

Как-то в воскресенье зашел разговор, что нынче осень поздняя и теплая. Орехов поспело много. Степан уже ходил по орехи и видел, что до сих пор еще есть грибы.

— А ты по грибы что не ходишь? — спросил тогда Гурьян у Тани.

— Спужаюсь! — отлетела та, глядя на него бой.

— Чего же спужаешься?

— Разбойничков!

Гурьян пошел в лес. Танюша упросилась с ним. Она не бывала далеко от куреня и от Гурьяныча в лесу отходить боялась. Девочка чуть не заплакала, когда мужик залез на высокий кедр и совсем скрылся из глаз. Только шишки сыпались сверху.

— Дядя-я-я!.. — кричала Таня.

Гурьян поскидал шишки, слез.

— Я думал, пришел медведь... ты так заревела.

— Не-е...

— Не боишься медведя?

— Разбойничков боюсь.

Похолодало. Гурьян снял свой пиджак, накинул девочке на плечи. Мать отпустила ее налегке.

Гурьян помнил, как сам был маленький, как мать его ласкала и водила с собой. И в этом ребенке видел он сейчас свое детство. Таня ему мила, и жаль было, что своих нет... Но он уже любил ее, как свою.

— Тепло теперь?

— Тепло... А страшные разбойнички? Ты видел когда-нибудь?

Гурьяныч вздохнул.

«Что тут ей ответишь?» — подумал он.

— Эх, Таня, Таня!.. — молвил мужик.

— А-а! Знаю!.. Сам боишься! — с детским злорадством воскликнула смышленная девочка. — Знаю, знаю!.. Вот, далеко в лесу не ходи.

— Они в лесу? — спросил Гурьян.

— Там, — показывая пальцем в чашу, со страхом вымолвила девочка, и лицо ее, казалось, стало еще бледнее. — С тобой-то не боюсь, — откровенно призналась она.

— С тобой-то не боюсь! — как эхо отозвался Гурьяныч. — Эх, дитя!..

— Ты чего дразнишься?

— Чем же это я дразнюсь?

— Для че мне рожи строишь?

Гурьяныч подумал, что в самом деле, видно, рожа у него оглупела от таких разговоров, если кажется, что он дразнится.

— Вот поди погляди, на кедрине-то белка. Смотри-ка! Эх они играют!

Танюша подбежала к дереву.

Вдруг в тайге что-то хрустнуло. Таня ссутулилась и

пустилась бегом обратно к Гурьянычу, прыгая в своих лан-тишках через сломы и замшелые валеги.

— Страх! — воскликнула она, хватая его за руку и сразу успокаиваясь от этого, но еще с тревогой поглядывая в лес.

— Там стояк свалился.

— Да, толкуй, стояк... Нет уж, кто-то ходит... Дядя, ты спаси меня. Мамка тебе блинов пожарит еще.

— Не бойся, не бойся. Ведь разбойников сейчас нет в лесу, им холодно. А тебе не жалко их? Они ведь бродят, от всех скрываются, им блинов никто не принесет.

Таня на этот раз не слушала: дядя явно глупости говорил.

— Ты вот дядя Гурьян. А есть Гурьяныч — разбойник, — молвила девочка, подходя к дому. Вопрос этот долго ее занимал, и, наконец, она решила все высказать. — Мамка все боялась говорила: Гурьяныч в лесу ходит. А как ты с дядей Степой пришел, она не боится больше.

Таня поспешила к материнской землянке, таща за собой Гурьяна за руку.

Тот принес полмешка орехов.

— Да вот только далеко в лес заходить боялись, — сказал он, обращаясь к Варваре. — Сказывают, разбойники там... Все от них ко мне прижималась, чтобы не тронули.

* *
*

Длинные березовые поленья Гурьян укладывал в яму, стенки которой черны от смолы.

Вокруг тишина, безмолвны огромные деревья. Налетит откуда-то ветер, лес зашумит, и всколыхнется душа, откроются в ней старые раны, вспомнится загубленная любовь, обиды, бегство, скитания... А ведь жизнь могла сложиться по-другому... Могла быть и у него семья. В шуме леса для души его, после долгих скитаний в степях, что-то родное, до боли приятное.

Сучковатые белые отрезки березовых стволов, мокрые от осеннего дождя, колотые надвое и некоторые поменьше, и береза, измокшая дочерна, красные в разрезе деревья лиственниц, тяжелые, как чушки железа, корявые дубы — много разного леса проходит через его руки. Гурьян соскучился о лесах, каждое полено ему, как родное. Так и не привык он к степи, хоть и долго бродил и по-своему там тоже хорошо: простор, воля...

Так бы и жег лес всю жизнь и выбирал бы потом угарный уголь из открытой ямы.

А вечером Варвара нанесет воды, натопит баню, помоешься и в чистой рубахе — на ужин. Хозяйка всегда ждет, заботится и о Степке и о Гурьяне.

Мужик привык к работе на курене и к новой жизни.

Но его тревожило все происходившее на заводе. Приезжали к нему советоваться старые друзья. Тут, в Варваринной землянке на лесном курене, было место встреч.

«Может быть, мне в самом деле пойти да объявиться?»

Хоть и здоров Гурьян и крепок, но как каждый, кого долго преследовали, склонен к недоверию. Выйдешь к полицейским — схватят и скажут, сами поймали.

«Надо с Варварой посоветоваться, — решил он. — Женский ум — лучше всяких дум».

Степка уехал в тот день на завод узнавать, когда сходка. Вечером Филат и Гурьяныч подсели к выскобленному ножом и добела вымытому столу, на досках которого бугорками, отполированные мойкой и скребкой, темные сучки. Загремела заслонка на шестке, и на ухвате у хозяйки очутился огромный чугунок со щами, а потом красный горшок с кашей.

Руки Варвары белы, как молоко, не толсты в запястье, но полны в локте, сильны и красивы. И лицо полное, румяное, тугое и живое. Она быстра на работу, как и на догадку. Обтерла чугунок, поставила на подставку — и на стол. Мужики по очереди хлебали самодельными деревянными ложками. На дворе дождь, ветер. А тут тихо, тепло, пахнет избой, детство напоминает. Лавки, стол — все бедно, не белено. Но сытно и уютно. А печь бела, чиста. Светло, даже на землянку не походит. Кто долго ходил по степям, спал в кибитках, тому нет ничего отраднее.

— Мы с мамой видели крашенные ложки у Булавиных в магазине, — сказала девочка.

— Вот поеду на завод, куплю тебе такую ложку, — говорит Гурьяныч. — А что Варвара Никитична, может, мне выйти да объявиться, — вдруг обращается он к хозяйке.

Заметно было, как вспыхнула Варвара, но смолчала.

Давно она замечала, что Гурьяну не по себе. Смутно догадывалась, в чем тут причина, но не смела верить и только все сильнее жалела его. И вот он сказал, что хочет выйти и объявиться. Верно, надеется, что повинную голову меч не сечет.

— Лади, не время нынче-то, — возразила Варвара.

— Это, конечно, нынче не время! — согласился Гурьян.

Пообедав, мужики пошли на «кучу». А вечером опять сидели у чугуна.

— Надоело мне тут! — вдруг сказала Варвара. — Так бы и ушла, куда глаза глядят.

Гурьян удивился. До сих пор казалось ему, что Варвара так любила свой курень, такой славной была хозяйкой. Без нее тут все сгинет, заглохнет. Она и дело знает не хуже мужика.

— Ушла бы, ей-богу, ушла, — продолжала хозяйка.

Потом, присев на лавку и ласково глядя на Гурьяныча, стала говорить, что вот, мол, в Сибири места очень хороши и люди селятся там, кто где захочет, и никто там не спрашивает, кто пришел и откуда, и кем был раньше. До этого нет никому никакого дела. Нет там господ, а чиновники редки, и есть места, куда никакой чиновник не доберется.

Гурьян еще не понял, не вдумался как следует, зачем Варвара толкует ему про Сибирь, как вдруг послышалось хлюпанье копыт по лужам.

— Степка вернулся, — сказал дед, поднявши голову и вслушиваясь.

Захлюпали сапоги. Дверь распахнулась. Рыжий вошел.

— Ну, тетя...

— Ты что, как с цепи сорвался? — сердито заметил дед. — Вошел, лба не перекрестишь.

— На заводе ждут, становой с казаками едет, — объявил Степка.

— С казаками? — меняясь в лице, проговорила Варвара.

— Эх!.. — молвил Гурьяныч, взглянул на Варвару, на милое, доброе, но испуганное сейчас лицо ее.

— Сход будет, сказывают. А Загребин поссорился с мастером, теперь места не найдет, рвет и мечет! Его, говорят, с завода выгнать хотят.

В тот же вечер Гурьян и Степка отправились на завод.

Глава 34

ВСТРЕЧА

В воскресенье Настасья Булавина пошла на базар и — по погоде — надела кофту на меху и новую оренбургскую шаль.

Не успел Захар собраться в магазин, как она возвратилась.

— Что так быстро? — спросил муж.

Ему показалось, что она встревожена. Шаль ее небрежно накинута на плечи.

— Ох, Захарушка, плоха твоя жена! — сказала Настя.

— Что с тобой?

— Я сейчас Гурьяна встретила...

— Ну и что он? Дозволил себе что-нибудь? — встревожился Булавин.

— Нет... Он-то ничего не дозволил.

— Ну, так что же тогда? И бог с ним, нам с тобой какое до него дело?

— Нет, Захарушка, не говори.

— Будет, будет тебе шутить!

Как это жена, которая так его любит, могла взволноваться встречей с мужиком, которого еще девушкой отвергла, предпочла теперешнего мужа. Иначе, как в шутку, Захар это не мог принять. Но тут же мелькнуло у него подозрение, — не осмелился ли этот Гурьян сказать Настасье что-либо, и сразу показалось ему, что Гурьян человек нечистый. Вмиг насторожился Захар и готов был превратиться из человека, сочувствовавшего Гурьяну, в его врага.

— Он, может, сделал что худое? Ты не бойся, скажи правду. За такие дела спускать не следует. На тебе лица нет.

— Да нет, ничего худого...

— Так что же?

Настасья принялась хлопотать у печи.

Захар, надевая картуза, стоял у двери.

— Какой он стал! — сказала Настя, укладывая дрова в печь и глядя туда.

— Да что он, сдержил, что ль, тебе, что ты такая напуганная?

— Он-то? Нет! Он меня, кажется, и не заметил. Разве ему дело до меня...

— Что же он, в бархате, что ль?

— Нет, не в бархате.

— Да в чем же перемена?

— Я и сама не знаю, в чем...

Захар решил, что Настя блажит, может быть, дразнится. Она иногда, читая книги, плакала о людях выдуманных, как о живых. «Так она и Гурьяна на день, на два выдумает», — решил Захар. Он надел картуз, попрощался с женой, как с дитятей, и пошел в свой магазин. Там ждали его серьезные дела, разговоры со знакомыми о том, как теперь быть, что делать, чтобы не погиб заводской народ и мастерство бы не иссякло.

А Насте казалось, что душа ее горит, в ней занимается огненная буря. Гурьян стал хорош, недаром все девки в заводе, как увидели его, с ума сошли. А был он одно время жалкий, ходил, как убитый...

Захар пришел к обеду. Хотя он и простился с женой, как

с дитятей, но она сильно его озадачила, и дела заводские и те важные разговоры о народных судьбах, которые он собирался вести в магазине, вылетели в этот день из его головы. Придя домой, заметил он, что жена все еще не в себе.

Захар после обеда в магазин не пошел, а читал ей вслух книгу. Она долго слушала и вдруг сказала задумчиво:

— А что, Захарушка, может, мне надо было не твоей женой быть, а Гурьяна?

Захар поразился, как у нее язык поворачивается так шутить, и закрыл книгу.

— Может, я слушалась людей, а не сердца? А, Захарушка? — подошла Настя к мужу, глядя в глаза его взором чистым и печальным.

Не принимал он слов ее всерьез, но в глубине души его шевельнулось что-то такое, чего он до сих пор не знал, не слышал в себе, — пока несильная, но острая боль.

«А ну, как все правда, что она говорит?» — подумал он, но постарался отогнать прочь эту мысль.

— Ты сам меня, Захарушка, грамоте выучил. Вот я и думаю...

— Будет тебе... Что ты?

Захар сидел на лавке, недоумевая, что случилось.

Ждал Захар, что жена вот-вот переменится, станет ласкова по-прежнему. Она вышла. Слышно было, как, словно ни в чем не бывало, заговорила она с Феклушей. Потом вернулась, — розовая от холодка, волосы, как лен, сама красивей, чем обычно, стала готовить ужин.

После ужина Настя легла спать. Захар читал про себя. Мысли возвращались к жене.

— Настя, — наконец позвал он.

— Что тебе?

— Вот я думаю — забавница ты.

— Конечно, забавница, — со сна тяжело отвечала жена и, кажется, сразу опять заснула.

Мужнину сердцу стало еще больней, что она согласилась с ним, но не в ясной памяти, а во сне, по привычке подчиняясь его мнению. И в этом увидел он лишь подтверждение того, что говорила она днем.

* *
*

Настя помнила, как росла в степи, каким чудом показался ей завод, когда она сюда впервые приехала. И любопытно было, как тут люди все делают и что у них и как по-

лучается. И вот один из них, самый лучший кричный мастер, стал ее знакомым. Его все страшились, а ей он подчинился сразу же и — стыдно сравнить — был, как покорная собака. Познакомились в ясный день, на людях, в березовой роще, когда все, страшась Гурьяна, разбежались, а Настя не боялась ни его, ни копоти, ни грязи на его рубахе. В ней-то и была для нее, степнячки, вся прелесть, признак того, что он оттуда, из-за реки, где домны и кричные молоты, где люди, как боги, делают чудеса с огнем и железом.

Насте казалось теперь, что она не понимала тогда ничего. А пришел Булавин, ей доказали, что лучшего желать не надо. Он, улыбаясь и как бы сам не ведая, что творит, шутя, своими деньгами, как истинный богач, задушил все. Насте завидовали, ее хвалили, уверяли, как она счастлива. Она поверила. Ей было хорошо, жизнь шла, как за каменной стеной, без волнений и забот, все было, все само шло в руки. Гурьян ходил, страдал. Напоказ всему селению жег стены ее дома своими глазами. Это льстило ей.

Но вот минули годы. Развился ум в Настасье, достаток давал ей время подумать, книги учили многому, умный муж не таил от нее того, что сам понимал, смело судил о жизни людей. А про Гурьяна много говорили. И вот теперь, в беде не забыл он свой завод, пришел, живет в лесу, помогает людям. Ей теперь казалось, что все это походит на вычитанное в книгах.

Глава 35

В КАБАКЕ

А Гурьян со Степкой, подъехав в этот день к одному из кабаков, слезли с лошадей, привязали их к перилам почерневшего резного крыльца и вошли в помещение. В задымленной табукурами низкой комнате за непокрытыми тесовыми столами пили заводские.

— Здорово живешь, Павел Митрич, — подошел Гурьян к целовальнику.

— Поди, пожалуй... Эх, ты! — изумился сиделец, разбитной малый с намавленной головой и вороватыми глазами. — Давненько, давненько не бывал... Откуда бог несет?

— Мимо ехал, да на дым завернул... А где дым, там и огонь. Подай косушку водки да пошабашить собери... Грибков не забудь, — присел Гурьяныч.

— Мокро в урмане-то? А скоро уж мороз.

— Никола в избу загонит, да уж не первую волку зиму зимовать.

Разговоры в кабаке затихли.

— Хлеб да соль, Никитка, — обратился Гурьяныч к одному из заводских. — Али не узнал?

— Пошто не узнал? Помню, помню, — поскреб черноглазый скуластый мужик в затылке. — Здорово, мастер... Каким ветром занесло?

— Да все тем же. А как у вас?

— У нас теперь строгое обращение произошло.

Никита подсел к Гурьянычу. Ударили по рукам. Подошли рабочие от других столов.

— Сход завтра, становой приехал.

— Как же так?

— Да так!..

— А как ты?

— А что? Станового ему ли бояться? — сказал кто-то из рабочих.

— Ты на руднике живешь? — спросил Никита.

— А ты откуда знаешь?

— Да уж слышали. Слухом земля полнится. Все робишь?

— Роблю, — ответил Гурьян.

Его товарищи, кричные рабочие, распустили слух, что живет он под рудником совсем в другой стороне, чтобы отвести подозрение от Варвары.

— Видно, позабыл свое огненное заведение. Как тебя к молоту, не тянет?

— Мы, брат, слышали, ты к родным приходил, да опять в лес обернулся, — сказал один из сидевших.

— Мало ли чего врут...

— Это верно, людям делать нечего, они врут, — подтвердил Никита. — А вот работу прекратим на заводе, тогда всю зиму сказки слушай. Да по кабакам шляться будем, пока не пропьемся. Знаешь, как врут! Будто родные в дом тебя не пустили, а ты им «красного петуха» пообещал.

— Чего придумают, — молвил мастер.

— И вот, слышать, ты с Могусюмом поссорился?

Гурьян смолчал.

— Это уж не врут, это правду говорят, — продолжал рабочий. — Теперь Могусюмке в завод стыдно глаза показывать. Люди уж слышали, как он за мусульманскую веру хотел воевать и тебя зарезать. Верно, убить тебя хотели?

Вранье!

— Скажи, как врут! А говорят, говорят, брат, продолжал Никита, видно не веря Гурьянычу, — будто у них мечта заводы срыть.

В кабак ввалилась толпа заводских.

— Павел Митрич, почтеньице! — ломали они шапки, кланяясь сидельцу. — Под крест, Митрич!

— Не могу-с, — решительно отрубил кабатчик. — С великой бы душой, но не могу-с, нынче в долг не даем-с. Надежды на вас нет. Как компания, управление то есть, так и мы...

— Студено на дворе-то, пообогреться бы...

— На плавильную печь греться-то ступай.

— Да будет тебе жаться, черта ли ты боишься? Вон она, голубушка, лежит. Сымай — перекрестим... — Мужик кивнул на толстую книгу, лежащую на шкафу.

— Никак не могу-с. Васет-то немец прогнал мужиков с рудни, а они по записи в долгу-с. Ищи, значит, ветра в поле? Много с ваших крестов разживешься. Крестами-то вы богаты, да совести нет. Две-то черты на бумаге перекрестить долго ли, а как отдача?

— Так не дашь?

— Нет-с, конец долгам.

— Смотри, худо будет!.. — обозлился беззубый мужик с всклооченной бороденкой.

— Не страшай... Стражник-то у шабров* сидит, он тебя за буянство живо заворотит...

— Ах ты, язви тебя! Пусти-ка, ребята...

Рабочие сдерживали его.

— Компанию желаю угостить, а он жалиться! Кому так и под крест, да и на слово. А тут деньги вперед. С немца пример брать желаешь? А в вино-то зелья медного либо табаку подмешаешь...

— Ты побасенки-то о зелье оставь, — загорячился Митрич.

— Найдем на тебя управу. Расскажем, как на погребе воду в бочата льете, — разошелся мужичонка. — Знаем, откуда плисовые-то штаны добываются... У-у, ироды, до самого царя дойдем!..

— Порфишка, не бунтуй! — окликнул его Гурьяныч. Заводской обернулся.

— Бра-атцы, Гурьяныч! — закричал он, кидаясь к мастеру.

— Вовсе ты, Порфишка, беззубый стал, — молвил Гурьян. — Здорово!

— Здорово, брат!..

— А ты слышал, — обратился Гурьяныч к кабатчику, — как Никола-летний на праздник комаров зазывал?

Смысл этого вопроса был темен и, как показалось сидельцу, таил угрозу. Гурьяна побаивались, его искала полиция, он был неуловим, а вот вдруг вышел и открыто сидит

* Ш а б р ы — соседи.

в кабаке. Да еще в такое время, когда становой на заводе. И не боится. Видно, у него сила.

Митрич смутился и стих.

— Эх, мастер, ломают кричную! — заговорил серьезно Порфишка. — Да ты, поди, знаешь все?

— Откуда мне знать?

— Говорят, у нас, мол, железо плохое, этаким-то способом много хорошего железа не выкуешь, мол, стыдно так работать, когда везде машины. Нам, говорит, сортовой стали вашей не надо. Такое наделают без вас, и нечего лезть в это дело. Теперь, говорит, железо в степь надо везти, сортовой стали там не надо, а что попроще. Мол, теперь в орде переселенцы живут, да и самим ордынцам русское железо и чугун нужны. Да ты слыхал, об этом уже жалобу писали?

— Не слыхал.

— Писали... Не мы, грамотные-то есть: Ванька Рябов, кричный мастер, купец Захар Андреич да школьный учитель Пастухов.

— Учитель?

— Как же! Они, брат, все прописали и отправили в Петербург. Булавин у нас школу открыл, исхлопотал в городе, там ребятишек учат, учитель приехал, все ходит на завод и любит беседовать с нашим братом. Так жалоба обратно пришла, и дали им по шее!

Все засмеялись.

— Митрич, поди-ка сюда, — подозвал Гурьяныч. — Поддай на всех. — Он отдал кабатчику несколько серебряных монет.

— Дай бог тебе здоровья, сию минуточку-с подам. Сколько вас? Пять, шесть... А Порфишку-то считать?

— Сказано, на всех.

— Так точно-с!

Митрич побежал, злобно усмехнувшись на Порфирия. Тот не обращал внимания и снова заговорил.

— Виданное ли дело, чтобы коренным заводским хрестьянам в огненном заведении дела не нашлось и чтоб земли не давали? Родились, выросли, всю жизнь робили при железном заводе, а тут на тебе!.. Нет, это нарочно! Хотят все погубить помещики, за то что нас от них отпустили. Кругом урман, заводов поблизости нет, от избы да от хозяйства, мол, далеко не уйдешь, вот, мол, и опять закабалишься. В поселке какое рукомесло! Кто на курень, кто в Низовку батрачить. Нынче хлеба убрали и сидят без занятия. Вон Никиткин брательник ружье купил, белковать вышел. Которые бирюльки поналадили, пуд хлеба в котомку, лямки

за плечи, да и айда за Урал. Народ волнуется, но закона принимать не хочет.

— Немец свои порядки завел, — заговорили рабочие. — Тебе, Степка, ловко обошлось. Вовремя в урман сбежал, а то бы он тебя в город, в тюрьму бы за шинное-то железо.

— Нынче и караулят не по-прежнему...

— Лоботрясов набрал... Жалованье платит...

— Пожалуйте, господа хорошие, — подал Митрич вино.

— Ну, Гурьяныч, за встречу!

— Будь здоров!

— Здравствуй, стаканчик, прощай, винцо, — усмехнулся Порфишка. — Народное-то утешенье.

— При машинах немцы-мастера приехали, — снова заговорил он, опрокинув стаканчик. — Не допускают нас к машинам-то.

— Дураков и в церкви бьют, — выпалил Рыжий. — Как дедушка наш говорил: мол, у Фили пили и Филю били...

— Ну, а что немцы? Где они стоят? — спросил Гурьян.

— По людям их поставили.

— У меня один живет, — сказал Никита, — славный такой. Мы с ним вместе каждое воскресенье сюда, к Пал Митричу, заходим. Много не пьет. Выпьет три рюмки. Аккуратный такой и работающий. Зовут Ганец, по-нашему балакать учится.

Ганс, которого Никита звал Ганец, очень нравился ему. Немец был белокур, чист лицом, рослый, старательный, очень чистоплотный. Но когда Никита его парил раз в бане — еле вытерпел, потом едва отдышался.

Немец этот уж жаловался Никите, что он сирота и что в Германии у него родных нет. А у Никиты дочь. Люди ругали немцев, а Никите нравилось, что они сюда приехали. Жена его уж узнавала, сколько им платят.

— «Верховой-то» Запевкин у нас, — рассказывал Порфишка, обращаясь к Гурьянычу. — Вражек твой.

— Маята, а не жизнь, — засипел худой бородач. — Пржней работы нет. Скажи, как нам, старикам, теперь, когда парни баклуши бьют, мастерству не обучаются. Вот, скажи, Булавин открыл школу и будут все грамотеи, а работать разучатся. Что же, они жалобы писать будут, а сами с голоду сдохнут! Вот тебе машины! Каково нам это?

— А вот скажи, — спросил Никита, сверля бывшего мастера своими черными глазами, — что в Каслях было?

Он давно хотел спросить об этом, но не решался.

— На Каслинском заводе был такой же спор. Народ стоял на своем. Рабочим платы за урок прибавили, — ответил Гурьян. — Никто не выдал. Завтра у вас сход?

— Завтра.

— В Каслях все с землей остались. Пока мир стоит крепко, бояться нечего. Управляющий и начальство не могут заставить нас платить. Если хотят, чтобы отработывали за землю, пусть платят больше, чтобы с платы нам прокормиться. А то и земли никакой не надо.

— Как же без земли жить? — с насмешкой сказал кто-то из рабочих.

— А как же прокормимся, ежели земли не примем?

— Правильно, не надо нам ее! Зачем нам за свое платить! — отозвались другие рабочие.

— Казаки хлеб везут. Я сегодня видел, во двор к Рябову возов десять из станицы привезли.

— А кто его купит?

— Ежели желают поставить машины и сокрушить старое наше заведение, то пусть платят, как при машинах полагается, — продолжал Гурьян, — а земли это не касаемо. Ты, Никита, спроси-ка своего постояльца, как он считает, сколько у них платили на старых местах подручным, так ли, как нам, по два рубля за месяц?

— Я уж спрашивал.

— Ну?

— Несравнимо!

— Законы сюда не доходят! — твердил кабатчик. Он подманил мальчишку и велел, чтобы тот еще принес вина.

Кабатчик Митрич — большой любитель волнующих событий. Здоров, как бык, крепок, любого выкинет из кабака. Времени у него много, на досуге он любит подумать и порассуждать про нужды рабочих. Он всей душой ненавидит заводское начальство и полагает, что нужды рабочих знает лучше, чем они сами, всегда расспрашивает, советует.

Разговор о плате и земле продолжался.

— Дозволь, Гурьян Гурьяныч, от души тебя угостить, — сказал Митрич, когда мальчик принес железное блюдо с налитыми стаканами. — Дай поцелую тебя! Подь на крыльцо, — сказал Митрич мальчику. — Становой поедет, так скорей беги сюда.

— Ну, чтобы никто не выдал! — сказал Порфишка. Все выпили. Митрич сам подал грибы, огурцы, хлеб.

— А кто выдаст?

— Того похвалим! — ответил Гурьян.

Все смолкли, знали, что это не шутка.

Гурьяна снова попросили рассказать про Лысьву и про Касли и как там народ держался и не уступал, какие были

толки и о чем спорили, как и там старались разъединить мир, подкупали хороших мастеров, пороли зачинщиков.

Пришел Загребин, стал кричать, ругать управляющего, бить кулаком по столу.

Гурьяныч не хотел засиживаться в кабаке. Митрич взял с него полцены. Рабочие еще пили.

Гурьян вышел из кабака вместе со Степкой. Отвязавши лошадей и не садясь верхами, пошли по улице, ведя лошадей на поводу.

Вечерело.

Прошли мимо Булавиных. Сегодня мельком, после долгих лет разлуки, увидел Гурьян Настю. Но не знал, нарочно ли она не взглянула или не заметила.

Глава 36

СХОД

— Сколько воронья налетело, — проходя, громко сказал Колька Загребин, с высоты своего роста осматривая поверх толпы крыльцо волостного правителя, на котором установили стол с зеленым сукном и стулья.

День теплый, осенний. В такой день можно поговорить...

На крыльце те, кого Загребин называл «вороньем»: становой, управляющий, горный инспектор, мировой посредник — мундиры с пуговицами, форменные фуражки. Пришел батюшка отец Никодим. Там же старосты, старшины, на нижних ступенях — полицейские.

Поднялся мировой посредник, гладкий, розовый, невысокий блондин, с благодушной улыбкой, объяснил, кто он, что за должность мирового посредника, сказал, что его обязанность защищать народ и отстаивать права и что благодаря этому справедливость будет соблюдена, что отец наш государь-батюшка Александр Николаевич, защищая народ от произвола и безобразия, повелел входить мировым посредникам во все споры между работодателями и обществом. Он долго разъяснял суть разногласий между заводоуправлением и миром и под конец сказал, что за землю придется платить. Потом он упомянул о земском сборе, потом о налоге государственном и недоимках.

— Это закон, и тут нет никакого подвоха! Какой же может быть подвох, когда это закон государственный? Понятно?

— Не пойму, батюшка, — отозвался бородатый Чеканников

— Что же ты не понимаешь, голубчик Тит Алексеевич? Так, кажется? — оборачиваясь к старосте, тихо и немного смущаясь и краснея, спросил посредник.

— Да за что платить? — продолжал Чеканников. — Что ты нам даешь, батюшка, каков твой товар, за который мы должны платить?

— Земля! — ответил Верб, подымаясь, и снова сел.

— Почему же ты нам ее продаешь? — обратился Чеканников к управляющему.

— Это уж известно, — чуть приподнимаясь, сказал Верб.

— Что же ты шутишь, Тит Алексеевич! — сказал мировой. — Негоже так!

— Какие же шутки! Я спрашиваю при всем мире, вот люди вокруг стоят, за что же платить? Когда товар покупают, так надо посмотреть его.

— За землю, которой вы пользуетесь. Вот если ты возьмешь у соседа коня или телегу, плуг — ты же потом отблагодаришь...

Сход загудел.

— Видишь, они за благодарностью!

— Благодарность!..

— Как же я могу за землю платить? — сняв шапку, закричал низкорослый Волков. — Ведь я ее произвел, отец и дед отняли у леса. Моя она. А ежели не моя, так мне ее не надо.

— Ну, так нельзя! — сказал мировой посредник и стал терпеливо и обстоятельно рассказывать, как по закону взимаются налоги с земли и что такое арендная плата.

— Земля принадлежит помещику, вы на ней живете, ею пользуетесь, ошибочно с вас не удерживали эти годы. Поэтому надо взыскать.

— За землю согласны платить государю, а не помещику, — сказал Загребин. — За господскую платить не будем!

— Почему же? — добродушно и с укоризной спросил мировой посредник.

— Работаем, да еще за землю платить! Если у меня не будет земли, я не прокормлюсь! — живо закричал Загребин. — Как же можно!

— Вот вы говорите, за усадьбу платить, — вышел Порфишка. — Жить-то мне где-то надо? Это несправедливо!

— Чего же ты хочешь?

— Земли не хочу, барин!

— Вот ты нам толковал, теперь дозволю я объясню, —

снова заговорил Чеканников. — Как было при крепостном? Мы сеяли хлеба, а сами с землей были помещичьи. Теперь законом предусмотрено, что человек волен. Но человек и волен, а есть хочет. Воля, а за землю плати!

— Да где эти деньги взять? — закричали в толпе.

— Не заробишь! Накиньте платы!

— Это другой вопрос, — сказал посредник. — С вас после манифеста следовало... — Он стал считать и объяснять, сколько следовало бы взыскать за десятину да за усадьбу. Сказал, что дана была льгота, за это время надо было подумать.

— Время прошло. Вам опять дали льготу. Пора взыскивать. Поймите: это закон велит. Перед законом все равны, все обязаны исполнять, нравится нам или нет. Кто не исполняет, того законом же привлекают к ответственности. За это тюрьма и ссылка. Я не думаю, чтобы у нас дошло дело до этого. Вы православные, должны понять, что это справедливо — платить арендную плату. Отработку на заводе произведете!

— Царю согласны, а помещику нет, — стоял на своем Чеканников.

— У помещиков и так много доходов! Государю — согласны, — подхватил Волков.

— Все согласны!

— А барину не заплатим!

— Так это же бунт, братцы!

— Уж как хочешь!

— Земли нам не надо, — яростно закричал Загребин, обращаясь к толпе. — Сымем землю с притолок, вот будет наша земля!

— Зачем же вы так упорствуете? Если будет бунт, пришлют команду, будут искать зачинщиков, заводить розыск. Скажите им, Иван Кузьмич, они вас послушают, — обратился посредник к Пастухову

Вышел учитель.

— Закон есть закон, — заговорил он — Обойти закон не удастся

— Закон один — дите малое это поймет перебил учителя Волков Человек где-то должен жить, кормиться Мы эту землю расчистили, запахали, тут окоренились Наши деды и прадеды эту землю произвели. А теперь за это же мы должны платить Кому, подумай, Иван Кузьмич? Хозяину! Эти же деньги ему отдай! показывая обеими руками на Верба, выкрикнул Волков Вот скажи, как закон понимать? Земля-то нами добыта, она была пустая На ней

башкиры даже не жили. Может, где народ согласится. А мы такого закона понять не можем.

— Позвольте, я все же скажу, — отозвался учитель.

— Милости просим, батюшка, — раздался голоса. — Послушаем тебя охотно.

— Ведь ныне земля у помещиков. Говорят, что помещики останутся без средств, если отнять у них землю. У нас в России нет такого закона, чтобы подачей голосов от народа можно было закон переменить. У нас царю с землей не приходится советоваться. А помещиков много. Все, что вы тут толкуете, верно: без земли и вам жить нельзя. Вот, в Лысьве, говорят, выбрали ходоков к государю с просьбой изменить закон, дать землю горным рабочим.

Все замерли.

— Пошли ходоки. Но казаки догнали их и выпороли... Поэтому все надо делать с умом, чтобы дошло действительно до самого государя, нашего заступника. Вот я и обращаюсь к мировому посреднику, помогите миру. Суть дела ясна. Обратитесь к государю. Может быть, государь найдет нужным изменить закон.

— Видишь ты, куда он гнет, — сказал Прокоп Собакин своему старому другу Галимову. — Он уж не против ли царя? А сам, верно, помещичий сынок! Вот до чего помещики доходят, что подстрекают народ бунтовать против государя.

— Вот и я говорю, — спокойно продолжал учитель, — если не согласны, надо искать законного решения, чтобы не исполнять закон.

Как это, барин? Закон не исполнять, говоришь? — закричал Прокоп.

— Мы не плательщики! — крикнул Загребин. — Закон не верен! Я землю поливаю потом и платить за нее не буду. Вот смотри, барин, вот сколько нас здесь есть — все мы неплательщики. На том наша вера. Перед богом. Так ты, батюшка Иван Кузьмич, говоришь, что надо менять закон? Так ты говоришь?

Пастухов, как и десятки тысяч русских интеллигентов, пытался заронить в народ семена осознанной свободы, побудить в самой его гуще потребность понимать устройство государства, вызвать в самих людях желание думать о своей судьбе и о судьбе государства. Он и сегодня впервые старался подать мысль рабочим, что государственный строй в России не совершенный и что царь не заступник народа.

Он отлично понимал, что говорить все это дело рискованное.

Посредник сильно смутился и краснел во время его речи. Верб не шелохнулся. Иванов и становой переговаривались

Сход продолжался весь день. Волков устал и уснул под березой, когда пространно говорил Верб. Управляющий закончил. Волков проснулся и стал ему отвечать так, словно слышал всю речь.

— Законы издает государь, — говорил Пастухов, идя со схода в толпе знакомых рабочих. — У него советчики — ваши хозяева. А надо, чтобы царь советовался с народом.

— А ты знаешь, барин, что я тебя сейчас положу здесь, на этом месте, и мне за это ничего не будет, — сказал Собакин, шедший вместе с рабочими.

— Нет, ты меня не положишь, напрасно думаешь! — ответил учитель, но покраснел.

— Ведь ты как будто говоришь за господ и за закон, а на самом деле говоришь против. Мутишь?

— Он правду говорит, — сказал шедший тут же Булавин.

Прокоп и Захар стали спорить, а рабочие разошлись.

Утром с завода уехали мировой посредник со становым, так и не добившись ничего от общества.

Глава 37

БУНТ

Еще ранним утром на почерневшем от дождей сливном мосту, там, где между намерзших за ночь заберегов грохотали падуны, ходила невысокая старуха. Она одета в темное, просто, сама маленькая, коренастая, со сморщенным лицом, с крупным прямым носом и горящим взглядом темных, глубоко сидящих глаз.

— В евангелии сказано, — говорила она идущим в завод рабочим, останавливая их, — читайте и поймете... машин не надо.

— Здорово, бабка Акулина, — молвил ей кто-то из молодых.

— Молчи! — грозно ответила старуха. — Есть слабые, несчастные, они сами не ведают, что творят. Вот они сидят в гордыне, — показала старуха на контору. — Как вам не совестно, — оборачиваясь туда, кричала она, — я всех вас люблю и всем вам желаю добра, и мне жаль вас!.. Вам гибель идет, несчастье, а вы незрящие.

Как все понимали, бабка толковала про нового управляющего. Старуху знали все. Она человек прямой, набожный и зря говорить не станет. Толкуя про евангелие, проклиная машины и пророка неизбежную беду, старуха весь

день ходила по мосту у конторы и у заводских ворот, время от времени собирая вокруг себя толпу людей.

Инженер Верб с утра заметил старуху, с фанатичным видом провозглашавшую что-то, поначалу решил, что это пустяки, что старуха полусумасшедшая, покричит и устанет.

Верб обошел работы, побывал на доменных печах и вернулся в контору, а старуха все не умолкала. Вскоре, сбив целую толпу под самыми окнами, она доказывала, что в евангелии сказано, будто привезут на завод машины и добра от этого не произойдет, что где машины, там у народа не будет хлеба, кто даст машины, тот все и заберет. Ее речи сильно волновали народ. Суеверным людям казалось, что ее устами говорит сама справедливость.

— Земля — божья, — объясняла она. — Люди кормятся с нее. Как же этой землей дразнят нас, как голодную собаку!

Верб удивился, как у нее хватает терпения и энергии. Ни один парламентский оратор не выдержал бы такого напряжения. Складно и красноречиво, не ослабляя тона, с неподдельной яростью старуха говорила и говорила... Верб понимал, что лучше бы прогнать ее, но ее, видно, знают, да и всякое насилие над ней возмутит народ, а положение и так напряженное. Он велел подать шарабан и, чтобы не слушать, поехал в свой дом за реку. Его возмущал становой, уехавший из завода. Видимо, струсил. Проезжая по плотине, он услышал, как старуха кричала, показывая на него: «Он тоже несчастный, сам не знает, что творит!» — и еще что-то — он не разобрал.

«Откуда такая страсть и энергия?» — думал Верб.

Ему пришло в голову, что, может быть, в этих темных на вид, покорных и невзрачных людях действительно скрыты какие-то неразбуженные силы. Пришло ему и другое в голову, что старуха не столь глупа, как хитра. И с умыслом так толкует евангелие, применяя его к теперешней обстановке.

Через некоторое время к управляющему приехал «верховой» Запевкин.

— Беспорядки, Иван Иванович, — входя в большую комнату с паркетным полом, сказал он.

Верб велел отремонтировать дом управляющего и переехал временно в другой, каменный, низкий, старинный, с паркетом, с мебелью красного дерева и хрустальными люстрами.

Дом этот, как белая стена, залег в саду, что над Белой, на скалах, среди столетних берез и лиственниц. С террасы вид на реку, на завод, пруд и горы. Кусты сирени и чере-

мухи скрывают его окна. Строен он сто лет тому назад первыми Пашковыми. Это дом хозяина завода. Обычно он пустовал. Пашковы останавливались тут, изредка приезжая на завод.

— Вокруг старухи сбилась толпа, — кидая на окна взоры, говорил Запевкин. — Рудобойцы бросили работу. Я послал стражника, чтобы вернул их, а они не послушались.

— Говорил становому, что следует задержаться, — сказал Верб.

Управляющий надел куртку, взял пистолет, велел подать к крыльцу оседланную лошадь.

Вскоре он подъехал к плотине.

— Нет больше работы! — кричал Никита Башкирцев, сверкая своими большими острыми глазами. — Баста!

Разговоры о забастовке шли между рабочими еще после схода.

Завидя толпу на плотине и услышав, что рабочие объявляют забастовку, Верб подъехал к ним.

— Что такое? — спросил он, пуская лошадь прямо на людей, в самую середину толпы.

Рабочие почтительно расступились и стали снимать шапки.

Казалось, все присмирели и порядок был восстановлен.

— Ты кто такой и что ты хочешь? — спросил управляющий у одного из почтенных, седых рабочих.

— Кричный мастер, Иван Рябов.

— Так это ты подавал жалобу? Ведь тебе отказали. Смотри, теперь ты ответишь! Как ты смеешь возмущать народ своими глупыми речами?

— Чем же он глуп, барин? Зачем ты обижаешь хорошего человека? — спросил Загребин, стараясь быть спокойным. Но голова его затряслась и руки задергались.

— А ну, мужики, именем государя нашего Александра Николаевича... расходитесь! — Верб, желая обратиться ко всем, поднял руку с висевшей нагайкой.

— Постой! — закричал Загребин, хватая поводья его лошади.

Все расступились, не смея поддерживать ни того, ни другого.

— Прочь руки! — властно сказал Верб.

Загребин усмехнулся.

— Барин, не мучай народ! Не мучай!.. Зачем ты нас теснишь? Земли много. Клок на брата жалеешь.

Верб взял рабочего за руку своей сильной рукой и потянул ее прочь, но тот не выпускал поводьев.

— Позволь, барин, поговорить. Послушай, что просит мир, — дрожащая рука Загребина угрожающе ползла по поводьям. Он смертельно побледнел.

И тут Верб полоснул мужика нагайкой по руке.

Загребин в бешенстве кинулся на управляющего, вмиг стащил с коня и бросил в толпу. Рабочие пытались остановить Загребина. Несколько стражников выбежало из заводских ворот. Верба подняли, а Загребина схватили.

— Бей их, ребята! — сразу же закричали в толпе два-три голоса.

В полицейских полетели камни. Раздался выстрел, потом другой. Толпа отхлынула.

В этот день рабочие на работу не вышли, и не вышли они и на другой день. Только домны дымили по-прежнему. Горновой Кузьма Залавин с подручными не позволял печке «козлить». Если бы домна встала — это бы уж был конец всему.

Глава 38

ПОЕЗДКА МУЖА

Захар Булавин был в толпе на плотине. Ему сильно не нравились все эти Вербы и Хэптеры. Он был оскорблен тем, что на его родном заводе хозяйничают люди чужие, которые показывают все время, что тут живут ничего не понимающие дураки, которых надо школить. «Разве нет русских, способных управлять заводом? — не раз думал он. — Неужели все без толку, и все русские пьяницы?»

За последнее время все здешнее, заводское, считалось плохим, отсталым. Захар от души сочувствовал заводскому люду. Немцы под тем предлогом, что на заводе не было хороших машин, бесцеремонно унижали все здешнее и самих рабочих считали чем-то вроде устаревшего оборудования. Когда Верб полетел с лошади, Захар понял, что дело зашло далеко, хотя в душе, как и многие, готов был оправдать Загребина тем, что тот решился показать, как народу тяжело, что мера людского терпения кончилась. Сделал Загребин это так же порывисто и неровно, как все и всегда. Булавин понимал, что во всяком бунте есть смысл и причина. Если бы у него была сила и власть, он желал бы действовать иными способами. А то беспокойный Загребин кинулся... Прав был, ведь его ударили нагайкой. Тут мог бы возмутиться народ, но один-два поддержали, а народ стоял молча, а потом хлынул в сторону.

В тяжелом раздумье пришел Захар домой. «Действовать нужно было бы дружно», — полагал он. Виденное на пло-

тине как бы придавило его. Он рассказал жене о происшедшем, прекрасно понимая, что теперь заварится каша. Прятаться за свои шатровые ворота и за запоры не желал и не скрывал своего сочувствия бунтарям.

— Ты рубишь сук, на котором сидишь, — сказал Булавину утром на базаре Прокоп Собакин. — Как смеешь идти против купечества? Разорим! Со смутьянами?

— Зачем своя вера забываешь? — согнувшись и указывая пальцем на Булавина, говорил Галимов. — Ай, ай, как не стыдно!

Старые друзья шли против Захара, упрекали его. Угрюмый Собакин винил, что зря водится с учителем, напрасно пристрастился к чтению, открыл школу, выписал газеты. Тут все зачли.

А леса на сопках посерели. Обнажилось чернолесье и безряк. Опали пурпурно-золотые одежды дубняков и кленов. Осыпались пожелтевшие иглы с исполинских, раскидистых лиственниц. Только пихтач да ельник по-прежнему зеленели на склонах гор и по долинам. Временами шел снежок. Леденели берега и пороги, застывали непроходимые болота, торфяники и топи. По реке шла шуга, шурша об шиханы. Кони губили копыта на застывших комьях грязи.

Птицы разлетались с Урала. Остались зимовать в трущобах горбоклювый глухарь, пестроперый тетерев и куропатка.

В эту пору волк уж оброс пушистой зимней шерстью. Ночами ближе подходит к людскому «жилу» и к конским косякам. Медведь сгреб мох с утесов и россыпей, заранее устроил логово, чтобы не оставить следов на зиму. Наваливал себе охапки сухой травы, листьев, делал берлогу помягче, потеплей, поуютней. На белке давно уже мех пушистый. Стелет белка хвост по стволу и скользит в высокую глубину.

Охотники на пушного зверя готовились к промыслу. Лили пули, рубили свинец, налаживали старые ружья, заказывали Булавину привезти с осенней ярмарки новых английских, тульских и немецких.

Солнце бледнело, дни укоротились.

Однажды ночью подожгли лавку Булавиных. Санка уверял, что «петуха» подпустили молодцы Собакина. Пожар заметили вовремя. Захар сам тушил, люди съехались, навезли воды в бочках. Часть товара растащили. В толпе кто-то кинул в Захара горящей головней.

Чувствовал Булавин: зло кипит вокруг и что чем дальше, тем труднее ему будет, что сам он рушит свой же достаток

и торговлю, гонясь за справедливостью. А люди о других не думают, только о себе.

Обгоровшую лавку закрыли, наняли сторожа.

— Самосуды чинят, — говорил Захар жене. — Собакин сказал мне, что, мол, теперь сочтемся с рванью. Они, мол, сами руку подняли — так бей, наводи порядок. Будто бы сами, мол, провинились, шею подставили, бунтари. Вот видишь, по случаю вымещают на людях!

Захар обращался к попу; тот обещал усювестить Прокопа.

Санка затемно ходил проверять, как лавка и сторож, а заодно потолкаться, где люди. Он возвращался домой поздно.

Ночь была беззвездная. Выпал снег. По избам, несмотря на позднее время, горели огоньки.

Санка вспомнил свое детство. Вот так же идет, бывало, снежок, а он, маленький мальчонка, катит с пригорка на салазках. Далеко это было отсюда... В Расее... И звали его тогда не Санкой, а Санькой — по-российски; помягче выходило. Мать, бывало, выйдет за ворота да этак широко заговорит: «Санька, Санька, пострел, опять весь заваялся. Ступай-ка в избу, солнце в обед». Эх, давно это было!.. Санка смутно представлял себе и материнское лицо и родную деревню. Помнил только, что за последней избой к речке косогор, а внизу прорубь. Когда на салазках катаешься, того и гляди попадешь.

— Александре Иванычу, почтеньице... Откедова гуляете? — заслонил дорогу долговязый детина в высокой шапке.

От парней несло водкой и луком.

— Что же ты не здороваешься? А? — Появился знаменитый драчун Митька Зудин и стал наседать на Санку то правым плечом, то левым.

Слух прошел по заводу, что Захару теперь не сдобровать, что он, грамотей, подстрекал Загребина. Поэтому Зудин не испытывал больше уважения к булавинскому приказчику.

— Вон энто видал? — поднес парень к его носу кулак.

— А невеста у тебя с Нижнего? — спокойно спросил Санка.

— Ко-ово? — недоверчиво протянул парень.

— Бают, заветная-то у тебя с Нижнего селения.

— Не... — оторопел тот.

— Мотри-ка, молодец, махеру* твою там прижали, а ты на горе озорничаешь.

* Махера — зазноба, от французского *ma chère*.

— Нету у него заветной. Девки пугаются его, — посмеялись парни.

— Что это баишь-то? — строго спросил у Санки долговязый, что заступил ему путь.

— Башкиры заводскую девку обижают, — соврал Санка, — в Нижнем на Зеленой поймали... Красивая девка... — расписывал он. — Да васейко она будто с вами хороводилась.

— Стой, стой!.. А какая она? Не в дубленном ли полушубке? — встрепенулся Митька.

— Во, во... в дубленном полушубке.

— И в полущалке? Румяная, родинка на щеке?

— Вот, вот!.. Красивая девка!..

— Не Дашка ли, а? Ребята?

— Как ее тащили улицей, так баба голосила: вот, дескать, Дашеньку разбойники увели...

— Абтрак*, ребята, — развел руками Митька.

— Абтрак, — согласился долговязый.

— Александра Иваныч, — умоляюще заговорил Зудин, — да куда он ее?

— Куда?

— Да, куда?

— Да вон ту-уда... вон туда... знаешь...

— На запань? — в отчаянии воскликнул парень. — Да не тяни ты!..

— Ага... Будто, что туда.

— Эх, ты, незадача! И за коим чертом Дашка в Нижнее селение попала? К тетке, может, ходила?

— Ясное дело, к тетке... Тетка у нее такая... тощая?

— Не приведи бог! Щека щеку ест.

— Надо выручать... Васька, не сробеешь?

— По мне, все одно... Чово бояться?

— Ну, пошли-ка, чего канителиться...

— Побегли, прощай покуда, Лександр Иваныч! Спасибо тебе!

— Не на чем. Беги, беги, выручай махеру.

Парни побежали.

— Пусть по запани побродят. Все занятие им, — облегченно вздохнул Санка. — Слава тебе, боже! Так же один раз ночью, помню, остановили на мосту пьяные и обижают. Вижу, ребята молодые, глупые. «Дай, — говорю, — покажу диковинку». — «Ну, — говорят, — покажи, только соврешь — побьем». — «Нет, — говорю, — чистая правда. Только жалко, палки нет». — «На что, — говорят — тебе

* Абтрак «дело плохо» (русско-башкирский жаргон).

палка? Вот возьми дубину мою». Я взял ее да изо всей силы хватать его по башке и ходу...

Он дошел до ворот булавинского дома.

Дома Санка отряхнул суконный полукафтан от снега, обтер сапоги об половики.

— Ну как дела?

— Неважно, Захар Андреич.

В избе тепло. Настасья грелась у вытопленной печи, заложив руки за спину. Она была взволнована, и ее щеки горели. Одета Настя по-праздничному — в яркий сарафан, рукава на груди расшиты, будто вся кофта в землянике.

— Снежок падает, Александр Иванович?

— Полный снегопад, Настасья Федоровна.

— Ну, Санка, рассказывай!

— Плохо, Захар Андреич... Сказать страшно. Собакин послать хочет молодцов нашу лавку в Низовке разбить. И заодно хотят тебя подкараулить, ежели ты поедешь.

Санка рассказал, как, где и от кого он это услышал.

— Ну, так и не езди, — сказала Настя. — Бог с ней, с лавкой, и со всем!

Захар подошел к сундуку, поднял крышку, достал старый полушубок, бросил его посреди кухни.

— Не езди, Захар, не езди! Мое сердце в тревоге...

— Ну что за бредни? Дело есть дело. Там ведь товар.

— Захарушка!..

— Дело, жена, прежде всего! Хватит нам глупостями-то заниматься! Какие могут быть воображения! О себе надо подумать. Своя рубашка ближе к телу. Я за свое еще постою. Собакин и Галимов хотят меня задавить. Ведь вся наша жизнь прахом может пойти.

— О чем это ты, Захарушка?

— О том, Настасья, что сейчас и ехать.

— Куда, зачем ты поедешь?

— Сначала поеду в Низовку и посмотрю, как они там мою лавку сожгут. А с Собакиным я еще померяюсь силой. А из Низовки, может статься, через низовский перевал, за хребет — в город. Суди сама, что же это такое — в заводе все перевернули, толку нет, находятся бунтари, поджигают... Теперь мало, что завод нарушили, торговать не дают. И народ злобится, тоже хорошего ждать нечего.

Настасья знала, что если мужу запало в голову, он от своего не отступится.

— Санка, ступай на конюшню, заложил Буланого, — сказал Захар.

Приказчик вышел.

— Из Низовки поеду защиты себе и народу искать. Ждать, покуда в городе сами узнают, — долгая песня. Я приду туда и спрошу их, что они думают. Ведь они и народ изведут и торговлю погубят. На заводе меня никто слушать не хочет — ни тот, ни другой, а без дела сидеть не могу. Деньги знаешь где?

— Ах, знаю, Захарушка!

У Насти такой вид, словно она хотела сказать мужу о чем-то гораздо более важном, чем лавка и поджоги, но чувствовала, что не может и он не поймет, и поэтому смущалась.

— Если что — ты хозяйка им.

Настасья печально усмехнулась, но Захар не заметил.

Вошел Санка. Булавин встал, поднял полушубок, надел его поверх поддевки, опоясался кушаком. Настасья сидела на сундуке, опустив руки. Вот он снял со стены охотничий нож в чехле, заткнул его за пояс, надел сумку с огневым припасом, тщательно застегнул ремешки.

— Подавай чепан.

Настя засуетилась.

— Да как же ты один в Низовке с собакинскими справишься?

— Да уж, бог даст, управлюсь. Мне только им в глаза взглянуть. Поди, не медведи...

— Да что это, господи, вдруг сразу не евши, не пивши — и в дальний путь!

Захар был смел и удал. Его заделали за живое.

Настя подала чепан. Захар сунул руки в широкие рукава. Жена натянула ему одежду на плечи.

— Тепло будет, — улыбнулся Булавин. — Ты смотри тут, не плошай.

Он взял из рук жены шапку, повернулся в передний угол и стал молиться на темные лики святых.

Настя стояла сзади и тоже перекрестилась несколько раз. Но молитва не шла на ум. Дрожь охватила Настасьино тело. Она растерянно смотрела на широкую спину мужа и судорожно теребила пальцами передник.

Захар обернулся. Надел ружье, сунул правую руку в петлю ременной нагайки. Достал из печурок нагретые варежки.

— Ну, жена, покуда до свидания!

— Захарушка, милый!.. — Настасья разрыдалась. Она охватила его за широкий ворот чепана и прижалась к его груди.

— Чего это с тобой, Настя? Да, будет, будет! Жив вернусь, не печалься. Ну, прощай, — поцеловал он ее. — Господь поможет, уйму всю шайку своих соседей любезных, не реви, Настя... Дело важное... Товар... лавка. Подковы смотрел? — спросил он Санку.

— Исправны.

— Ну, пошли.

Вышли во двор. Снег валил пуще прежнего. У крыльца стоял Буланый. Охотничий пес Захара шмыгнул из потемок, скулил, ластился о сапоги Булавина.

— Зверюга... — потрепал его по волчьей шерсти Захар. — Кормила, Настя, Серого?

— С вечера еще накормлен.

— Ну, Санка, смотри. Что тут с Настей случится, ты в ответе будешь.

— Бог милостив... Не беспокойся, Захар Андреич, не впервые.

— Захарушка, да шапку-то ладом надень, дай я тебе поправлю, вон какой снег, набьется за ворот.

Санка открыл ворота, поднял подворотню.

Захар сел в розвальни, хлестнул Буланого. Настя вышла за ворота и долго смотрела вслед. Пес помчался следом. Настя пошла во двор. Санка сразу же захлопнул ворота, щелкнул замком.

— Послать тебе Феклушу? — спросил он Настасью.

— Нет уж, Александр Иваныч, куда ты ее от младенца, пусть с ребятишками возится. Меня и так никто не тронет.

— Ну, так покуда...

— Спи спокойно, Александр Иваныч.

Санка ушел в калитку на свой двор.

Настасья вошла в избу. В кухне жарко, чисто. Думы ее смешались, а тревога все росла.

* *
*

Булавин нагнал собакинских молодцов верстах в пяти от завода. Светила луна, и они сразу узнали его.

— Стой? Куда скакал? — подступили двое, хватая коня за уздцы.

Захар пригляделся, чтобы не ошибиться.

— Не шевелись, — сказал ему долговязый мужик с дубиной.

Это и был новый собакинский помощник и главный громила.

— Ты кто такой? — спросил он у Булавина.

— А ты сам-то кто?

— Мы у дела, а ты вылезай.

— Вылезай, вылезай...

— Смотри у меня!.. — пригрозил мужик.

— Ой ли? — усмехнулся Захар.

— Верно говорю.

— Серый, бери! — Пес залаял, завизжал, прыгнул мужику на спину, схватил его за ворот.

— Братцы, помогите! — кричал тот, отбиваясь от собаки, и упал в сугроб.

Захар дернул вожжи.

— Стой! — закричал другой мужик, но тут Булавин хлестнул его кнутом и погнал коня.

От моста кричали. Слышен был собачий лай.

Захар придержал вожжи, вслушался. Крупно прыгая по снегу, примчался Серый. Он тяжело дышал и метался вокруг розвальней.

Снег запушил широкие ветвистые ели, завалил глухой проселок. В эту зиму Захар первый прокладывал тут дорогу.

Булавин имел надежду на низовских мужиков. Не первый год он знал низовцев и вел с ними дела. Они не пойдут на грабеж лавки в своей деревне.

Низовка и Николаевка — русские села вблизи завода. Но низовцы живут подостаточней. Низовцы славились тем, что у них каждый мог найти работу — так много арендовали они земли для засева. Богачи давали помощь под залог вещей, одежды, серебра, полозьев от санок.

Не выкупит хозяин залога к осени — сиди без саней. На новые санные полозья железа купить дорого, на старых — без полозьев не поедешь. Закладами низовцы пользовались и норовили износить, изработать заклад, даже пословицу сложили: «Заклад — носи до заплат». А от низовцев научились и башкирские богачи, тоже брали в залог полозки от санок.

Захар Булавин в молодости, как и все заводские, дрался с низовцами, но когда стал хозяином — рискнул на торговлю у них в деревне. Брал в Низовке тройки, нанимал подводы для перевозки товаров. Низовцы присмотрелись к купцу и убедились, что мужик он дельный. Год за годом знакомились ближе, и стали они для Захара надежными друзьями. Сначала Булавин привозил товар на телеге,

как на базар, а потом открыл лавку в Низовке и стал там совсем своим человеком.

Настало время ему низовцам поклониться.

У Черной горы, в липняке, Буланый захрипел, заводил ушами: повстречалась волчья стая. Звери выбежали на опушку и остановились, сверкая во тьме зелеными глазами.

Захар придержал коня, поехал шагом. Сыты ль были звери, или побоялись человека, только с места не тронулись. Захар так и ехал шагом с полверсты, не желая выказывать зверям страха.

Потом погнал рысью. У ручья кончился липняк. За увалом пошел красный лес, потом две каменные горбовины, обросшие кустарником, и снова хвойный лес, а за лесом — река. На берегу ее — деревня.

Захар еле достучался в свою лавку. Мальчик-сирота, чувашонок, живший с приказчиком, боялся пускать. Наконец проснулся Петр, узнал хозяина по голосу и порядком перепугался, полагая, что сейчас ему будет какой-нибудь нагоняй.

Войдя в избу, Булавин успокоил приказчика, объяснив цель приезда. Оказалось, по словам Петра, что в Низовке стоят казаки.

Из лавки Захар направился к старому своему кучеру Ивану Ломовцеву. Когда-то старик ездил с ним по делам, а еще раньше батрачил на отца Булавина. Нынче Иван женился еще раз. У него было несколько лошадей. Дом у него с бойницами на все четыре стороны, так что, закрыв ставни, можно было отстреляться от любых разбойников.

Захар застал у него в избе спавших казаков и чернородого, широколицего, но тщедушного на вид башкирина, который поднялся с кровати, едва Булавин вошел. Захар узнал его — это богач из Шигаевой.

— Здорово, брат Исхак.

— Здорово.

Иван уж слышал про все заводские новости и про то, что лавку у Булавина подожгли.

Захар рассказал о своих намерениях.

— Зачем тебе в город ездить, — молвил хозяин, — когда по тракту уже идут на завод войска? У нас еще не замело перевал, и ты езжай им навстречу, вернешься с ними. Собакин увидит, что ты войско привел, — ухмыльнулся низовец.

Чернородый Исхак смирно сидел на табуретке и слушал внимательно.

— А вот Исхак собрался Могусюмку ловить, — с оттенком насмешки сказал Иван. — Офицер и какой-то баш-

кирский князь приехали. Они стоят у Акинфия. Ты зайди к Акинфию, потешь его. Всех нынче заставляют идти ловить Могусюмку, подняли соседей всех. Шигаевцы не хотят... Вот Исхак и тот боится... Хамза тоже идет. Да, знаешь, ведь шигаевские с Могусюмом приятели. Абкадыр ездил с ним в горы, дружил, а сейчас его заставляют ловить. Он противиться не смеет, грозят ему тюрьмой. Не любит Хамза Могусюмку, а боится. Смотри, Исхак, ведь башлык удал, попадешься ему там в лапы, не рад будешь. Он тебе вспомнит и коней и полозки от санок. Нынче, говорят, муллы в степи волнение подняли, киргизов смутили и в нашей стороне проходили. Война будет, вот и моя Агафья с ухватом на войну выступит, — сказал Иван про свою жену, которая уже поднялась и хлопотала у печи.

— Вишь, не баба, а солдат! Эка сила! — хлопнул старик ее по спине.

— Да не хватайся ты, бесстыжий! — шлепнула мужа по руке Агафья, не старая еще баба, с длинным, вздернутым носом, одетая в несколько пестрых юбок.

— Эх, и стыдлива у меня молодуха! — осклабился Иван. — Все, как девка. Не гляди, что двух мужиков схоронила...

— У-у, старый, постыдился бы: срамоту какую несет!..

Проговорили до света. В окне из тьмы стали проступать строения.

— Это у тебя новый амбар? — кивнул в окно Булавин.

— Только закончил. Хлеб здесь держу. Хотел конюшню строить, да хлебный амбар нужнее. А коней пасем у башкир в урмане.

Утром Захар пошел к Акинфию. Башкирский «князь» оказался человеком известным. Это не князь, а купец Гулякбай. О семье богачей Темирбулатовых из степной Башкирии Захар слышал не раз.

Акинфий, коренастый, бородатый, угрюмый, сказал, что тоже идет ловить Могусюма. Он звал с собой Захара. Акинфий — знаток здешних лесов, ему обещали в городе медаль, если поймает.

Была и другая причина: Султан просил Акинфия, прислал брата. Сам Султан шел с другим отрядом из города.

Захар подумал, что у богачей Темирбулатовых, у Хамзы, Исхака свои счета с башлыком, но каково Абкадыру идти на друга своего и приятеля. А таких, как Абкадыр, сотня. Всех, видно, подняли нынче по деревням. Похоже было, что Могусюмке пришел конец. Захару жаль

было башлыка. Он еще надеялся, что тот уйдет, если вовремя спохватится.

Глава 39

НА ХРЕБТЕ

— Хибет, — крикнул со скалы Кагарман, — солдаты идут! Нукатовский кузнец бросил свою кузницу и ушел с Могусюмом. Султан указал на него, как на подстрекателя и бунтовщика, в доме у которого скрывался лазутчик. Теперь он и сам не рад, что ушел, но уж делать нечего.

Хибетка спрыгнул с лошади и стал карабкаться вверх по отвесу. Потихоньку забрался на венец, залез на верхний камень, нахлобучил шапку и стал всматриваться вдаль.

День ясный, с утра стоял мороз. К полудню потемнело, но подул холодный ветер. На венце жгло лицо.

Заснеженные утесы круто ниспадали к долине. Побелевшие гряды гор тянулись во все стороны, куда только глаз хватал. На горах чернели обрывы каменных гребней.

Внизу дорога, чуть намеченная в свежем снегу, вилась по склону, спускалась в пустынный лог и чертой пересекала его наискось.

Хибет прикрыл глаза ладонью; глядеть было больно: снег и солнце слепили.

— Где, сказал, солдаты идут?

— Вон, по дороге из лесу.

Действительно, с «азиатской» — «бухарской» — стороны хребта из соснового леса выползли черные точки. Это сани, в них едут солдаты.

— Верно, солдаты, — подтвердил Хибет.

Он спустился вниз, вскочил на коня и поскакал.

Немного погодя из леса к гребню подъехала группа верховых башкир. Они спешили, полезли наверх. Первым достиг венца башлык. Он с жадностью стал наблюдать приближение войск.

Внизу по дороге ехало десятка два кавалеристов. Это казаки. Следом двигались пехотинцы на нескольких санях. Оружие блестело на солнце.

Башлык и его товарищи прятались за бурелом, в россыпи, залегали меж обломков скал по вершине.

...Среди джигитов Могусюма пошли в это лето раздоры. Началось с того, что башлык узнал, как Бегим обманул Гурьяна. Могусюм потребовал, чтобы Бегим все рассказал. Бегим уверял, что желал хорошего, советовал Гурьяну принять магометанство

— Ты сказал ему, что я его больше знать не захочу, если он веры не переменит, Бегим?

Бегим не посмел соврать и кивнул головой.

Агай пал в ноги, умолял простить, обещал быть верным псом, говорил, что не думал, что Гурьян уйдет.

— До старости лет ты дожил, а ума не нажил.

По маленькому, сухому, желтому лицу Бегима потекли слезы.

Зейнап, зная про Гурьяна, зло смотрела на Бегима, но попросила простить его.

— Уходи, уходи, — сказал ему башлык, — я не могу тебя видеть! Я виноват перед другом. Из-за тебя получается, что я его обманул. Твои глаза злые всегда будут напоминать мне, что я брата покинул.

— Злые глаза!.. — процедил сквозь зубы Бегим, выходя из дома. Он зло усмехнулся.

Старик уехал в степь, а когда башлык с женой и товарищами покинули дом Шакирьяна, — вернулся. Бегим рассказывал сначала Шакирьяну, а потом всем, кого встречал, что башлык преступил закон Магомета, поднял руку на правоверных, что Зейнап грешница, которой трудно подобрать муки, так она черна. От башлыка отстали двое джигитов.

...А Зейнап жила в горной охотничьей избенке, неподалеку от Куль-Тамака. Она похорошела и окрепла. Мулла, говорят, проклинал ее. Она не падала духом. Не Султан ее муж. Она всем пренебрегла ради любви — и не раскаивалась. Она опасалась за Могусюмку. Его искали, всюду посланы отряды.

Могусюмка узнал, что Гурьян жил в работниках на постоялом дворе. Башлык поехал туда, выведал от хозяина и от батраков, что Гурьян ушел в горы. Но батрак-башкирин, которому Гурьян велел рассказать все Могусюмке при случае, был в отъезде, повез муку в Стерлитамак, и Могусюмка не узнал главного.

Башлык возвращался в горы по глухой дороге. Встретился ему в тайге полуслепой старик. Башлык слез с коня, поздоровался. Начались расспросы: кто и откуда, куда, зачем едет. Могусюм назвал себя Закиром.

Оказалось, что старик из Шигаевой. Башлык оживился. Давно не был он в Шигаевой. А ведь там Абкадыр, а по соседству, в Ахметовой, — Бикбай и сын его Хибетка, славный парень, еще зеленый, правда.

Старик рассказал про недавние события в Ахметовой, как Акинфий захватил землю Бикбая, Курбан хотел помочь Бикбаю, хлопотал, был становой — безобразничал;

пороли башкир, увезли несколько человек в тюрьму, в том числе Бикбая и Хибетку.

Могусюмка поразился: он ни о чем не слышал.

Бунтовщиками ахметовских назвали. Свою землю хотел отстоять Бикбай. Защищали себя, и теперь сами не рады. Еще хуже стало... А был у нас раньше один человек смелый, который всех мог защитить.

— Кто это?

— А ты сам откуда едешь?

— Из Бурзяна.

— Так ты должен его знать, Закир. Верно, не раз слышал про него. Он ваш, бурзянский... Хотя жил на Инзере смолоду, и там его обидели баи.

— Да кто он такой?

— Могусюмка! Хороший был человек. Знаешь ли ты его?

— Могусюмка? — изумился башлык. О самом себе приходилось разговаривать чуть ли не как о мертвце. Любопытно было знать Могусюмке, что о нем говорят в народе. — Да... Я слышал. Где же он теперь?

— Был он храбрый карак. Бесстрашный! Жил в горах. Никто не мог поймать его. Бояре его ловили и казаки — уходил. А теперь, говорят, ушел и передался.

— Кому?

— Как кому? Боярам!

— Не может быть! Он жив и в горах живет.

— Если бы он был в горах, никогда бы становой так не обижал людей. Раньше все его боялись. Когда наш башлык в горах жил, никто не смел так поступать. А теперь становой знает, что Могусюмка к ним передался, и не боится.

— А что бы, по-твоему, мог сделать Могусюмка со становым?

— Все, что захотел бы. Он не боялся за свою шкуру и наказывал всех, кто виноват. А вот теперь баи дали ему мешок серебра, и он ушел из гор. У него был друг, русский простой человек, он его прогнал. Теперь сам стал бояр и с боярами только дружит.

— Нет, агай, это неправда! Могусюмка в горы вернулся! Может быть, скоро вы все услышите о нем!

Башлык встал, попрощался со стариком, сел на коня и поехал, оставив собеседника в недоумении.

...Упал снег. Наступила зима. Белые березы и белые снега вокруг. Часто думал Могусюм о Гурьяне. Неужели друг его обиделся так сильно, что даже вестей о себе не

подает? Даже не сказал, уезжая с заимки, где его искать.

А через несколько дней явился Хибетка. Парня отпустили из Верхнеуральской тюрьмы. Он взял хорошего коня в стаде богатого казака, поехал к Шакирьяну, наслышавшись от него плохого про башлыка, узнал про Бегима, что уехал к Темирбулатову и что Могусюмка в горах и его скоро изловят. Хибет сказал Шакирьяну, что поедет домой. Он примерно представлял, где мог скрыться с женой башлык. Хибетка знал все убежища своего друга и вскоре нашел его верстах в десяти от разрушенного Куль-Тамака.

Могусюмка узнал от Хибета, что снова пошли в леса отряды казаков. Проводниками взяты местные башкиры. Хибетка подозревал, что Бегим недаром поехал к Темирбулатову. Он тоже многое знает. «Опять предательство!» — думал Могусюм.

Из-за хребта свои люди дали знать, что идут солдаты по городской дороге и ведет их Султан Темирбулатов. — Рад буду встретиться! — сказал башлык.

Он не желал даться в руки даром, чтобы народ продолжал говорить о нем, как о предателе.

— Мы погибнем, или нас поймают и повесят, но народ пусть знает, что мы не предатели и не бояре, — так говорил башлык.

Могусюм узнал, что войска идут усмирять заводских, лишь часть казаков предназначались на ловлю Могусюмки. «Я не нашел Гурьяна! Он думает, что я предатель, отступник, а я докажу, что не забыл своих друзей, — решил он. — Пусть заводские узнают, что их враги — мои враги. Гурьян еще придет ко мне, поймет, мой добрый друг, своего Могусюмку. Выстрелы наши далеко будут слышны, всюду по Уралу прокатятся, и если погибнет Могусюмка — то за славное дело, и придет Гурьян поклониться праху друга, а не предателя».

Башлык винил себя и в том, что в свое время на праздниках бросил в беде Бикбая, уехал тогда от Абкадыра из Шигаевой, не подумавши, что не зря старик так горько жаловался, что землю у него отымут. Но в то же время понимал, что не виновен, ведь он спешил спасти Зейнап.

Решено было засесть на гребне хребта, где узок пролом между скал, сплошной стеной, поясом тянущихся по вершине.

На хребте было тихо. Только ветер завывал в вершинах лиственниц. Джигиты расселись над самым проломом, там, где дорога с «бухарской» стороны переходила на «мос

ковскую», где по обе стороны ее крутые скалы. Отсюда спускается она на обе стороны в долины.

Здесь можно кидать вниз камни, бревна, палки и не пропустить даже хорошо вооруженных людей.

— Может, пушки везут? — пошутил, волнуясь, Хибет.

— Не бойся, гора крепкая! — ответил Сорока-ка-торжник.

Он пришел к башлыку вместе с Кагарманом.

Отряд казаков и пехота в санях постепенно приближались. Похоже было, что несколько одетых в неформенную одежду, едут в санях.

Внизу все остановились. Видимо, давали отдохнуть солдатам и лошадям.

Офицеры собрались у костра.

Когда из долины донеслись крики команды, солдаты забегали. Разобрали ружья, построились в ряды.

— Выступают!

— Идут!

Звон пехотинцев в башлыках, с ружьями пошагал вперед. К гребню от долины подъем был не крутой, сани ехали порожняком. Только в передних санях кто-то сидел. Солдаты продвигались медленно, увязая в снегу. Верхами ехали трое офицеров.

— А вон и он, старая собака, — сказал Могусюм.

Теперь видно стало, что в передних санях сидит Султан. Он любит тепло, как и все пожилые люди, желающие сохранить свое здоровье, любит удобства. Едет он, накрывшись ковром и медвежиной.

— Будем стрелять! — сказал Могусюм.

— Пусть Султан еще ближе подъедет, — молвил Хибет, обращаясь к русскому, — не торопись!

Все замерли.

— Свистни! — сказал башлык.

— Ну, во имя отца и сына и святого духа. — Сорока снял шапку, перекрестился, сунул в рот пальцы и засвистел.

Могусюмка приложился. У пролома раздался выстрел, потом другой. Эхо покатилося по хребтам. Пули, камни, бревна полетели вниз, в узкое ущелье. Гребень закурился сизым дымом.

Солдаты снизу стали отстреливаться.

Снова грянули выстрелы с гребня. Солдаты отступали.

Сани внизу остановились. Лошадь легла ничком и билась. Султан лежал в санях. Могусюмка уложил его

наповал. С ружьем в руках башлык запрыгал со скалы на скалу.

Взвод пехотинцев внизу выстроился в каре. Началась перестрелка. Двое солдат черными пятнами распластались на снегу. Пули засвистели вокруг.

— У них новые ружья, — удивился Могусюм. — Далеко как бьют!

Подбежал Хибет.

— Беда! Беда!.. Идут низовские и шигаевские. Много их! Казаки с ними. Ахмеровские охотники идут!..

— Будем уходить, — сказал Могусюм.

Джигиты бросились вниз. В лесу слышался лай охотничьих собак.

Один за другим джигиты скрывались. Могусюмка слез с гребня, и только сел на коня, как конные казаки проскакали в пролом гребня, и молодой офицер в мундире под распахнутой меховой шинелью крикнул Могусюмке:

— Бросай оружие!

Сорока-каторжник, стоявший здесь же, переглянул с башлыком и бросил свою кремневку.

— Куда же нас теперь, барин? — спросил он.

— На казенную фатеру, — съехидничал подъехавший вместе с офицером казак.

— Эй, ты! Кидай оружие, какой толк в твоём молодечестве? — сказал Могусюму молодой офицер.

— Поди, возьми сам, барин, — на чистом русском языке насмешливо ответил Могусюмка.

— Взять его! — приказал офицер казакам.

Могусюмка поднял пистолет и выстрелил в офицера Тот, раненный, согнулся в седле. А Могусюмка гикнул и полетел прочь на своем жеребце. Тут Кагарман в общей суматохе стянул в снег раненого офицера и вскочил на его коня.

Горячий, настоявшийся жеребец Могусюмки и сытый, рослый конь офицера быстро ушли вперед от черной стаи башкирских и уральских казаков. Там, где от тракта отходил проселок, беглецы свернули и на новой развилке дорог разделились Кагарман поскакал в лес, а Могусюмка налево к заводу. Под заводом, он знал, дороги наезжены, натоптаны легче уйти, запутать след.

И вдруг пришло ему в голову, что легче всего скрыться промчавшись прямо через завод, что там у него много друзей, никто не задержит, а следов не останется. Вспомнил он, как, бывало, приезжал на завод, как там встречали его радушно

Минуя все дороги, по которым хотел он путать следы, вылетел Могусюмка прямо к речке и увидел на другой стороне подправленную новыми хозяевами избу Гурьяныча.

Гордость явилась в душе башлыка. Он повернул коня, что было силы хлестнул его и поскакал обратно в лес.

Глава 40

ОБЕД У БУЛАВИНЫХ

Алексей Николаевич Керженцев, молодой офицер, которого ранил Могусюмка, попал в Верхнеуральск недавно. Его перевели за дерзость, сказанную командиру Семеновского полка, в котором он служил в Петербурге. Урал заинтересовал его. Тут все понравилось молодому человеку: и дикая природа и своеобразные люди. В мрачных горновых сараях и закопченных домнах или в бревенчатых избах на фоне гор и лесов он видел своеобразную красоту.

Хотя Верхнеуральск был ужасной дырой, но офицеры отправились из него неохотно. Они не находили ничего хорошего, что их посылают на завод, чтобы припугнуть крестьян. Вместе с ними шел отряд казаков и башкир ловить разбойника Могусюмку. Никто не предполагал, что на заводе настоящий бунт, и надеялись, что никаких репрессий применять не придется, что надо будет просто постоять там с солдатами — и все успокоится само собой.

Нападение в горах на отряд было неслыханной дерзостью и совершенной неожиданностью, и все поняли, что тут шутить нельзя.

Отряд был невелик, но хорошо вооружен. Напасть на него могли осмелиться только самые отчаянные и обреченные сорвиголовы. Очевидно стало, что тут придется проводить время не только в охоте на медведей, как надеялись офицеры, отправляясь в уральские леса.

При столкновении ранен был Керженцев и трое солдат — один из них тяжело, и убит проводник-купец.

По прибытии отряда в завод солдат положили в маленькой заводской больнице. За ними вызвалась ходить Евгения Дмитриевна. Она помогала военному фельдшеру. В город срочно послали за врачом. Прибыли жандармский офицер и чиновник особых поручений. С соседнего Тирлянского завода, который оставался под вывеской Пашковых, но теперь также принадлежал компании,

приехал тамошний управляющий, чтобы временно заменить больного Верба.

Пуля попала Керженцеву в плечо. Врач вынул её. Через несколько дней Керженцев был на ногах. Жил он вместе с товарищами в Нижнем поселке. Булавин, встретивший отряд в горах еще до схватки и познакомившийся с Керженцевым в пути, явился на завод вместе с войсками. Он приглашал Керженцева остановиться в своем доме. На вид казалось, что купец симпатичный человек, но молодому офицеру не понравилось, что Булавин ехал жаловаться в город на своих односельчан. «Доносчику — первый кнут», — на этом правиле Алексей был воспитан.

Однако скоро явились причины, из-за которых Алексей Николаевич переменил свое мнение о Булавине и даже сожалел, что не остановился в его доме.

По прибытии в завод молодого офицера заинтересовала здешняя жизнь, он стал доискиваться до причин бунта, узнал о Могусюмке все подробности, а потом и о Гурьяныче. Подобный тип бунтаря из народа не встречался ему никогда. Под влиянием происшедших событий и другие офицеры отвлекались от обычной скуки, вина, карт и книг, заинтересовались, что происходило в этом огромном, похожем на бесконечную деревню заводском поселке.

...У Керженцева был двоюродный брат, в прошлом тоже офицер, оставивший службу — известный революционер, сосланный в Сибирь. Хотя Алексей далек был какому бы то ни было революционному движению, но, как и большинство русских интеллигентов, с наслаждением читал Некрасова, полагал позором ссылку Чернышевского и считал революционеров людьми долга, готовыми к жертве за благо народа. Теперь — тоже в ссылке, по сути дела, — Алексея стал занимать вопрос, что же представляет из себя тот народ, ради которого идут на жертву лучшие русские люди, каковы его идеалы, что он хочет, как мыслит свое будущее освобождение и желает ли его, как сам добивается действительной воли.

Керженцеву казалось, что здесь, в глубине Урала, где когда-то бушевала пугачевщина, и теперь бродили какие-то силы.

«Для начала, — думал он, — я получил пулю от башкирина, в котором готов был видеть романтического героя».

Мысли о пугачевщине, о судьбе сосланного брата, о Могусюмке и бунтаре Гурьяныче сливались воедино.

Картины гор и девственных лесов возбуждали воображение.

На заводе рабочие бастовали, не выходили на работу, отказывались от земли и держались, несмотря на прибывших солдат, с поразительным единодушием.

Офицеры бывали в домах местных обывателей, у Булавиных и здешнего батюшки отца Никодима Преображенского, у Верба присутствовали на допросах арестованного Загребина.

— Видите ли, господа, — торжествующе говорил Керженцев товарищам, — причина бунта и забастовки не только в низкой оплате труда. Люди оскорблены, новый хозяин грубо ломает все установившиеся традиции, лишает их главного — мастерства. Совершается ужасная ошибка. Главное — оскорбление, нанесенное народу. Люди жили веками, верили в то, что делают полезное дело, старались совершенствоваться, стремились овладеть тайнами создания этой вещи, как они ее называют, — «полоски». И вдруг оказывается, что все не нужно! И вот вам протест — избивание управляющего! Это не просто дикая выходка. Это как раз то, что так страшит всех наших современных предпринимателей...

И начальник отряда капитан Верхоленцев, и высокий и щеголеватый поляк поручик Маневич, и хорунжий Сучков слушали с интересом, хотя сами они усмиряли бунт и наводили тут порядок.

В том, что происходило на заводе, каждый из них видел что-то свое. Поляк Маневич — поработленную Польшу. Хорунжему всегда казалось, что Москва и Питер зря обижают казаков и теснят их. Капитан Верхоленцев, убежденный монархист, замечал, что за последнее время, несмотря на все либеральные благодеяния, простой народ продолжал бунтовать, жил хуже прежнего. В получаемых свободах народ, по мнению Верхоленцева, усматривал право высказывать недовольство и безобразничать.

— И какое единодушие! Никто и не выдаст своих вожаков! Все за них. Вот поэтому наш Дрозд ничего не может добиться... Он полагал, что с народом нужны строгости, тогда бунтов не будет. Кой черт, кому понравится, если наедут иностранцы и станут всем распоряжаться, какие бы они умные ни были. Будь то Китай, Урал или Семеновский полк — это одинаково противно.

Темно-русые волосы Алексея сбились и спутались, а острое лицо ярко раздурманилось, пшеничные брови встали дугами. Он вышел из-за стола и говорил громко, немного

волнуясь, но не теряя своего уверенного вида, который так нравился женщинам.

Адель, Ольга Николаевна, Танечка — сколько их вздыхало, каждая по-своему, когда он уезжал из Петербурга!.. Приятно было сознавать, что по тебе страдали. А ты вроде Лермонтова или Полежаева уезжаешь в ссылку. Считалось, что Оренбургская губерния не очень романтическое место, захолустье, что там никаких опасностей. Но Алексей вспомнил: Пушкин бывал в Оренбурге, про те края писана «Капитанская дочка». Поговаривали о предстоящем новом походе на Хиву, на среднеазиатские ханства. Все же было и там что-то такое, о чем приятно рассказывалось... Любование своим горем необычайно волновало тогда Алексея и придавало его предстоящему путешествию на Южный Урал больше прелести, чем любой прощальный бал или праздник.

Алексей сказал, что еще не видя места своей будущей ссылки, он уже почувствовал романтическую прелесть Урала, хотя бы как контраст со своей прошлой жизнью, полюбил в своем воображении и киргизскую степь, и уральские каменные хребты.

А здесь он в самом деле открывал прекрасный, романтический край, в котором недаром бывали Суворов, Пушкин и Перовский.

Алексей говорил, что здесь сложился своеобразный тип русского народа.

...Офицеры молчали. Один Маневич не скрывал своего явного сочувствия и время от времени кивал головой. Несмотря на крайний свой монархизм, Верхоленцев благоволил Керженцеву, считал его славным малым и любил послушать. Разговоры зашли далеко, и капитан велел принести водки.

— А нынче будто решили кричную оставить, — сказал хорунжий.

— Оставляют кричную. Так говорят. Тирлянский управляющий говорит, сталь будут хорошую ковать. Глупо было бы прекращать ее выпуск. Но будет ли это в самом деле? Странно, что компания хотела уничтожить кричную. А что вы скажете о тирлянском управляющем?

— Грамоте на медные гроши учился, — усмехнулся хорунжий.

...Офицеры поехали в этот день на обед к Булавиным. Вчера были у Пастуховых. Учитель жил раньше в городе, учил детей Верхоленцева.

— Какая прелесть купчиха Булавина! — говорил

Маневич, сидя в кошевке рядом с Алексеем. — Не правда ли?

Все офицеры познакомились с Настасьей Федоровной, и все соглашались, что она очень хороша.

— В ней, знаете, нет этой грузности купеческой, дебелости, — подхватил Алексей. — Прелесть, как стройна! Право! Но главное не в этом...

— А в чем же? — спросил хорунжий.

Керженцев не ответил, о чем-то думая.

— Кажется, немного кокетка, — заметил Верхоленцев.

— Хорошенькая женщина должна быть кокеткой, — возразил Маневич.

Керженцев шутя сказал, что жалеет, зачем не остался у Булавиных.

Обед у Захара был на славу. В большой комнате накрыт огромный стол, хорошая посуда, городская мебель, великолепная скатерть русской работы, вкусные блюда, отличное вино. Как полагается в таких случаях, за столом — разговорчивый батюшка, вообще все, как в хорошем городке.

Отец Преображенский стяжал себе славу тем, что по просьбе прихожан служил молебен, чтобы бог наказал русско-бельгийскую компанию. Этим он расположил к себе даже староверов. Жандармский офицер Дрозд считал его соучастником бунта.

Из местных жителей, кроме хозяев, — он и учитель с женой.

Зашел разговор о Могусюмке. На поимку его отправлялся отряд из самых отчаянных головорезов, выбранных из уральских казаков и башкир, а командовал ими есаул Медведев, который однажды уже поймал Могусюмку.

— И нас могут отправить в леса, чтобы отрезать пути бегства Могусюмки, — сказал Верхоленцев.

Помянули, что Могусюмку спасла от верной гибели его бывшая невеста, как она бежала с ним, а старый богатый купец — муж ее — жаждал мести, но сам попал под пулю.

— Как же она освободила его? — спросила Настасья.

— Ночью открыла амбар, — отвечал Верхоленцев, сдвинув свои густые черные брови и пристально глядя на хозяйку. — Должен вам заметить, что воткнула кинжал в караульного. Прирезала, как какая-нибудь черкешенка. Вот вам и башкирка! О, женщины!..

— Смела! — сказал Захар. — Видно, любит!..

Захар, возвратившись на завод с сильным отрядом, сделал вид перед другими купцами, что сам привел войска. Он, при случае, умел схитрить, как истый торгаш. Знакомство с офицерами придавало Булавину веса в глазах всех заводских, и даже такой враг его, как Прокоп Собакин, был посрамлен.

А то они все твердили, что Захар бунтовщик, снюхался с гольтепой и рванью. А оказалось, что он привел солдат. Собакин приходил кланяться Захару, прислал ему свежей рыбы, которую будто бы сам наловил в прорубях. Теперь по всем признакам, Прокоп напрашивался в друзья. Другие торговцы держались того же.

Захар доволен. Главное его дело в жизни — торговля — не было нарушено. Обе лавки, товары и капитал остались целы. Однако поджог, устроенный собакинскими приказчиками, крепко запомнился ему. Захар был неробкого десятка и покоряться не собирался. К тому же он в самом деле недоволен был, что народ оставался без мастерства и без заработка.

Отец Никодим уверял, что придется скоро церковь закрывать. Рабочие не хотят ее посещать, говорят, что не может церковь стоять на частной заводской земле и содержаться на деньги заводууправления. Все смеялись.

Верхоленцев просил Булавина найти медвежью берлогу.

— Мы слышали, ты заядлый охотник, Захар Андреич, и что у тебя среди лесников есть приятели-медвежатники. Мы, когда шли сюда, мечтали сходить на берлогу.

— Это можно, — отвечал Булавин.

— Сначала на берлогу, а потом возьмем тебя с собой проводником на ловлю Могусюма. Как ты думаешь, Захар Андреич, ведь мы можем перехватить этого зверя у Медведева? Пойдешь с нами?

— Нет, увольте, — ответил Булавин капитану. — На Могусюмку я не пойду.

— Что так?

— Да ведь у нас с ним неписанный договор, — ответил купец, — друг друга не обижать.

— Так, что же, ты с ним приятель, что ль?

— Как же! Друг друга не трогаем.

— Смотрите, Захар Андреич, я заставлю. Под пистолетом пойдет любой в проводники, — шутя сказал Верхоленцев.

— Заведем не туда, — возразил Захар. — Кто урман знает, не пойдет на Могусюмку. А кто пойдет, тот

леса не знает, боится его. Вот сосед у меня есть, тоже торговец, руками бы задушил Могусюма, а сам за околицу не выйдет.

— И другие не пойдут?

— Волей? Никто!

— Вот стачка! — сказал Верхоленцев. Но постой, Захар Андреич, что же ты жалеешь его? Ведь Могусюмка грабил купцов.

— Это уж такой обычай старый. Мы только его придерживаемся. Договор не с нами, а уж так ведется: русские не трогают башкир, башкиры — русских. Могусюмка беспокоил своих купцов, а наших не трогал. Трогал, но редко... Могусюмка ведь горя много хватил, — рассказывал Булавин, — он человек смывленный, многое видит. Вспыльчивый, я его знаю, он может убить, если видит несправедливость.

Все с интересом слушали Захара. Похоже было, что Булавин сочувствовал Могусюмке.

— Что же, вы полагаете, он не разбойник, а жертва и снес много несправедливости? — спросил Верхоленцев.

— Эх, Владимир Христофорович, — ответил Захар, захватывая в горсть бороду. Ясные и чистые глаза его вцепились в капитана. — Что же хорошего для башкир, если вырубает леса, сгоняют их с насиженных мест. Конечно, тут и их баи не меньше повинны. Нынче продают корабельные леса на рубку. Являются промышленники и справляют лес на продажу.

— Так Могусюмка прав, по-вашему? — спросил Керженцев.

Булавин не сразу ответил, слегка махнул рукой, как принято в решительных случаях у торговцев.

— А поставьте-ка вы себя на его место. Можно ли тут стерпеть? Скажите сами...

Даже здесь, в доме купца, офицеры видели сочувствие забастовщикам и неприязнь к компании.

Помянули про дружбу башкирина с Гурьяном.

— Наш Дрозд считает Гурьяныча зачинщиком всех волнений на заводе, — сказал Верхоленцев, — так сказать, тайной пружиной всего. Он — основа, душа. Оказывает-ся, приезжал перед сходом, пригрозил, что плохо будет тому, кто «выдаст», как он выражался. Он не сектант?

— Нет, — ответил Булавин.

— Все дороги ведут к нему в лес. Тирлянский управляющий Посошков хочет найти людей, которые выследят его. Говорят, что все дружки его — сектанты. Дрозд счи-

тает, что как только возьмут Гурьяныча — забастовка прекратится.

— Говорят, что он очень красив, — заметил Керженцев, обращаясь к Настасье. — Я слышал о нем много и часто думаю, почему он, лучший мастер, художник своего дела, бросил мастерство, ушел в леса, стал разбойником в народном понимании этого слова.

— Да ведь он убил мастера Оголихина, — сказал Булавин.

— Я думаю, дело не в этом, Захар Андреич! — воскликнул Керженцев. — Причина тут, верно, другая... Тут любовь! Любовь, господа, даю голову на отсечение!..

Керженцев взглянул на Настасью Федоровну в надежде на ее сочувствие, но вдруг заметил, что она смущена. «Боже мой, — подумал он. — Как она хороша сейчас!»

Он украдкой любовался Булавиной.

Пастухов, сидевший весь обед молча, думал, что причина повсеместных волнений в нездоровой экономике, что любовь простых людей на каждом шагу топчется в грязь ради корысти и что борьба за личное счастье у рабочих неотделима от общего дела.

Учитель в эти дни мрачен, прокуренные усы его давно не стрижены и свисают на губы. Руки сухи и темны, как у рабочего.

Сидели допоздна. Керженцев был в ударе и все чувствовал, как смотрит на него странно Настасья Федоровна — словно хочет что-то спросить. Щеки ее рдели.

Захару этот офицер нравился тем, что зла никакого к Могусюмке не питает, хотя и ранен им. Он видел в этом признак большой силы и характера.

— Вообще, тут черт знает, что за порядки, — говорил Верхоленцев. — Уж казалось бы Верб — немец, аккуратный человек, а что он смотрел? Говорят, Гурьяныч жил в пяти верстах от завода.

— Становой был тут, мог все предотвратить! — сказал хорунжий.

— Становой ведь по наущению и навету дьявольскому, — сказал отец Никодим, — перепорол тут башкир, упоенный слухами, что Могусюмка изловлен. А на сходе кто-то сказал ему, что Могусюмка появился в соседних деревнях, так он и выказал себя трусом, сразу уехавши с завода.

— Становой боится его как огня, — добавил Булавин.

Сам Захар немного побаивался и за себя и особенно за Пастухова. Купцы на базаре говорили, что это они подучили рабочих, надо бы обоих в тюрьму.

Поэтому Булавин задавал такой обед и приглашал офицеров, поил шампанским и обещал идти на берлогу. Дружба с ними отводила подозрения.

Приехал жандармский офицер Дрозд — высокий сухой блондин с тонко выкрученными усами и голубыми глазами. Он извинился, что опоздал.

— А мы решили, что вы не будете, и я просил за вас прощения у Настасьи Федоровны, — сказал Верхоленцев. — Выпили без вас преотличное вино, — шепнул он.

— Я не в претензии! — отозвался Дрозд, усаживаясь к столу и мельком приглядываясь к блюдам.

Керженцев однажды обидел его. Ехали вместе на рысаке к управляющему, и Алексей Николаевич сказал Дрозду, что тот присматривается к дороге с профессиональной пристальностью. Дрозд оскорбился.

Жандарм сегодня ездил на рудник, искал Гурьяныча, потом опять допрашивал Загребина, вызывал других зачинщиков, был у Верба.

За столом он молча закусывал.

Отец Никодим шутил, рассказывал про медведей, но сам боялся наказания за свой молебен о ниспослании возмездия бельгийской компании.

А рабочие им тоже недовольны, и не только потому, что церковь на заводской, а не на общественной земле.

Когда-то, несколько лет тому назад, пускали вторую, долго стоявшую домну, и поп держал на плотине речь:

«Вот она, наша коровушка, — говорил он. — Будем мы ее доить!»

А теперь все рабочие его упрекали, кричали на сходе: «Много надоили! Все голодны, немец гонит народ с завода! Вот так коровушка!..»

Жандарм подвыпил и быстрее заворочал глазами.

— Ну, что нового? — спросил Верхоленцев его по дружески.

— Стойко держатся, подлецы! — ответил Дрозд. — И никто не выдает никого. Боятся, видимо, Гурьяна. Вот-вот он будет пойман, и тогда все откроется!

Настасья услышала, как сердце ее зашумело.

Дрозд заметил, что, возможно, дело гораздо серьезней, и ниточки от него потянутся далеко. Но что за нити — молчал. Сегодня он долго беседовал с Вербом и Посошковым. Тирлянский управляющий всегда давал дельные советы. Он уверял Дрозда и Верба, что дело здесь не так

просто. Верб смотрел на него с изумлением, но молчал.

Тирлянский управляющий Посошков — лысый, коренастый человек с большим брюхом и с бородкой клинышком. У него были маленькие, красные, пухлые руки с кожей, наплывшей мешками на короткие пальцы, и от этого похожие на лапы аллигатора. Он действовал осторожно, без криков и брани. У себя в Тирляне он давно согнул всех рабочих в бараний рог. Здесь он объявил, что кричная будет сохранена. Люди, знавшие его, уверяли, что скоро он поставит весь завод на колени. Общество все время разбирало разные дела по наущению этого человека. На днях беспощадно отхлестали в волостном бабку Акулину. Мысли, высказанные им, очень понравились Дрозду, который склонен был к крайним подозрениям. Действительно, полагал он, надо так представить дело. Да, очень возможно, что тут происки западных держав. В степи — бунты... Он желал бы представить Гурьяна английским шпионом и это доказать.

От Булавиных подвыпивший Дрозд поехал в кошевке с Верхоленцевым.

— Стачка по всем правилам, — говорил он. — Их требования: увеличить плату, сохранить выпуск стали, бесплатное пользование земель по две десятины на хозяйство. Никто на работу не идет без понуждения.

— Где же причина?

— Подстрекательство! Где? Конечно, не Булавин причиной, как думают. Учителя я не подозреваю, — поспешил успокоить Дрозд своего собеседника, хотя он уже написал о Пастухове в Оренбург, что тип подозрительный.

— Безграмотные рабочие сами не придумают этого! Во всем виноват нарочно подосланный бунтовщик, подкупленный, возможно, какой-то шайкой. Его надо поймать во что бы то ни стало, и все откроется! Говорят, он был на других заводах и там мутил.

Дрозд уверял, что дело очень серьезно.

— Может быть, какое-то общество по возбуждению смут подослало его. Революционеры! Подлость, предательство или еще хуже! Верб говорит, что он старался действовать постепенно, не сразу, что тут все запутано. И рабочие должны заводу, и им завод должен. Платят рабочим деньгами и пользоваться дают земель в счет платы. Налог до сих пор не платили, и тут совпало взыскание недоимок и требование платы за землю. Льгота дана была на три года, но эти тайные «аблакаты» сумели дело так

повернуть, что шесть лет пользовались льготой. Вот, что делают! — говорил Дрозд.

— Так при чем же здесь Гурьяныч?

— Потом пошли ссылки на неурожай, — не отвечая капитану, продолжал свое Дрозд.

— Мужуку в рот не клади палец, — подтвердил капитан. — Очень смысленный и ловкий здесь заводской мужичок. На заводской земле пахали; оказывается, тут земельные участки не замерены. Об урожае давались ложные отчеты. Толкуют, что от машин будет голод.

Верхоленцев и Дрозд согласились, что поймать Гурьяна необходимо и наказать его примерно.

Дрозд сказал, что завтра будут у волостного пороть двух смутьянов.

— Долг русских образованных людей видеть будущее башкир, татар, всех наших инородцев, — говорил Пастухов, шагая по улице с Алексеем Николаевичем и с Булавиным, который пошел прогуляться и проводить гостей, — и трудиться для них. Нам надо сделать бесконечно много. Вот вам пример преданности башкир — поняли, что от хивинского проповедника не дождешься избавления. От него отвернулись. Последние события — свидетельство того, что почва благодатна. Рухнула попытка сыграть на религиозных чувствах башкир, вызвать ненависть к русским. Революция спасет башкир, а не турецкие святы.

— Говорят, что какой-то грамотный по-русски башкир, бывший солдат, участник Севастопольской кампании, испортил турецкому там или этому хивинскому святому все дело, — заметил Керженцев. — Присягу, сказал, принимали!

— Не в присяге здесь дело, а глубже. В самой жизни народов. Вот вам примеры: Могусюмка и Гурьяныч. А в прошлом: Пугачев и Салаватка.

— Молчи, пожалуйста, — одернула мужа Евгения Дмитриевна, видя, что идут мимо дома, в котором остановился Дрозд.

— Говорят, и муллы были против заговора. Они теперь всюду разослали проповедников объяснить, что этот Рахимбай — обманщик, — продолжал Пастухов.

— Но, между прочим, киргизская степь волнуется, — отозвался Керженцев.

— Магометане верят крепко! — заметил Булавин, как бы предвзято собеседников особенно не оболящаться. — Среди башкир есть люди очень грамотные. По-арабски. А есть по-русски образованные. А вот Могусюмка со-

крушался, что у них грамоты своей нет. В школах по башкирски не учат. Одно слово, что башкирские школы, а читают и пишут по-арабски и по-турецки. А Могусюм придумал писать башкирские слова русскими буквами. Если бы обучить его с детства, был бы первый грамотей.

Захар проводил гостей до плотины.

— Население тут поголовно в дружбе с башкирами, — сказал Пастухов, оставшись с Керженцевым.

Черная фигура Захара еще виднелась далеко на снегу

— Как вам этот купец нравится? Что он нам сегодня за столом выложил! Капитан, знаете, уж сказал мне потихоньку: мол, угощает, а сам такое говорит, что хоть хватяй его вместе с Могусюмом.

— И у башкир, конечно, есть доверие к заводским. Он прав. Он тут все знает. И это при разнице вероисповеданий и всех предрассудках...

— Альянс?

— Да, нечто вроде интернационала.

— У башкир по-арабски, у русских по-французски, а своей грамоте тоже не бог весть, как обучены, — рассуждал Керженцев.

Утром Керженцев стал говорить, как хороша Булавина.

— Да вы уж не влюбились ли в неё? — спросил его Маневич.

— Может быть...

Жандармскому офицеру Дрозду давно не нравились высказывания Керженцева, и он тут решил дать бой.

— Как же это вы, семеновец, гвардеец, аристократ, — сказал он с насмешкой, — плюнули на привычки среды и влюбились в купчиху. Вы исключение!

Керженцев вспыхнул. Он давно заметил, что жандарм мнит себя большим знатоком светских обычаев и, кажется, из кожи лезет вон, желая казаться аристократом, и берется судить о том, чего не знает. Обычно деликатный, Алексей на этот раз решил поставить его на место.

— Во-первых, для меня она не «купчиха», а женщина! — ответил он. — Она жена купца, но прежде всего женщина! Мы не жалеем и не бережем своих русских женщин. В народе у нас хамское к ним отношение, а в «обществе», особенно в «аристократическом», — подчеркнул Керженцев, — там и подавно... Об этом ужасном положении русской женщины не я один говорю. Но сейчас не об этом. Так вот, если бы я был выскочкой, который желает в аристократы, я бы, конечно, отвернул нос... Но,

поверьте, я люблю её, как человека из народа, она заслуживает любви... Мы мало любим наших русских женщин.

— Ха-ха-ха!.. — отозвался Дрозд.

— Кажется, у вас игривые мысли, — снисходительно улыбнулся Керженцев и прекратил разговор.

Он обидел Дрозда этой снисходительной улыбкой сильней, чем мог бы это сделать самым ужасным оскорблением.

— Увлекающийся человек, — сказал жандарму капитан Верхоленцев про Керженцева, когда тот, надев шинель и перчатки, уехал в горы на прогулку. — Ему ведь только кажется все, а он славецкий малый! Безумец!..

— Да, он легкомысленный... Порхает себе от мысли к мысли... — приложив руку к виску и слегка перебравши пальцами, сказал худой и рослый Дрозд.

— Он увлекающийся, но из него выйдет толк, поверьте мне, — сказал поляк.

В понятиях Дрозда не умещалось, как это человек может пренебрегать своим аристократизмом. Вообще он не считал Керженцева реальным человеком. Это насмешка какая-то, а не личность. К тому же он не мог простить ему упрека в «профессиональной тщательности» и решил за ним понаблюдать. Он знал, что «понаблюдать» — это больше, чем оскорбить, припугнуть, наказать. «Очень опасно, милый аристократ, ссориться с жандармом!..»

А Керженцев возвратился с поездки веселый; видел там какую-то редкую птицу и рассказывал, захлебываясь от восторга. Про разговор с Дроздом он сказал капитану:

— Что он толкует! Да мало ли писателей-народовольцев дало русское дворянство. Кто создал нашу музыку? Кто создал народное искусство? Этот парвеню, дрянь, воротит нос от народа. Вот болван! Знал ли он о той любви, что питал к народу Пушкин — аристократ по рождению...

Офицеры стали почти ежедневно бывать у Булавиных. Захар научился играть в преферанс. Он послал Санку на кордон к Трофиму, чтобы тот искал берлогу. Приехали Трофим и Санка, оба в снегу, с ружьями, собаками, озабоченные. Берлога была найдена.

ПОЕЗДКА ЖЕНЫ

...Угасла лампадка у иконы. На широкой деревянной кровати Захар и Настасья лежат под легким одеяльцем. Изба жарко натоплена. Захар вернулся с охоты — спит крепко. Настасья лежит на боку и все думает. Как ни любит она мужа, но всего не откроет ему ни за что. И мощи мужа ей не надо, не хочется обращаться к нему; крутая, жесткая и плотная спина его сейчас чужда ей. Сегодня Керженцев сказал, что Гурьян найден и ему конец, что он на Варваринном курене, Захар ничего не знает.

Керженцев говорил, что утром в горы поскачут казаки и схватят Гурьяна.

Видимо, он в душе сочувствовал Гурьяну и не хотел, чтобы тот попался. Конечно, он доверял Настасье и надеялся, что она даст знать Гурьяну, ведь кругом у нее свои люди.

После ужина Настасья, полная тревоги, улучила миг и по огородам пробралась к Волковым, хотела повидать Ивана Ивановича, передать ему новость, чтобы скакал скорей на Варварин курень, предупредил бы Гурьяна. Иван Иванович приходится Насте родней через тетку. Настя знала, что дядя Волков дружит с Гурьяном и тайно сносится с ним.

— Иван Иваныча нету, — сказала Волчиха, баба носастая, рыжая, крепкая, как солдат. Посмотрела она на позднюю гостью с недоумением, не догадавшись, в чем тут дело, зачем Насте понадобился ее муж, да еще явилась задами. Волчиха недолюбливала Настю.

— Где же он?

— В отъезде.

— Да где?

— На рудник поехал. Да тебе зачем?

— Может, он не на руднике, а на курене?

— Ах, боже! На какой это еще курень! Ты чего несешь?.. Говорю, на руднике. Да зачем это он на курень поедет? Кто это тебе сказал?.. — Волчиха рассердилась не на шутку.

Пыталась Настя объяснить ей, что надо бы как-то дать знать дяде Ивану, если он на курене, но Волчиха и слушать не хотела.

— Где его на руднике найдешь! Кто поедет? Ночь на дворе.

Настя вернулась домой. Гости еще сидели. Муж и офицеры вернулись с охоты, все веселые, измёрзшиеся, пили, громко разговаривали. Керженцев оставался во время их отсутствия на заводе за Верхоленцева. Он расспрашивал про охоту. Захар рассказывал, какие банкиры отличные медвежатники, называл многих по именам, объяснял, как и кто охотится, кто порет зверя ножом, кто рубит топором, кто стреляет...

А Настя думала: «Как быть?» Керженцев иногда поглядывал на нее, словно знал, что у Насти на душе, в чем ее тревога.

...Все щели в ставнях вдруг ярко покраснели.

«Опять вспышка на домне, — подумала Настасья, — уж который раз сегодня».

— Что это? — встrepенулcя Захар, проснувшись.

Другие, чем старше, тем жирней и спокойней, а Захар все чуток, как охотничий пес.

— Вспышка, — ответила жена.

Красные полосы в ставнях стали медленно гаснуть. Слышно было, как что-то стукнуло по железной крыше: видно, прилетела с печей головешка. А красные просветы снова заалели.

— Опять вспышка, — заметил Булавин.

Булавин встал, зажег лампу, оделся и вышел. Пожары в те времена были часты на заводе. При вспышке угли летели с домны вверх и, не угасая, сыпались в разные стороны на поселок, на море сухого дерева. Поэтому после вспышек люди просыпались, выходили, осматривали свой дом, крыши построек. В сухую погоду, при ветре, загоралось быстро. Сбегались соседи, а за ними и все, кто мог, и помогали тому, кто горел. Захар, как и все заводские, в самом крепком сне чуял вспышку и привычен был подниматься ночью.

Он вскоре вернулся и опять уснул.

Настасья думала с вечера, не сбегать ли к Чеканникову. Но тот человек крутой, спросит: кто, мол, тебя подослал? Посмеется еще: откуда, мол, ты это знаешь, купчиха? Какое тебе до этого дело, что ты лезешь, у тебя, мол, кусок хлеба есть... Решит еще, что ловушка. «Как быть? — думает Настасья. — Возьмут утром Гурьяна, и на этот раз не вырвется, закуют крепко».

«Самой? — подумала она, и сердце ее шелохнулось. — Взять коня?» Захару она не хочет говорить. Не потому, что Захар был сильно встревожен, когда толковала она ему о Гурьяне. Не потому, что он, кажется, чуть не зол на него. Дело это не его... У Настасьи есть свой конь.

Выросла она в степи, носилась с ранних лет; скакать умеет не хуже киргиза. Но непривычно бабе спасать. Чувствует, что смогла бы сделать это не хуже, а лучше любого мужика, но дело не женское, не смеет приступить к нему. А разве надо дать погибнуть человеку? Захар и не поедет, он как-то со злом отозвался о Гурьяне.

Но кто? Кто?.. Ведь конь под рукой, можно вот одеться, выйти, накинуть узду, вывести и хоть без седла вскочить. И жизнь людская спасена. А ночь проходит быстро, уж скоро петухи запоют.

И вдруг представилось ей, что опять скачет она на коне, вольная, как птица, одна, в лес, как давно с девичьих лет не скакала.

Настя тихо поднялась и стала одеваться. Надела теплые унты, опоясалась, как мужик. Захар спал крепко.

Настя вышла, взяла в санях узду. На дворе стоял мороз.

Ночь была звездная и теплая. Воздух мягкий, чуть влажный.

Забор и амбары в снегу. Небо чистое, чуть бледнеет вдали, там, в небольшом светлом пятне вырисовывались вершины знакомых сопочек. Пахло дымом: видно, прилетевшая головешка где-то еще тлела.

Настасья открыла конюшню, нашла сопящую теплую морду коня, погладила ее, надела узду, лякнули зубы об удила, зажевали железо. Настя вывела коня во двор. Снова вспыхнула домна. Огненное зарево осветило полнеба. «Захар проснется!» — подумала она без страха, чувствуя в себе решимость.

Опять все погасло. Стало темней прежнего.

Налетел ветерок.

При чистом небе и звездах что-то падало. Это, видно, иней, кружа. Где-то в вершинах гор, может быть, начинается буран и вот сыплет на завод поднятую снежную пыль. Погода могла перемениться. Захар с вечера говорил, что быть бурану и что мороз крепчает.

Настя повела коня к калитке. Вдруг дверь хлопнула и с крыльца быстро сошел Захар.

— Ты куда? — спросил он ее прерывающимся от волнения голосом.

Налетел сильный порыв ветра и обдал двор, дом и мужа с женой целым облаком снежной пыли. Ветер сразу улегся, и вдруг при тишине над крышей снег пронесся как облако.

— Что с тобой?.. Настасья! Куда?..

— Как же ты жене своей не веришь! — ответила Настя с укоризной.

— Стой! Я не пущу тебя, Настя!

— Пусти руки! — грозно сверкнув глазами, ответила Настасья.

Она распахнула калитку, взялась руками за седло, залезла неловко: стала, видно, тяжелей, — но удало, как прежде, припала к гриве, чтобы не хватиться лбом о перекладину, и пустила коня в калитку. А там, на улице, при ударила его и все так же — лицом к гриве, как казак на джигитовке, помчалась.

Захар стоял, как пьяный. «Что случилось? Куда?..»

Вокруг в полутьме белели трехсаженные каменные стены, которыми отделил он свой дом от всего простого, темного, постоянно горевшего народа. А в калитке алела заря, светало. Утро ясное, морозное, чистое, если бы не этот зловещий ветерок. Опять в воздухе тишина, но это только кажется.

«Ну, Захар, — подумал Булавин, — пришла беда — отворяй ворота. Неужто она не любит меня? Неужто она права? Не шутила! А я думал... Неужели она не моей женой быть должна, не я на ней женился, а деньги мои? Тетки ее за мои деньги склонили и привели ее под венец. А душа ее не со мной и была всегда чужая?»

Он вспомнил, как встревожилась Настя, встретив Гурьяна. Тогда Захар смеялся, уверял, что быть этого не может, что, проживши столько лет в дружбе и согласии, не может человек перемениться от взгляда человека, встреченного на базаре. Другой бы взял такую жену за волосы да палкой бы ее...

И шевельнулось зло у Захара. «Она поехала к Гурьяну, — решил он, — и что-то она знает... А офицеры не доверяют мне. Но кто ей сказал? Почему? Какая у нее дружба с чужими людьми заведена! Что тут без меня было?»

Схватить бы ее за волосы, кинуть на камни, бить головой о крыльцо, о стену, топтать, ударить сапогом в лицо, как другие мужья, с ревности и злобы, крикнуть: «Нишкни, стерва! Убью, заразу!»

Но уже чувствовал Захар, что не посмеет. Он стал иным. Книги и поездки выучили его. Он всю жизнь старался учиться у книг и не мог в один миг перемениться, вернуться в былое, стать, как его покойный тятенька или Прокоп, или соседи по улице.

Но было горько. Он до сих пор верил ей. Ее жизнь была растворена в его делах, в магазинных, в торговых

или в книжных суждениях. А оказывалось, что у нее была своя жизнь, тайная.

И Захар подумал: «Надо стерпеть, ждать, Настя не может сделать ничего плохого». Захотелось поскакать за ней. Хотелось и зло на ней сорвать и ударить. И жаль ее было... Он чувствовал, что любит ее сильнее, чем когда-либо.

Ему пришло в голову, что если деньги всему виной, то надо их бросить, бросить все прочь, отказаться от денег, от стен от этих.

«Разве я побоюсь? Зачем мне богатство, этот дом, амбар, трехсаженные стены, через которые никакой пожар не перемахнет?»

Захар все боялся пожара с тех пор, как в избушке у лесника видел сон, будто дом его загорелся. Поэтому построил такой каменный забор. Если бы даже загорелся весь завод, его дому ничего бы не сделалось. И заводил дружбу с офицерами ради богатства, дела, семьи.

— «И все же подпалили меня!» Захар еще не хотел верить, что в этом богатом — полная чаша — доме может явиться горе, что все созданное его руками разваливается, что он осрамлен, поруган. «Не помогли замки и стены!»

Опять вспомнил он бурю в лесу, свой сон в избушке лесника. С тех пор всегда ему казалось, что ждет его в жизни буря такая же, как гремела тогда. Он ждал ее суеверно, страшился...

* *
*

Настя поднялась на сопку, и завод на мгновение виден был внизу. Стало совсем светло.

В лесу тихо. Ветер все не разойдется, но порывы его становятся сильнее, зашумит по вершинам деревьев и пронесется вдаль. В ветвях огромных сосен целые сугробы, снег льется из них белым рассевающимся в воздухе потоком, как водопад с высокой отвесной скалы.

Гнедой конь подымается на крутую гору. Снова открылся внизу завод. Он виден над вершинами деревьев, что тянутся снизу из-под скалы к дороге, на которой от удара встречного ветра приостановилась лошадь всадницы.

Там за белым полем — пруд, черные домны и сараи. Нижний поселок уткнулся своими крышами в обступившие его снежные сопки, как в тяжелые пуховые подушки.

Вот и перевал. Настя толкнула коня ногами в бока и понеслась.

Порывы ветра становятся чаще. Зашумит лес, шум пронесется вдаль, не успеет стихнуть, как уж несется новый порыв. И все реже и короче промежутки тишины, лес все шумней, все сильнее и сильнее прокатываются по его вершинам невидимые шумы, все тревожней деревья. Вот уже застонали сосны. Звуки начинают сливаться в сплошной грозный, рокочущий гул. Из ветвей деревьев текут не слабые ручейки, а хлещут сплошные потоки снега, ветер подхватывает их, наносит пока еще низкими волнами на дорогу, набивает снежную пыль в конскую шерсть, засыпает Насте лицо, бьет в глаза и слепит.

Несколько раз Настя ошибалась, принимала выворотни за Варварин курень. Дорогу, как казалось ей, знала она хорошо, с мужем не раз ездила в горы. В этой стороне года три подряд у башкир поляну косили. И косили и собирали ягоду.

Курень все же явился. Дым валил, метался на ветру, поленницы замело. Теперь уж уголь не жгут.

Настя подъехала, спрыгнула с коня, вошла в дверь. В избенке все спали.

— Варвара! — позвала Настя.

— Кто это? — раздался женский голос.

— Встань.

— Что надо? — сипло и испуганно спросила Варвара.

Она поднялась с кровати и увидела Настю Булавину. Варвара не могла опомниться и вся дрожала от страха. Смутно вспомнила она какие-то разговоры, что Настя Булавина была не то невестой, не то любовницей Гурьяна.

— Что тебе? — спросила она.

— Гурьян у тебя?

— Зачем?

— Гурьяна надо.

— Нету его у нас.

— Его ищут, сейчас казаки нагрянут, донос сделан, что он у тебя... Я ночью хотела ехать, да опоздала.

— Гурьян! Гурьян! — тревожно заговорила Варвара, кидаясь в угол, за печь.

Гурьян проснулся и вышел босой, огромный. Настя посмотрела в его глаза впервые за много лет.

— Что тебе?

— Уходи, тебя ищут. Выдали...

— Чего же бояться! — усмехнулся Гурьян.

— Чего бояться! Какой смелый! Вон Кольку Загребина — в кандалы... Дай-ка воды! — обернулась Настя к хозяйке.

Варвара подала ковшик.

Обе женщины стали собирать Гурьяна. Настя обвязала его кушаком, как, бывало, мужа. Он оделся по-теплей, но полегче.

— Кто выдал? — спросил он.

— Посошков и Запевкин узнали. Офицеры у нас вечером были, сказали — тебе конец... Кто выдал, не знаю.

Дед Филат проснулся, сбегал за конем. Гурьян и Настя вышли вместе. Оба вскочили на лошадей.

— Я с тобой поеду, — сказала Настя. — Мне этой дорогой нельзя на завод ворочаться, на казаков напорюсь. Я круговой тропой вернусь.

Они поехали рядом. Варвара молча смотрела вслед им, стоя на ветру босая, в одном платьишке.

Въехали в лес. Гурьян расспрашивал про завод, потом приостановил коня. Настя рассказывала, что Пастухова высылают, что пороли рабочих.

Кажется, один миг прошел, а уж тропа расходилась. Опять остановили коней.

— Ну, я сюда, — сказала Настя. — Прощай!..

— Прощай!..

— Не забывай!..

Гурьян взглянул тревожно, словно она тронула больное место.

— Варвару не забывай! — сказала Настя бойко, сильно толкнула ногами коня и рывком дернула узду.

Гурьян глядел вслед ей.

Она поехала быстро, но вдали осадил коня, завернула, махнула рукой и крикнула:

— Гурьян!

Точь-в-точь, как тогда, девкой на огороде, когда он ее поцеловал единственный раз в жизни.

— Прощай!.. — крикнула она и понеслась под гору, как черный ком в белой снежной пыли.

Настя скакала обратно на завод, не замечая, что разыгрался буран; он уже не пугал ее так, как с утра, когда въезжала она в лес. Теперь и лес стал родней и ближе; она не страшилась его, зная, что сделала доброе дело.

Никто не ехал в это утро ни в лес, ни из лесу, никто не видал ее.

На въезде в завод в волнах снега проехала стороной от нее группа всадников. Это казаки отправились ловить

Гурьяна. Все закутаны башлыками. «Им еще только ехать в этот лес придется, там невесело и ждет неудача», — подумала Настя и на миг стало жаль, что в такую погоду едут люди зря, мучаются.

Она подъехала к дому, открыла калитку, ввела коня, бросила поводья, кинулась в дом.

— Я была в лесу! — сказала она Захару, который вскочил из-за стола. — Еле доскакала обратно. Честное дело, Захарушка, я сделала: может, человека спасла. Да ты что всполошился-то? Вернулась ведь. Да и дорогой все о тебе думала.

— А ты не обманываешь меня?

— Бог с тобой! А не веришь — убей... Струсила в лесу, ехала обратно, так к тебе хотелось, домой... По дому соскучилась...

Ей хотелось сказать, что она любит Захара, привыкла к заводу, жизнь свою не променяет ни на что.

Захар и верил и не верил. Он вспомнил о гибели Темирбулатова.

Случая не бывало, чтобы башкиры, какие бы лихие казаки ни были, напали на войско. Никто не ожидал. Султан еще накануне клялся, что поймает и задушит Могусюмку. И вдруг пальба сверху — и ему смерть.

На глазах у Захара прикочили пулей этого богача. А шли с войском, под охраной. Захар знал, из-за чего убит Султан. И убит на хребте, где когда-то в молодости ехал Захар после грозы, после ночевки в избушке у лесника, где видел сон, казавшийся ему вещим, где сам боялся Могусюмки, был тогда без охраны, с большими деньгами. Но тогда его никто не тронул, а Могусюмка даже прислал долг.

А теперь, когда, казалось, все было так надежно, рядом с Султаном чуть не положили насмерть и его, пули свистели...

«Неужели и я, как Султан? Неужели и на мою голову позор и беда? Его не спасли войска и богатство. И мне горе, дошла и до меня гроза. И меня не спасло-то ничего...»

Он проклинал свое богатство. Он понял, счастье не в богатстве и его не огородишь каменным забором.

Глава 42

СНЕЖНАЯ БУРЯ

Велика гора Яман-таш. Ее круглая голова высоко белеет над отрогами Урала. Вокруг вершины заплелись

непроходимые трупщобы черного и хвойного леса, бурелома, кустарников. На десятки верст кругом чаща, марь, валежник, россыпи.

Снег завалил звериные тропы и подходы к горе. Ветер грохочет в тайге. Замшелые гибнущие лиственницы свесились над сугробами.

Все бело. Нет следов рыси, зайца, не видно скорлупок нагрызенных белкой.

Волк поблизости брел, разбороздил сугробы.

Но не затем охотники сегодня в лесу, чтобы бить зверя. Там, где на каменном склоне снег мелок, — следы волка режутся наперепоп оттисками остроносных сарыков.

Шел человек и разбороздил снега, как волк.

В лес идет погоня за Могусюмом. Впереди следопытами низовец Акинфий, Хамза, Исхак, Гулякбай. Услужливы, идут на лыжах, как простые охотники, башкирские богачи. И страх и зло гонят их. Позади — есаул Медведев.

И Гулякбай, и Исхак, и Хамза, казаки и низовцы — все на лыжах. Им легче идти, чем спешившемуся, проваливающемуся в сугробах Могусюмке и его товарищам.

Воет метель, и есаул торопит, чтобы не замело след. Близок Могусюм, где-то тут, совсем рядом.

На ловлю Могусюма подняты все: полиция, войска, горные стражники, башкирские старшины. Повсюду на дорогах расставлены заслоны. Но на след напал Медведев.

За Могусюмом и его товарищами гнались несколько дней, подстрелили лошадей. Могусюм застрелил одного из отряда. Сам ранен, но идет, надеется на что-то.

Когда сегодня миновали Журавлиное болото, у подножья горы следы двух беглецов пошли направо, а один след исчез. Медведев отрядил за двумя беглецами несколько казаков, а сам пошел на поиски третьего. Он уверен был, что Могусюм пытается обмануть, сбить погоню с толку.

— Живо делайте круг по тайге, — велел есаул.

Охотники и казаки обошли круг и действительно отыскали след. Он отведен был через бесснежную каменную россыпь, обдуюемую ветром. На камнях не оставалось оттисков. А за россыпью тропа беглеца ушла дальше, направилась к вершине.

Ветер крепчал, и вокруг слышался сплошной грохот. Все клубилось.

Путь был трудный. Руками раздвигали колючие ветви, путались в можжевельнике.

День, казалось, окончился. Небо не видно сквозь облака снежной пыли и густые ветви, заваленные снегом.

Акинфий шел впереди и наткнулся на бурную речку, парившую в морозном воздухе.

— Смотри, ваше высокоблагородие, — поздравил он офицера, — ранен башкирец.

Он показал Медведеву обильные следы крови на валуне у самого тепловода.

— Отдыхал, обмывал рану-то...

— Отдохнем и мы? — спросил Хамза.

— Живо! — грубо толкнул его в спину Медведев.

Все начали переправляться по камням на другой берег.

Здесь лес реже, сильней крутит метель, чуть видны следы, маленькие углубления в снегу остались от них. Снег стал глубже. Чаше попадались каменные россыпи.

— Живей! — торопил есаул. — Следы заносит! Уходит он...

Казак стреляли во мглу, старались запугать беглеца.

От удара ветра треснуло и легло огромное дерево. Две белки с пышными осенними хвостами выскочили из дупла и в ужасе забегали по стволу. Напуганный глухарь захлопал крыльями и запрыгал в потоках снега. Следы беглеца повернули влево. Близились вершины огромной горы. Лес редел, и желтые сухие травы в рост человека торчали из-под снега.

У двух огромных камней, похожих на столбы, видимо отколовшихся от вершины, следы совсем пропали.

— Пещера близко, — сказал Акинфий, — он туда спешит.

Лес окончился, и отряд лыжников стал подниматься на седловину Яман-Таш — самой высокой горы этой части Урала.

Ветер забил со страшной силой здесь, на огромной высоте, на незащищенном лесом месте. Близилась седловина между двух вершин горы.

* *
*

Абкадыр бредет с другими башкирами. Он знает: летом здесь растут причудливые широколистые травы и ярко-зеленые заросли вкусного дикого лука, с шумом разлетаются выводки тетеревов; нога вязнет в мокром торфянике, на котором видны следы только что прошедшего молодого лося.

А сейчас ветер нес облака снега, и в них иногда видны, проступают серые вершины других гор, таких же безлесных и тоже в камнях, обступивших Яман-Таш. Страшен мир, если посмотреть на него отсюда.

Все выше поднимаются люди, и все шире открывается лог между двумя округлыми куполами. Справа — больший из них: Яман-Таш — «Дурной камень»; слева меньший — Куян-Таш, что означает «Заячий камень». Здесь самая страшная россыпь Южного Урала — россыпь на Яман-Таше. У подножья нижние плиты глубоко ушли в почву и обросли ползучей елью.

Хребты Урала стары. Время беспощадно разгромило когда-то грандиозные вершины, превратив остроконечные пики в колоссальные нагромождения камней, которые уральцы и сибиряки называют россыпями. Вершины гор токрыты исполинскими развалинами.

Нет клочка земли, который бы не был задавлен тысячелудовой тяжестью, поэтому тут нет и растительности. Днем россыпь, окруженная дремучим лесом, напоминает каменный поток, замершую лавину. Ночью россыпь страшна пешеходу, и в тусклом свете луны она кажется кладбищем.

Первые русские, проникнув на Урал, по примеру башкир, тоже называли его Каменным Поясом за тот скалистый гребень, что тянется по главному хребту на большом протяжении. Если забраться на вершину южного хребта и смотреть на запад, то вдаль, над бесконечными цепями отрогов Урала, возвышается огромный купол овальной формы, серого цвета. Это высочайшая вершина Южного и Среднего Урала, на которой нет ни одного деревца.

Эта серая шапка известняков венчает обширную лесистую возвышенность, раскинувшуюся на сотни верст. Большую часть лета вершина закрыта туманами и облаками. В седой старине вольные народы Урала называли это зловещее возвышение Яман-Таш, что значит «Дурной камень». Говорят, что на вершине ее — озеро, что сообщается оно с морем, что в Севастопольскую кампанию выкинуло из себя это озеро балку с кольцом, когда потопили русский флот.

И сейчас где-то далеко-далеко внизу, под снегом и камнями, слышен бурлящий шум водопада, несущегося глубоко под россыпью.

Люди ползли с глыбы на глыбу, цепляясь за уступы, подымаясь все выше. Здесь ясней, нет метели, чище воздух, но реже следы. Внизу и по сторонам видны цепи горных вершин, усыпанных каменными потоками на много десятков верст. Дальние хребты грозно чернеют, как крепости, стоят

на их изветренных вершинах, а вдали виден суровый купол другого уральского великана — горы Иремель. Между вершин, внизу, скрывая леса, мчатся и поднимаются время от времени вверх тучи снега.

Абкадыр встал, как и все, у входа в пещеру, который зарос стелющимся кедром. Живо заработали топоры.

Акинфий отрубил сучки и ветви, расчистил вход, потом швырнул в пещеру камнем.

Из расщелины грянул выстрел, и один из мужиков, неосторожно заглянувший было туда, схватился за голову. Охотники стали стрелять в щель, но подойти боялись.

— Эй, Могусюм, вылезай! — кричали они.

Башлык не отвечал.

Холодало. Близилась ночь. Выл ветер. Абкадыр стоял печально. Башлык погибал в одиночестве среди гор-великанов.

— А ну, полезай за ним, — сказал Медведев, обращаясь к Акинфию.

Тот испуганно вскинул голову.

— Не бойсь: он дважды ранен.

Есаул держал в одной руке пистолет, а другой взял мужика за ворот и грубо толкнул к пещере. За ним он швырнул туда же двух казаков.

— А ну, живо!.. Не бойсь: он ранен и ружья не перезарядит..

— Погоди, — ответил Акинфий.

Он был из тех людей, которые по приказанию могут быть смелы, но без понуждения редко на что отважатся.

Он скинул полушубок, снял шапку, надел на палку свою одежду и поднес к норе.

Грянул выстрел. Пуля пробила шапку. Акинфий мгновенно выхватил нож и, пока дым не развеялся, полез в пещеру. За ним полез один из казаков.

Все побежали к норе. Из-под земли доносились глухие звуки борьбы.

Наконец из пещеры появилась окровавленная голова Могусюма. Следом вылезли толкая его, мужик и казак.

— Он помирает! — прохрипел Акинфий, и сам лег на снег: он был тяжело ранен.

— Собака! — в испуге кинулся на башлыка Гуляк бай.

Пристрелите его, — сказал Медведев.

Баи не стали стрелять Могусюмку. Они стащили его **вниз** привязали дважды раненного башлыка лицом к дереву и **стали** бить по спине палками и рассошинами, выломав их

из завалов мертвого ползучего кедра. Хамза ударил первым.

— Какой грамотей выискался! — закричал он.

Под ударами башлык очнулся. Он осмотрел серые головы высоких гор, недоступных метели, огромные родные леса, смутно черневшие на дальних склонах, потом лица знакомых, дорогих ему людей.

Абкадыр знал: погиб башлык, пропал, тут ничего не поделаешь. Горько было, хотелось облегчить его муку.

А башлык, широко обхватив сосну окровавленными руками, повернулся лицом к баям и сказал им:

— Помираем, а урман не даем!

ЭПИЛОГ

Так погиб Могусюм под горой Яман-Таш.

А через несколько дней при попытке освободить Загребина ранен был на тракте Гурьян. Его спас Хурмат, присланный Могусюмкой на завод, побывавший у Варвары и нашедший Гурьяна в лесу за день до гибели башлыка.

Впоследствии Гурьян выздоровел, живя у башкир, тайно вернулся на курень, женился на Варваре, ушел с ней и ее дочкой в Сибирь. Перед уходом на переселение вместе с Хурматом побывал он на горе Яман-Таш. Горные жители выкопали могилу в мерзлой земле, похоронили Могусюмку. Хурмат помолился. Поставили камень. Гурьян нашел Зейнап и рассказал ей, где могила.

Стачка на заводе прервалась ненадолго. Многих арестовали, судили. Недоимки пришлось платить. Но рабочим повысили плату за труд. Волкова посадили в тюрьму. Загребина сослали на Сахалин. Кричную уже на другое лето после гибели Могусюма окончательно доломали, машины были установлены.

Напрасно Дрозд уверял всех, что душа бунта — Гурьян. Рабочие и после его ухода стояли на своем и перестали пахать землю.

...Весной с завода ушли войска. Верб уехал лечиться. Новый управляющий, с руками, похожими на лапы аллигатора, был жестче его и вскоре согнул всех в бараний рог. Он ненавидел рабочий народ больше, чем иностранец Верб, но действовал уверенней его, зная, что, как русского коренного простого мужика, никто не заподозрит его в том, что подрывает благосостояние русского народа.

Керженцев выпросился в действующую армию, участвовал в Хивинском походе, был ранен в пустыне в сабельной схватке с хивинскими конниками. Лет через двадцать стал он боевым генералом, известным теоретиком стратегии.

А Зейнап родила сына Могусюмки. Жалела она, что не дожил отец и не знает, каков молодец растет у него в лесах под Куль-Тамаком. Молвой народа грех Зейнап прощен, и муллы о нем не поминали. Ведь всегда опасно идти наперекор молве народа.

На заводе с годами составилась кружок из передовых рабочих. Руководил Пастухов, вернувшийся из города. Его не арестовали «по недостатку обвинений». Первыми социал-демократами были на заводе сын Волкова и сын немца Ганса, женившегося на дочери Никиты-рудобойца.

Многие рабочие глубокими стариками дожили до Великой Октябрьской революции.

Большевики-ленинцы, рабочие металлурги завоевали для народа свободу и счастье.

В тридцатых годах автор этой книги жил на одном из южноуральских заводов и часто писал очерки о рабочих. Они рассказывали много об уральской старине. В тех местах из поколения в поколение семьи живут веками на одних и тех же местах и помнят многие устные рассказы стариков. Автор писал очерки о потомках Шкерины, Рябова, Хибета, Кагармана и много слышал рассказов про старые годы. Многие рабочие и инженеры на заводе носили фамилии Волковых, Алексеевых, Сиволобовых, Шкериных, Загребиных, Ломовцевых, Оголихиных, а также Хибеткиных, Могусюмкиных, Кагармановых... Потомки Могусюма получили высшее образование.

Однажды в редакцию газеты зашел один из старых жителей завода. Это был Булавин. Обращали на себя внимание его умные голубые, но уже выцветшие глаза, белая кожа на высоком лбу была тонка и чиста, морщины белые, как промыты в бане, большая седая борода — мягка и пушиста, волосы тоже седые и мягкие, зачесаны набок. Он и Настасья Федоровна рассказывали автору зимними вечерами про свою жизнь. Еще до революции Захар бросил торговлю и занимался ремеслами, желая жить своим трудом.

...В годы гражданской войны завод был крупнейшим центром партизанского движения. Один из внуков Волкова, тоже Иван Иванович, очень похожий на деда своего, командовал целой партизанской армией.

Башкирская беднота вместе с заводскими воевала за советскую власть.

В наши дни заводской поселок, где жил когда-то Гурьян — город в лесах и стройках, в котором несколько больших машиностроительных заводов. Потомки уральских крепостных и башкир-скотоводов варят сталь, тянут проволоку, сплетая из неё корабельные толстенные тросы. Сквозь отверстия в алмазах протягивают стальные нити, в несколько раз тоньше человеческого волоса. На этих заводах вырабатывают части для всевозможных приборов. В некоторых цехах — цветы, тропические растения, паркет, а за столиками — белокурые девушки в белоснежной спецодежде, с лупами в руках делают мельчайшие детали. Это все потомки бывших крепостных.

А у железной горы Петух построен город Магнитогорск. Там над прудом целым фронтом поднялись огромные трубы. Дальше — море свежей пахоты, великие целинные земли Востока.

На Урале в заповедных лесах еще сохранился «старый лес», где шумят вековые сосны и березы — любимый народом урман, за который сложил когда-то голову башкирский башлык Могусюм.

Scan Kreyder - 31.05.2019 - STERLITAMAK

1 руб. 20 коп.